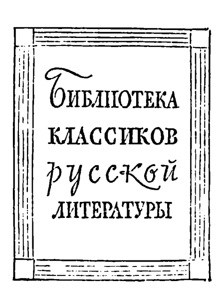
И. А. ГОНЧАРОВ

5

И. Гончаров


Библиотека
классиков
русской
литературы

И. А. ГОНЧАРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва

И. А. ГОНЧАРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 5

ОБРЫВ

Роман
в пяти частях



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1959

ОБРЫВ

Роман
в пяти частях

Части первая и вторая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Два господина сидели в небрежно убранной квартире в Петербурге, на одной из больших улиц. Одному было около тридцати пяти, а другому около сорока пяти лет.

Первый был Борис Павлович Райский, второй — Иван Иванович Аянов.

У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная физиономия. С первого взгляда он казался моложе своих лет: большой белый лоб блистал свежестью, глаза менялись, то загорались мыслию, чувством, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрели они зрело, устало, скучно и обличали возраст своего хозяина. Около глаз собирались даже три легкие морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкие черные волосы падали на затылок и на уши, а в висках серебрилось несколько белых волос. Щеки, так же как и лоб, около глаз и рта сохранили еще молодые цвета, но у висков и около подбородка цвет был изжелта-смугловатый.

Вообще легко можно было угадать по лицу ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрелостью, когда человек перешел на вторую половину жизни, когда каждый прожитой опыт, чувство, болезнь оставляют след. Только рот его сохранял, в неуловимой игре тонких губ и в улыбке, молодое, свежее, иногда почти детское выражение.

Райский одет был в домашнее серенькое пальто, сидел с ногами на диване.

Иван Иванович был, напротив, в черном фраке. Белые перчатки и шляпа лежали около него на столе. У него лицо отличалось спокойствием или скорее равнодушным ожиданием ко всему, что может около него происходить.

Смышленый взгляд, неглупые губы, смугло-желтоватый цвет лица, красиво подстриженные, с сильной проседью,

волосы на голове и бакенбардах, умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм — вот его наружный портрет.

На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других, выглядывавшие из глаз. «Пожил человек, знает жизнь и людей»,— скажет о нем наблюдатель, и если не отнесет его к разряду особенных, высших натур, то еще менее к разряду натур наивных.

Это был представитель большинства уроженцев универсального Петербурга и вместе то, что называют светским человеком. Он принадлежал Петербургу и свету, и его трудно было бы представить себе где-нибудь в другом городе, кроме Петербурга, и в другой сфере, кроме света, то есть известного высшего слоя петербургского населения, хотя у него есть и служба, и свои дела, но его чаще всего встречаешь в бóльшей части гостиных, утром — с визитами, на обедах, на вечерах: на последних всегда за картами. Он — так себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни невежество, ни убеждение, ни скептицизм.

Незнание или отсутствие убеждения облечено у него в форму какого-то легкого, поверхностного всеотрицания: он относился ко всему небрежно, ни перед чем искренно не склоняясь, ничему глубоко не веря и ни к чему особенно не пристращаясь. Немного насмешлив, скептичен, равнодушен и ровен в сношениях со всеми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преследуя никого настойчивой враждой.

Он родился, учился, вырос и дожил до старости в Петербурге, не выезжая далее Лахты и Ораниенбаума с одной, Токсова и Средней Рогатки с другой стороны. От этого в нем отражались, как солнце в капле, весь петербургский мир, вся петербургская практичность, нравы, тон, природа, служба — эта вторая петербургская природа, и более ничего.

На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никаких понятий, кроме тех, какие дают свои и иностранные газеты. Петербургские страсти, петербургский взгляд, петербургский годовой обиход пороков и добродетелей, мыслей, дел, политики и даже, пожалуй, поэзии — вот где вращалась жизнь его, и он не порывался из этого круга, находя в нем полное до роскоши удовлетворение своей натуре.

Он равнодушно смотрел сорок лет сряду, как с каждой весной отплывали за границу битком набитые пароходы, уезжали внутрь России дилижансы, впоследствии вагоны,— как двигались толпы людей «с наивным настроением» дышать другим воздухом, освежаться, искать впечатлений и развлечений.

Никогда не чувствовал он подобной потребности, да и в других не признавал ее, а глядел на них, на этих других, по-

койно, равнодушно, с весьма приличным выражением в лице и взглядом, говорившим: «Пусть-де их себе, а я не поеду».

Он говорил просто, свободно переходя от предмета к предмету, всегда знал обо всем, что делается в мире, в свете и в городе; следил за подробностями войны, если была война, узнавал равнодушно о перемене английского или французского министерства, читал последнюю речь в парламенте и во французской палате депутатов, всегда знал о новой пиесе, и о том, кого зарезали ночью на Выборгской стороне. Знал генеалогию, состояние дел и имений и скандалезную хронику каждого большого дома столицы; знал всякую минуту, что делается в администрации, о переменах, повышениях, наградах,— знал и сплетни городские: словом, знал хорошо свой мир.

Утро уходило у него на мыканье по свету, то есть по гостиным, отчасти на дела и службу,— вечер нередко он начинал спектаклём, а кончал всегда картами в английском клубе или у знакомых, а знакомы ему были все.

В карты играл он без ошибки и имел репутацию приятного игрока, потому что был снисходителен к ошибкам других, никогда не сердился, а глядел на ошибку с таким же приличием, как на отличный ход. Потом он играл и по большой, и по маленькой, и с крупными игроками, и с капризными дамами.

Строевую службу он прошел хорошо, протерши лямку около пятнадцати лет в канцеляриях, в должностях исполнителя чужих проектов. Он тонко угадывал мысль начальника, разделял его взгляд на дело и ловко излагал на бумаге разные проекты. Менялся начальник, а с ним и взгляд, и проект: Аянов работал так же умно и ловко и с новым начальником, над новым проектом — и докладные записки его нравились всем министрам, при которых он служил.

Теперь он состоял при одном из них по особым поручениям. По утрам являлся к нему в кабинет, потом к жене его в гостиную и действительно исполнял некоторые ее поручения, а по вечерам в положенные дни непременно составлял партию, с кем попросят. У него был довольно крупный чин и оклад — и никакого дела.

Если позволено проникать в чужую душу, то в душе Ивана Ивановича не было никакого мрака, никаких тайн, ничего загадочного впереди, и сами макбетовские ведьмы затруднились бы обольстить его каким-нибудь более блестящим жребием или отнять у него тот, к которому он шествовал так сознательно и достойно. Повыситься из статских в действительные статские, а под конец, за долговременную и полезную службу и «неусыпные труды», как по службе, так и в картах,— в тайные советники, и бросить якорь в порте, в какой-нибудь нетленной комиссии или в комитете, с сохранением окладов,— а там, волнуйся себе человеческий океан, меняйся

век, лети в пучину судьба народов, царств,— все пролетит мимо его, пока апоплексический или другой удар не остановит течение его жизни.

Аянов был женат, овдовел и имел двенадцати лет дочь, воспитывавшуюся на казенный счет в институте, а он, устроив свои делишки, вел покойную и беззаботную жизнь старого холостяка.

Одно только нарушало его спокойствие — это геморрой от сидячей жизни; в перспективе представлялось для него тревожное событие — прервать на время эту жизнь и побывать где-нибудь на водах. Так грозил ему доктор.

— Не пора ли одеваться: четверть пятого! — сказал Аянов.

— Да, пора,— отвечал Райский, очнувшись от задумчивости.

— О чем ты задумался? — спросил Аянов.

— О ком? — поправил Райский.— Да о ней все... о Софье...

— Опять! Ну! — заметил Аянов.

Райский стал одеваться.

— Ты не скучаешь, что я тебя туда таскаю? — спросил Райский.

— Нимало: не все равно играть, что там, что у Ивлевых? Оно, правда, совестно немного обыгрывать старух: Анна Васильевна бьет карты своего партнера сослепа, а Надежда Васильевна вслух говорит, с чего пойдет.

— Не беспокойся, не оберешь по пяти копеек. У обеих старух до шестидесяти тысяч дохода.

— Знаю, и это все Софье Николаевне достанется?

— Ей: она родная племянница. Да когда еще достанется! Они скупы, переживут ее.

— У отца ведь, кажется, немного...

— Нет, все спустил.

— Да куда он тратит? В карты почти не играет.

— Как куда? А женщины? А эта беготня, petits soupers [1], весь этот train? [2] Зимой в пять тысяч сервиз подарил на вечер Armance, а она его-то и забыла пригласить к ужину...

— Да, да, слышал. За что? Что он у ней там делает?..

Оба засмеялись.

— От мужа у Софьи Николаевны, кажется, тоже немного осталось!

— Нет, тысяч семь дохода; это ее карманные деньги. А то все от теток. Но пора! — сказал Райский.— Мне хочется до обеда еще по Невскому пройтись.

Аянов и Райский пошли по улице, кивая, раскланиваясь и пожимая руки направо и налево.

— Долго ты нынче просидишь у Беловодовой?

---

[1] Интимные ужины *(франц.)*.
[2] Образ жизни *(франц.)*.

— Пока не выгонят — как обыкновенно. А что, скучно?

— Нет, я думал, поспею ли я к Ивлевым? Мне скучно не бывает...

— Счастливый человек! — с завистью сказал Райский.— Если б не было на свете скуки! Может ли быть лютее бича?

— Молчи, пожалуйста! — с суеверным страхом остановил его Аянов,— еще накличешь что-нибудь! А у меня один геморрой чего-нибудь да стоит! Доктора только и знают, что вон отсюда шлют: далась им эта сидячая жизнь — все беды в ней видят! Да воздух еще: чего лучше этого воздуха? — Он с удовольствием нюхнул воздух.— Я теперь выбрал подобрее эскулапа: тот хочет летом кислым молоком лечить меня: у меня ведь закрытый... ты знаешь? Так ты от скуки ходишь к своей кузине?

— Какой вопрос: разумеется! Разве ты не от скуки садишься за карты? Все от скуки спасаются, как от чумы.

— Какое же ты жалкое лекарство выбрал от скуки — переливать из пустого в порожнее с женщиной: каждый день одно и то же!

— А в картах разве не одно и то же? А вот ты прячешься в них от скуки...

— Ну, нет, не одно и то же: какой-то англичанин вывел комбинацию, что одна и та же сдача карт может повториться лет в тысячу только... А шансы? А характеры игроков, манера каждого, ошибки?.. Не одно и то же! А вот с женщиной биться зиму и весну! Сегодня, завтра... вот этого я не понимаю!

— Ты не понимаешь красоты: что же делать с этим? Другой не понимает музыки, третий живописи: это неразвитость своего рода...

— Да, именно — своего рода. Вон у меня в отделении служил помощником Иван Петрович: тот ни одной чиновнице, ни одной горничной проходу не дает, то есть красивой, конечно. Всем говорит любезности, подносит конфекты, букеты: он развит, что ли?

— Оставим этот разговор,— сказал Райский,— а то опять оба на стену полезем, чуть не до драки. Я не понимаю твоих карт, и ты вправе назвать меня невеждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красоте. Всякий по-своему наслаждается и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иван Петрович так, я иначе, а ты никак,— ну, и при тебе!

— Ты играешь с женщинами, как я вижу,— сказал Аянов.

— Ну, играю, и что же? — Ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю... Что же тут дурного?

— Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невеста: женись и конец всему.

— Да — и конец всему, и начало скуке! — задумчиво повторил Райский.— А я не хочу конца! Успокойся, за меня бы ее и не отдали!

— Тогда, по-моему, и ходить незачем. Ты просто — Дон-Жуан!

— Да, Дон-Жуан, пустой человек: так, что ли, по-вашему?

— А как же: что ж он по-твоему?

— Ну, так и Байрон, и Гёте, и куча живописцев, скульпторов — все были пустые люди...

— Да ты — Байрон или Гёте, что ли?..

Райский с досадой отвернулся от него.

— Донжуанизм — то же в людском роде, что донкихотство: еще глубже; эта потребность еще прирожденнее...— сказал он.

— Коли потребность — так женись... я тебе говорю...

— Ах! — почти с отчаянием произнес Райский.— Ведь жениться можно один, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой так, как бы наслаждался красотой в статуе? Дон-Жуан наслаждался прежде всего эстетически этой потребностью, но грубо; сын своего века, воспитания, нравов, он увлекался за пределы этого поклонения — вот и все. Да что толковать с тобой!

— Коли не жениться, так незачем и ходить,— апатично повторил Аянов.

— А знаешь — ты отчасти прав. Прежде всего скажу, что мои увлечения всегда искренны и не умышленны: — это не волокитство — знай однажды навсегда. И когда мой идол хоть одной чертой подходит к идеалу, который фантазия сейчас создает мне из него,— у меня само собою доделается остальное, и тогда возникает идеал счастья, семейного...

— Вот видишь; ну так и женись...— заметил Аянов.

— Погоди, погоди: никогда ни один идеал не доживал до срока свадьбы: бледнел, падал, и я уходил охлажденный... Что фантазия создает, то анализ разрушает, как карточный домик. Или сам идеал, не дождавшись охлаждения, уходит от меня...

— А все-таки каждый день сидеть с женщиной и болтать!.. — упрямо твердил Аянов, покачивая головой.— Ну о чем, например, ты будешь говорить хоть сегодня? Чего ты хочешь от нее, если ее за тебя не выдадут?

— И я тебя спрошу: чего ты хочешь от ее теток? Какие карты к тебе придут? Выиграешь ты или проиграешь? Разве ты ходишь с тем туда, чтоб выиграть все шестьдесят тысяч дохода? Ходишь поиграть — и выиграть что-нибудь...

— У меня никаких расчетов нет: я делаю это от... от... для удовольствия.

— От... от скуки — видишь, и я для удовольствия — и тоже без расчетов. А как я наслаждаюсь красотой, ты и твой

Иван Петрович этого не поймете, не во гнев тебе и ему — вот и все. Ведь есть же одни, которые молятся страстно, а другие не знают этой потребности, и...

— Страстно! Страсти мешают жить. Труд — вот одно лекарство от пустоты: дело,— сказал Аянов внушительно.

Райский остановился, остановил Аянова, ядовито улыбнулся и спросил: «Какое дело, скажи, пожалуйста: это любопытно!»

— Как какое? Служи.

— Разве это дело? Укажи ты мне в службе, за немногими исключениями, дело, без которого бы нельзя было обойтись?

Аянов засвистал от удивления.

— Вот тебе раз! — сказал он и поглядел около себя.— Да вот! — Он указал на полицейского чиновника, который упорно глядел в одну сторону.

— А спроси его,— сказал Райский,— зачем он тут стоит и кого так пристально высматривает и выжидает? Генерала! А нас с тобой не видит, так что любой прохожий может вытащить у нас платок из кармана. Ужели ты считал делом твои бумаги? Не будем распространяться об этом, а скажу тебе, что я, право, больше делаю, когда мажу свои картины, бренчу на рояле и даже когда поклоняюсь красоте...

— И что особенного, кроме красоты, нашел ты в своей кузине?

— Кроме красоты! Да это все! Впрочем, я мало знаю ее: это-то, вместе с красотой, и влечет меня к ней...

— Как, каждый день вместе и мало знаешь?..

— Мало. Не знаю, что у нее кроется под этим спокойствием, не знаю ее прошлого и не угадываю ее будущего. Женщина она или кукла, живет или подделывается под жизнь? И это мучит меня... Вон, смотри,— продолжал Райский,— видишь эту женщину?

— Ту толстую, что лезет с узлом на извозчика?

— Да, и вот эту, что глядит из окна кареты? И вон ту, что заворачивает из-за угла навстречу нам?

— Ну, так что же?

— Ты на их лицах мельком прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признак воли: ну, словом,— движение, жизнь. Немного нужно, чтоб подобрать ключ и сказать, что тут семья и дети, значит было прошлое, а там глядит страсть или живой след симпатии,— значит есть настоящее, а здесь на молодом лице играют надежды, просятся наружу желания и пророчат беспокойное будущее...

— Ну?

— Ну, везде что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее... А там ничего этого нет, ничего, хоть шаром покати! Даже нет апатии, скуки, чтоб можно было сказать: была жизнь и убита — ничего! Сияет и блестит,

ничего не просит и ничего не отдает! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?

— Давно бы сказал мне это, и я удивляться перестал бы, потому что я сам такой,— сказал Аянов, вдруг останавливаясь.— Ходи ко мне, вместо нее...

— Ты?

— Да — я!

— Что же ты, красотой блистаешь?..

— Блистаю спокойствием и наслаждаюсь этим; и она тоже... Что тебе за дело?..

— До тебя — никакого, а она — красота, красота!

— Женись, а не хочешь или нельзя, так оставь, займись делом...

— Ты прежде заведи дело, в которое мог бы броситься живой ум, гнушающийся мертвечины, и страстная душа, и укажи, как положить силы во что-нибудь, что стоит борьбы, а с своими картами, визитами, раутами и службой — убирайся к черту!

— У тебя беспокойная натура,— сказал Аянов,— не было строгой руки и тяжелой школы — вот ты и куролесишь... Помнишь, ты рассказывал, когда твоя Наташа была жива...

Райский вдруг остановился и, с грустью на лице, схватил своего спутника за руку.

— Наташа! — повторил он тихо,— это единственный, тяжелый камень у меня на душе — не мешай память о ней в эти мои впечатления и мимолетные увлечения...

Он вздохнул, и они молча дошли до Владимирской церкви, свернули в переулок и вошли в подъезд барского дома.

II

Райский с год только перед этим познакомился с Софьей Николаевной Беловодовой, вдовой на двадцать пятом году, после недолгого замужества с Беловодовым, служившим по дипломатической части.

Она была из старинного богатого дома Пàхотиных. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ее, состоявший в полном распоряжении супруги, почувствовав себя на свободе, вдруг спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой и что он не успел пожить и пожуировать.

Он повел было жизнь холостяка, пересиливал годы и природу, но не пересилил и только смотрел, как ели и пили другие, а у него желудок не варил. Но он уже успел нанести смертельный удар своему состоянию.

У него, взамен наслаждений, которыми он пользоваться не мог, явилось старческое тщеславие иметь вид шалуна, и он стал вознаграждать себя за верность в супружестве сума-

сбродными связями, на которые быстро ушли все наличные деньги, брильянты жены, наконец и бо̀льшая часть приданого дочери. На недвижимое имение, и без того заложенное им еще до женитьбы, наросли значительные долги.

Когда источники иссякли, он изредка, в год раз, иногда два, сделает дорогую шалость, купит брильянты какой-нибудь Armance, экипаж, сервиз, ездит к ней недели три, провожает в театр, делает ей ужины, сзывает молодежь, а потом опять смолкнет до следующих денег.

Николай Васильевич Па̀хотин был очень красивый сановитый старик, с мягкими, почтенными сединами. По виду его примешь за какого-нибудь Пальмерстона.

Особенно красив он был, когда с гордостью вел под руку Софью Николаевну куда-нибудь на бал, на общественное гулянье. Не знавшие его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потом фамильярно и шутливо трясти его за руку, звали устроить веселый обед, рассказывали на ухо приятную историю...

Старик шутил, рассказывал сам направо и налево анекдоты, говорил каламбуры, особенно любил с сверстниками жить воспоминаниями минувшей молодости и своего времени. Они с восторгом припоминали, как граф Борис или Денис проигрывал кучи золота; терзались тем, что сами тратили так мало, жили так мизерно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить.

Но особенно любил Па̀хотин уноситься воспоминаниями в Париж, когда в четырнадцатом году русские явились великодушными победителями, перещеголявшими любезностью тогдашних французов, уже попорченных в этом отношении революцией, и превосходившими безумным мотовством широкую щедрость англичан.

Старик шутя проживал жизнь, всегда смеялся, рассказывал только веселое, даже на драму в театре смотрел с улыбкой, любуясь ножкой или лорнируя la gorge [1] актрисы.

Когда же наставало не веселое событие, не обед, не соблазнительная закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался в ней громовой раскат, когда около него возникал важный вопрос, требовавший мысли или воли, старик тупо недоумевал, впадал в беспокойное молчание и только учащенно жевал губами.

У него был живой, игривый ум, наблюдательность и некогда смелые порывы в характере. Но шестнадцати лет он поступил в гвардию, выучась отлично говорить, писать и петь по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипаж и тысяч двадцать дохода.

---

[1] Грудь *(франц.)*.

Никто лучше его не был одет, и теперь еще, в старости, он дает законы вкуса портному; все на нем сидит отлично, ходит он бодро, благородно, говорит с уверенностию и никогда не выходит из себя. Судит обо всем часто наперекор логике, но владеет софизмом с необыкновенною ловкостью.

С ним можно не согласиться, но сбить его трудно. Свет, опыт, вся жизнь его не дали ему никакого содержания, и оттого он боится серьезного, как огня. Но тот же опыт, жизнь всегда в куче людей, множество встреч и способность знакомиться со всеми образовывали ему какой-то очень приятный, мелкий умок, и не знающий его с первого раза даже положится на его совет, суждение, и потом уже, жестоко обманувшись, разглядит, что это за человек.

Он не успел еще окунуться в омут опасной, при праздности и деньгах, жизни, как на двадцать пятом году его женили на девушке красивой, старого рода, но холодной, с деспотическим характером, сразу угадавшей слабость мужа и прибравшей его к рукам.

Теперь Николай Васильевич Пàхотин заседает в каком-то совете раз в неделю, имеет важный чин, две звезды и томительно ожидает третьей. Это его общественное значение.

Было у него другое ожидание — поехать за границу, то есть в Париж, уже не с оружием в руках, а с золотом, и там пожить, как живали в старину.

Он с наслаждением и завистью припоминал анекдоты времен революции, как один знатный повеса разбил там чашку в магазине и в ответ на упреки купца перебил и переломал еще множество вещей и заплатил за весь магазин; как другой перекупил у короля дачу и подарил танцовщице. Оканчивал он рассказы вздохом сожаления о прошлом.

Вскоре после смерти жены он было попросился туда, но образ его жизни, нравы и его затеи так были известны в обществе, что ему, в ответ на просьбу, коротко отвечено было: «Незачем». Он пожевал губами, похандрил, потом сделал какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. После того, уже промотавшись окончательно, он в Париж не порывался.

Кроме томительного ожидания третьей звезды, у него было еще постоянное дело, постоянное стремление, забота, куда уходили его напряженное внимание, соображения, вся его тактика, с тех пор, как он промотался,— это извлекать из обеих своих старших сестер, пожилых девушек, теток Софьи, денежные средства на шалости.

Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пàхотины, хотя были скупы и не ставили собственно личность своего братца в грош, но дорожили именем, которое он носил, репутацией и важностью дома, преданиями, и потому, сверх определенных ему пяти тысяч карманных денег, в разное время выдавали

ему субсидии около такой же суммы, и потом еще, с выговорами, с наставлениями, чуть не с плачем, всегда к концу года платили почти столько же по счетам портных, мебельщиков и других купцов.

Они знали, на какое употребление уходят у него деньги, но на это они смотрели снисходительно, помня нестрогие нравы повес своего времени и находя это в мужчине естественным. Только они, как нравственные женщины, затыкали уши, когда он захочет похвастаться перед ними своими шалостями или когда кто другой вздумает довести до их сведения о каком-нибудь его сумасбродстве.

Он был в их глазах пустой, никуда не годный, ни на какое дело, ни для совета — старик и плохой отец, но он был Пàхотин, а род Пàхотиных уходит в древность, портреты предков занимают всю залу, а родословная не укладывается на большом столе, и в роде их было много лиц с громким значением.

Они гордились этим и прощали брату все, за то только, что он Пàхотин.

Сами они блистали некогда в свете, и по каким-то, кроме их, всеми забытым причинам остались девами. Они уединились в родовом доме и там, в семействе женатого брата, доживали старость, окружив строгим вниманием, попечениями и заботами единственную дочь Пàхотина, Софью. Замужество последней расстроило было их жизнь, но она овдовела, лишилась матери и снова, как в монастырь, поступила под авторитет и опеку теток.

Они были две высокие, седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями.

Надежда Васильевна страдала тиком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах бархатную, подбитую горностаем кацавейку, а Анна Васильевна сырцовые букли и большую шаль.

У обеих было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны высокая золотая табакерка, около нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки.

Дом у них был старый, длинный, в два этажа, с гербом на фронтоне, с толстыми, массивными стенами, с глубокими окошками и длинными простенками.

В доме тянулась бесконечная анфилада обитых штофом комнат; темные тяжелые резные шкафы, с старым фарфором и серебром, как саркофаги, стояли по стенам с тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, без комфорта. Швейцар походил на Нептуна; лакеи пожилые и молчаливые, женщины в темных платьях и чепцах. Экипаж

высокий, с шелковой бахромой, лошади старые, породистые, с длинными шеями и спинами, с побелевшими от старости губами, при езде крупно кивающие головой.

Комната Софьи смотрела несколько веселее прочих, особенно когда присутствовала в ней сама хозяйка: там были цветы, ноты, множество современных безделок.

Еще бы немного побольше свободы, беспорядка, света и шуму — тогда это был бы свежий, веселый и розовый приют, где бы можно замечтаться, зачитаться, заиграться и, пожалуй, залюбиться.

Но цветы стояли в тяжелых старинных вазах, точно надгробных урнах, горка массивного старого серебра придавала еще больше античности комнате. Да и тетки не могли видеть беспорядка: чуть цветы раскинутся в вазе прихотливо, входила Анна Васильевна, звонила девушку в чепце и приказывала собрать их в симметрию.

Если оказывалась книга в богатом переплете лежащею на диване, на стуле,— Надежда Васильевна ставила ее на полку; если западал слишком вольный луч солнца и играл на хрустале, на зеркале, на серебре,— Анна Васильевна находила, что глазам больно, молча указывала человеку пальцем на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завеса мерно падала с петли и закрывала свет.

Зато внизу, у Николая Васильевича, был полный беспорядок. Старые предания мешались там с следами современного комфорта. Подле тяжелого буля стояла откидная кушетка от Гамбса, высокий готический камин прикрывался ширмами с картинами фоблазовских нравов, на столах часто утро заставало остатки ужина, на диване можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку, в уборной его — целый магазин косметических снадобьев.

Как тихо и молчаливо было наверху, так внизу слышались часто звонкие голоса, смех, всегда было там живо, беспорядочно. Камердинер был у него француз, с почтительной речью и наглым взглядом.

III

Много комнат прошли Райский и Аянов, прежде нежели добрались до жилья, то есть до комнат, где сидели обе старухи и Софья Николаевна.

Когда они вошли в гостиную, на них захрипела моська, но не смогла полаять и, повертевшись около себя, опять улеглась.

Анна Васильевна кивнула им, а Надежда Васильевна, в ответ на поклоны, ласково поглядела на них, с удовольствием высморкалась и сейчас же понюхала табаку, зная, что у ней будет партия.

— Ma cousine! [1] — сказал Райский, протянув руку Беловодовой.

Она поклонилась с улыбкой и подала ему руку.

— Позвони, Sophie, чтобы кушать давали,— сказала старшая тетка, когда гости уселись около стола.

Софья Николаевна поднялась было с места, но Райский предупредил ее и дернул шнурок.

— Скажи Николаю Васильевичу, что мы садимся обедать,— с холодным достоинством обратилась старуха к человеку.— Да кушать давать! Ты что, Борис, опоздал сегодня: четверть шестого! — упрекнула она Райского.

Он был двоюродным племянником старух и троюродным братом Софьи. Дом его, тоже старый и когда-то богатый, был связан родством с домом Пàхотиных. Но познакомился он с своей родней не больше года тому назад.

В этом он виноват был сам. Старухи давно уже, услыхав его фамилию, осведомлялись, из тех ли он Райских, которые происходили тогда-то от тех-то и жили там-то?

Он знал об этом, но притаился и пропустил этот вопрос без внимания, не находя ничего занимательного знакомиться с скучным, строгим, богатым домом.

Сам он был не скучен, не строг и не богат. Старину своего рода он не ставил ни во что, даже никогда об этом не помнил и не думал.

Остался он еще в детстве сиротой, на руках равнодушного, холостого опекуна, а тот отдал его сначала на воспитание родственнице, приходившейся двоюродной бабушкой Райскому.

Она была отличнейшая женщина по сердцу, но далее своего уголка ничего знать не хотела, и там в тиши, среди садов и рощ, среди семейных и хозяйственных хлопот маленького размера, провел Райский несколько лет, а чуть подрос, опекун поместил его в гимназию, где окончательно изгладились из памяти мальчика все родовые предания фамилии о прежнем богатстве и родстве с другими старыми домами.

Дальнейшее развитие, занятия и направление еще более отвели Райского от всех преданий старины.

И он не спешил сблизиться с своими петербургскими родными, которые о нем знали тоже по слуху. Но как-то зимой Райский однажды на балу увидел Софью, раза два говорил с нею и потом уже стал искать знакомства с ее домом. Это было всего легче сделать через отца ее: так Райский и сделал.

Он знал одну хорошенькую актрису и на вечере у нее ловко подделался к старику, потом подарил ему портрет этой актрисы своей работы, напомнил ему о своей фамилии, о старых связях и скоро был представлен старухам и дочери.

---

[1] Кузина! *(франц.)*

Он так обворожил старух, являясь то робким, покорным мудрой старости, то живым, веселым собеседником, что они скоро перешли на *ты* и стали звать его mon neveu [1], а он стал звать Софью Николаевну кузиной и приобрел степень короткости и некоторые права в доме, каких постороннему не приобрести во сто лет.

Но все-таки он еще был недоволен тем, что мог являться по два раза в день, приносить книги, ноты, приходить обедать запросто. Он привык к обществу новых современных нравов и к непринужденному обхождению с женщинами.

А Софья мало оставалась одна с ним: всегда присутствовала то одна, то другая старуха; редко разговор выходил из пределов текущей жизни или родовых воспоминаний.

А если затрогивались вопросы живые, глубокие, то старухи тоном и сентенциями сейчас клали на всякий разговор свою патентованную печать.

Райский между тем сгорал желанием узнать не Софью Николаевну Беловодову — там нечего было узнавать, кроме того, что она была прекрасная собой, прекрасно воспитанная, хорошего рода и тона женщина — он хотел отыскать в ней просто женщину, наблюсти и определить, что кроется под этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сияющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстрого, жаждущего, огненного, или наконец скучного, утомленного взгляда, никогда не обмолвившейся нетерпеливым, неосторожным или порывистым словом?

Но она в самом деле прекрасна. Нужды нет, что она уже вдова, женщина; но на открытом, будто молочной белизны белом лбу ее и благородных, несколько крупных чертах лица лежит девическое, почти детское неведение жизни.

Она, кажется, не слыхала, что есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доводящие до проклятий, стирающие это сияние с лица.

Большие серо-голубые глаза полны ровного, немерцающего горения. Но в них теплится будто и чувство; кажется, она не бессердечная женщина.

Но какое это чувство? Какого-то всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете,— такое чувство, если только это чувство, каким светятся глаза у людей сытых, беззаботных, всем удовлетворенных и не ведающих горя и нужд.

Волоса у нее были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылке. Плечи и грудь поражали пышностью.

Цвет лица, плеч, рук — был цельный, свежий цвет, блистающий здоровьем, ничем не тронутым — ни болезнью, ни бедами.

---

[1] Племянником *(франц.)*.

Одевалась она просто, если разглядеть подробно все, что на ней было надето, но казалась великолепно одетой. И материя ее платья как будто была особенная, и ботинки не так сидят на ней, как на других.

Великолепной картиной, видением явилась она Райскому где-то на вечере в первый раз.

В другой вечер он увидел ее далеко, в театре, в третий раз опять на вечере, потом на улице — и всякий раз картина оставалась верна себе, в блеске и красках.

Напрасно он настойчивым взглядом хотел прочесть ее мысль, душу, все, что крылось под этой оболочкой: кроме глубокого спокойствия он ничего не прочел. Она казалась ему все той же картиной или отличной статуей музея.

Все находили, что она образец достоинства строгих понятий, comme il faut [1], жалели, что она лишена семейного счастья и ждали, когда новый Гименей наложит на нее цепи.

В семействе тетки и близкие старики и старухи часто при ней гадали ей, в том или другом искателе, мужа: то посланник являлся чаще других в дом, то недавно отличившийся генерал, а однажды серьезно поговаривали об одном старике, иностранце, потомке королевского, угасшего рода. Она молчит и смотрит беззаботно, как будто дело идет не о ней.

Другие находили это натуральным, даже высоким, sublime [2], только Райский — бог знает из чего, бился истребить это в ней и хотел видеть другое.

Она на его старания смотрела ласково, с улыбкой. Ни в одной черте никогда не было никакой тревоги, желания, порыва.

Напрасно он, слыша раздирающий вопль на сцене, быстро глядел на нее — что она? Она смотрела на это без томительного, поглотившего всю публику напряжения, без наивного сострадания.

И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая всеобщий продолжительный хохот, вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмененный с бывшей с ней в ложе женщиной, взгляд.

«И она была замужем!» — думал Райский в недоумении.

Он познакомился с ней и потом познакомил с домом ее бывшего своего сослуживца Аянова, чтобы два раза в неделю делать партию теткам, а сам, пользуясь этим скудным средством, сближался сколько возможно с кузиной, урывками вслушивался, вглядывался в нее, не зная, зачем, для чего?

---

[1] Светскости *(франц.)*.

[2] Возвышенным *(франц.)*.

IV

Уже сели за стол, когда пришел Николай Васильевич, одетый в коротенький сюртук, с безукоризненно завязанным галстуком, обритый, сияющий белизной жилета, моложавым видом и красивыми, душистыми сединами.

— Bonjour, bonjour! [1] — отвечал он, кивая всем.— Я не обедаю с вами, не беспокойтесь, ne vous dérangez pas [2],— говорил он, когда ему предлагали сесть.— Я за городом сегодня.

— Помилуй, Nicolas, за городом! — сказала Анна Васильевна.— Ведь там еще не растаяло... Или давно ревматизм не мучил?

Пàхотин пожал плечами.

— Что делать! Ce que femme veut, Dieu le veut! [3] Вчера la petite Nini [4] заказала Виктору обед на ферме: «Хочу, говорит, подышать свежим воздухом...» Вот и я хочу!..

— Пожалуйста, пожалуйста! — замахала рукой Надежда Васильевна,— поберегите подробности для этой petite Nini.

— Вы напрасно рискуете,— сказал Аянов,— я в теплом пальто озяб.

— Э! mon cher [5] Иван Иванович: а если б вы шубу надели, так и не озябли бы!..

— Partie de plaisir [6] за городом — в шубах! — сказал Райский.

— За городом! Ты уже представляешь себе, с понятием «за городом»,— и зелень, и ручьи, и пастушков, а может быть, и пастушку... Ты артист! А ты представь себе загородное удовольствие без зелени, без цветов...

— Без тепла, без воды...— перебил Райский.

— И только с воздухом... А воздухом можно дышать и в комнате. Итак, я еду в шубе... Надену кстати бархатную ермолку под шляпу, потому что вчера и сегодня чувствую шум в голове: все слышится, будто колокола звонят; вчера в клубе около меня по-немецки болтают, а мне кажется грызут грецкие орехи... А все же поеду. О женщины!

— Это тоже — Дон-Жуан? — спросил тихонько Аянов у Райского.

— Да, в своем роде. Повторяю тебе, Дон-Жуаны, как Дон-Кихоты, разнообразны до бесконечности. У этого погасло артистическое, тонкое чувство поклонения красоте. Он поклоняется грубо, чувственно...

---

[1] Здравствуйте, здравствуйте! *(франц.)*
[2] Не беспокойтесь *(франц.)*.
[3] Чего хочет женщина — того хочет бог! *(франц.)*
[4] Малютка Нини *(франц.)*.
[5] Мой дорогой *(франц.)*.
[6] Увеселительная прогулка *(франц.)*.

— Ну, брат, какую ты метафизику устроил из красоты!

— Женщины,— продолжал Пàхотин,— теперь только и находят развлечение с людьми наших лет. (Он никогда не называл себя стариком.) И как они любезны: например, Pauline сказала мне...

— Пожалуйста, пожалуйста! — заговорила с нетерпением Надежда Васильевна.— Уезжайте, если не хотите обедать...

— Ах, ma soeur! [1] два слова,— обратился он к старшей сестре и, нагнувшись, тихо, с умоляющим видом, что-то говорил ей.

— Опять! — с холодным изумлением перебила Надежда Васильевна.— Нету! — упрямо сказала потом.

— Quinze cents! [2] — умолял он.

— Нету, нету, mon frere: [3] к святой неделе вы получили три тысячи, и уж нет... Это ни на что не похоже...

— Eh bien, mille roubles! [4] Графу отдать: я у него на той неделе занял: совестно в глаза смотреть.

— Нету и нету: а на меня вам не совестно смотреть?

Он отошел от нее и в раздумье пожевал губами.

— Вам сказывали люди, папà, что граф сегодня заезжал к вам? — спросила Софья, услыхав имя графа.

— Да; жаль, что не застал. Я завтра буду у него.

— Он завтра рано уезжает в Царское Село.

— Он сказал?

— Да, он заходил сюда. Он говорит, что ему нужно бы видеть вас, дело какое-то...

Пàхотин опять пожевал губами.

— Знаю, знаю, зачем! — вдруг догадался он,— бумаги разбирать — merci [5], а к святой опять обошел меня, а Илье дали! Qu'il aille se promener! [6] Ты не была в Летнем саду? — спросил он у дочери.— Виноват, я не поспел...

— Нет, я завтра поеду с Catherine: она обещала заехать за мной.

Он поцеловал дочь в лоб и уехал. Обед кончился; Аянов и старухи уселись за карты.

— Ну, Иван Иваныч, не сердитесь,— сказала Анна Васильевна,— если опять забуду да свою трефовую даму побью. Она мне даже сегодня во сне приснилась. И как это я ее забыла! Кладу девятку на чужого валета, а дама на руках...

— Случается! — сказал любезно Аянов.

Райский и Софья сидели сначала в гостиной, потом перешли в кабинет Софьи.

---

[1] Сестрица! *(франц.)*
[2] Полторы тысячи! *(франц.)*
[3] Братец *(франц.)*.
[4] Ну, тысячу рублей! *(франц.)*
[5] Благодарю *(франц.)*.
[6] Пусть убирается! *(франц.)*

— Что вы делали сегодня утром? — спросил Райский.

— Ездила в институт, к Лидии.

— А! к кузине. Что она, мила? Скоро выйдет?

— К осени; а на лето мы ее возьмем на дачу. Да: она очень мила, похорошела, только еще смешна... и все они пресмешные...

— А что?

— Окружили меня со всех сторон; от всего приходят в восторг: от кружева, от платья, от серег; даже просили показать ботинки...— Софья улыбнулась.

— Что ж, вы показали?

— Нет. Надо летом отучить Лидию от этих наивностей...

— Зачем же отучить? Наивные девочки, которых все занимает, веселит, и слава богу, что занимают ботинки, потом займут их деревья и цветы на вашей даче... Вы и там будете мешать им?

— О нет, цветы, деревья — кто ж им будет мешать в этом? Я только помешала им видеть мои ботинки: это не нужно, лишнее.

— Разве можно жить без лишнего, без ненужного?

— Кажется, вы сегодня опять намерены воевать со мной? — заметила она.— Только, пожалуйста, не громко, а то тетушки поймают какое-нибудь слово и захотят знать подробности: скучно повторять.

— Если все свести на нужное и серьезное,— продолжал Райский,— куда как жизнь будет бедна, скучна! Только что человек выдумал, прибавил к ней — то и красит ее. В отступлениях от порядка, от формы, от ваших скучных правил только и есть отрады...

— Если б ma tante [1] услыхала вас на этом слове... «отступления от правил»...— заметила Софья.

— Сейчас бы сказала: пожалуйста, пожалуйста,— досказал Райский.— А вы что скажете? — спросил он.— Обойдитесь хоть однажды без «ma tante»! Или это ваш собственный взгляд на отступления от правил, проведенный только через авторитет ma tante?

— Вы по обыкновению хотите из желания девочек посмотреть ботинки сделать важное дело, разбранить меня и потом заставить согласиться с вами... да?

— Да,— сказал Райский.

— Что у вас за страсть преследовать мои бедные правила?

— Потому что они не ваши.

— Чьи же?

— Тетушкины, бабушкины, дедушкины, прабабушкины, прадедушкины, вон всех этих полинявших господ и госпож в робронах, манжетах...

Он указал на портреты.

---

[1] Тетушка *(франц.)*.

— Вот видите, как много за мои правила,— сказала она шутливо. — А за ваши?..

— Еще больше! — возразил Райский и открыл портьеру у окна.

— Посмотрите, все эти идущие, едущие, снующие взад и вперед, все эти живые, не полинявшие люди — все за меня! Идите же к ним, кузина, а не от них назад! Там жизнь...— Он опустил портьеру.— А здесь — кладбище.

— По крайней мере можете ли вы, cousin, однажды навсегда сделать résumé:[1] какие это *их* правила,— она указала на улицу,— в чем они состоят, и отчего то, чем жило так много людей и так долго, вдруг нужно менять на другое, которым живут...

— В вашем вопросе есть и ответ: «жило»,— сказали вы, и — отжило, прибавлю я. А эти,— он указал на улицу,— живут! Как живут — рассказать этого нельзя, кузина. Это значит рассказать вам жизнь вообще, и современную в особенности. Я вот сколько времени рассказываю вам всячески: в спорах, в примерах, читаю... а все не расскажу.

— Кто ж виноват,— я?

— Вы, кузина; чего другого, а рассказывать я умею. Но вы непоколебимы, невозмутимы, не выходите из своего укрепления... и я вам низко кланяюсь.

Он низко поклонился ей. Она смотрела на него с улыбкой.

— Будем оба непоколебимы: не выходить из правил, кажется, это все...— сказала она.

— Не выходить из слепоты — не бог знает, какой подвиг!.. Мир идет к счастью, к успеху, к совершенству...

— Но ведь я... совершенство, cousin? Вы мне третьего дня сказали и даже собрались доказать, если б я только захотела слушать...

— Да, вы совершенны, кузина; но ведь Венера Милосская, головки Грёза, женщины Рубенса — еще совершеннее вас. Зато... ваша жизнь, ваши правила... куда как несовершенны!

— Что же надо делать, чтоб понять эту жизнь и ваши мудреные правила? — спросила она покойным голосом, показывавшим, что она не намерена была сделать шагу, чтоб понять их, и говорила только потому, что об этом зашла речь.

— Что делать? — повторил он.— Во-первых, снять эту портьеру с окна, и с жизни тоже, и смотреть на все открытыми глазами, тогда поймете вы, отчего те старики полиняли и лгут вам, обманывают вас бессовестно из своих позолоченных рамок...

— Cousin! — с улыбкой за резкость выражения вступилась Софья за предков.

---

[1] Вывод *(франц.)*.

— Да, да,— задорно продолжал Райский,— они лгут. Вот посмотрите, этот напудренный старик с стальным взглядом,— говорил он, указывая на портрет, висевший в простенке,— он был, говорят, строг даже к семейству, люди боялись его взгляда... Он так и говорит со стены: «Держи себя достойно»,— чего: человека, женщины, что ли? нет,— «достойно рода, фамилии», и если, боже сохрани, явится человек с вчерашним именем, с добытым собственной головой и руками значением — «не возводи на него глаз, помни, ты носишь имя Пахотиных!..» Ни лишнего взгляда, ни смелой, естественной симпатии... Боже сохрани от mésalliance! [1] А сам — кого удостоивал или кого не удостоивал сближения с собой? «Il faut bien placer ses affections!» [2] — говорит он на своем нечеловеческом наречии, высказывающем нечеловеческие понятия. А на какие affections [3] разбросал сам свою жизнь, здоровье? Положил ли эти affections на эту сухую старушку, с востреньким носиком, жену свою?..— Райский указал на другой женский портрет.— Нет, она смотрит что-то невесело, глаза далеко ушли во впадины: это такая же жертва хорошего тона, рода и приличий... как и вы, бедная, несчастная кузина...

— Cousin, cousin! — с усмешкой останавливала его Софья.

— Да, кузина: вы обмануты, и ваши тетки прожили жизнь в страшном обмане и принесли себя в жертву призраку, мечте, пыльному воспоминанию... Он велел! — говорил он, глядя почти с яростью на портрет,— сам жил обманом, лукавством или силою, мотал, творил ужасы, а другим велел не любить, не наслаждаться!

— Cousin! пойдемте в гостиную: я не сумею ничего отвечать на этот прекрасный монолог... Жаль, что он пропадет даром! — чуть-чуть насмешливо заметила она.

— Да,— отвечал он,— предок торжествует. Завещанные им правила крепки. Он любуется вами, кузина: спокойствие, безукоризненная чистота и сияние окружают вас, как ореол...

Он вздохнул.

— Все это лишнее, ненужное, cousin! — сказала она,— ничего этого нет. Предок не любуется на меня, и ореола нет, а я любуюсь на вас и долго не поеду в драму: я вижу сцену здесь, не трогаясь с места... И знаете, кого вы напоминаете мне? Чацкого...

Он задумался, и сам мысленно глядел на себя и улыбнулся.

— Это правда, я глуп, смешон,— сказал он, подходя к ней и улыбаясь весело и добродушно,— может быть, я тоже с корабля попал на бал... Но и Фамусовы в юбке! — он указал на теток.— Ужели лет через пять, через десять...

---

[1] Неравного брака! *(франц.)*

[2] Нужно быть осмотрительнее в своих привязанностях! *(франц.)*

[3] Привязанности *(франц.)*.

Он не досказал своей мысли, сделал нетерпеливый жест рукой и сел на диван.

— О каком обмане, силе, лукавстве говорите вы? — спросила она.— Ничего этого нет. Никто мне ни в чем не мешает... Чем же виноват предок? Тем, что вы не можете рассказать своих правил? Вы много раз принимались за это, и все напрасно...

— Да, с вами напрасно, это правда, кузина! Предки ваши...

— И ваши тоже: у вас тоже есть они.

— Предки наши были умные, ловкие люди,— продолжал он,— где нельзя было брать силой и волей, они создали систему, она обратилась в предание — и вы гибнете систематически, по преданию, как индианка, сожигающаяся с трупом мужа...

— Послушайте, monsieur Чацкий,— остановила она,— скажите мне по крайней мере, отчего я гибну? Оттого что не понимаю новой жизни, не... не поддаюсь... как вы это называете... развитию? Это ваше любимое слово. Но вы достигли этого развития, да? а я всякий день слышу, что вы скучаете... вы иногда наводите на всех скуку...

— И на вас тоже?

— Нет, не шутя, мне жаль вас...

— Говоря о себе, не ставьте себя наряду со мной, кузина: я урод, я... я... не знаю, что я такое, и никто этого не знает. Я больной, ненормальный человек, и притом я отжил, испортил, исказил... или нет, не понял своей жизни. Но вы цельны, определенны, ваша судьба так ясна, и между тем я мучаюсь за вас. Меня терзает, что даром уходит жизнь, как река, текущая в пустыне... А то ли суждено вам природой? Посмотрите на себя...

— Что же мне делать, cousin: я не понимаю? Вы сейчас сказали, что для того, чтобы понять жизнь, нужно, во-первых, снять портьеру с нее. Положим, она снята, и я не слушаюсь предков: я знаю, зачем, куда бегут все эти люди,— она указала на улицу,— что их занимает, тревожит: что же нужно, во-вторых?

— Во-вторых, нужно...

Он встал, заглянул в гостиную, подошел тихо к ней и тихо, но внятно сказал:

— Любить!

— Voilà le grand mot! [1] — насмешливо заметила она.

Оба молчали.

— Вы, кажется, и их упрекали, зачем они не любят,— с улыбкой прибавила она, показав головой к гостиной на теток.

Райский махнул с досадой на теток рукой.

— Вы будто лучше теток, кузина? — возразил он.— Только

[1] Вот оно, великое слово! *(франц.)*

они стары, больны, а вы прекрасны, блистательны, ослепительны...

— Merci, merci,— нетерпеливо перебила она с своей обыкновенной, как будто застывшей улыбкой.

— Что же вы не спросите меня, кузина, что значит любить, как я понимаю любовь?

— Зачем? Мне не нужно это знать.

— Нет, вы не смеете спросить!

— Почему?

— Они услышат.— Райский указал на портреты предков.— Они не велят...— Он указал в гостиную на теток.

— Нет, *он* услышит! —сказала она, указывая на портрет своего мужа во весь рост, стоявший над диваном, в готической золоченой раме.

Она встала, подошла к зеркалу и задумчиво расправляла кружево на шее.

Райский между тем изучал портрет мужа: там видел он серые глаза, острый, небольшой нос, иронически сжатые губы и коротко остриженные волосы, рыжеватые бакенбарды. Потом взглянул на ее роскошную фигуру, полную красоты, и мысленно рисовал того счастливца, который мог бы, по праву сердца, велеть или не велеть этой богине.

«Нет, нет, не этот! — думал он, глядя на портрет,— это тоже предок, не успевший еще полинять; не ему, а принципу своему покорна ты...»

— Вы так часто обращаетесь к своему любимому предмету, к любви, а посмотрите, cousin, ведь мы уж стары, пора перестать думать об этом! — говорила она, кокетливо глядя в зеркало.

— Значит, пора перестать жить... Я — положим, а вы, кузина?

— Как же живут другие, почти все?

— Никто! — с уверенностью перебил он.

— Как? По-вашему, князь Пьер, Анна Борисовна, Лев Петрович... все они...

— Живут —или воспоминаниями любви, или любят, да притворяются...

Она засмеялась и стала собирать в симметрию цветы, потом опять подошла к зеркалу.

— Да, любили или любят, конечно, про себя, и не делают из этого никаких историй,— досказала она и пошла было к гостиной.

— Одно слово, кузина! —остановил он ее.

— О любви? — спросила она, останавливаясь.

— Нет, не бойтесь, по крайней мере теперь я не расположен к этому. Я хотел сказать другое.

— Говорите,— мягко сказала она, садясь.

— Я пойду прямо к делу: скажите мне, откуда вы берете

это спокойствие, как удается вам сохранить тишину, достоинство, эту свежесть в лице, мягкую уверенность и скромность в каждом мерном движении вашей жизни? Как вы обходитесь без борьбы, без увлечений, без падений и без побед? Что вы делаете для этого?

— Ничего! — с удивлением сказала она.— Зачем вы хотите, чтоб со мной делались какие-то конвульсии?

— Но ведь вы видите других людей около себя, не таких, как вы, а с тревогой на лице, с жалобами.

— Да, вижу и жалею: ma tante, Надежда Васильевна, постоянно жалуется на тик, а папа́ на приливы...

— А другие, а все? — перебил он,— разве так живут? Спрашивали ли вы себя, отчего они терзаются, плачут, томятся, а вы нет? Отчего другим по три раза в день приходится тошно жить на свете, а вам нет? Отчего они мечутся, любят и ненавидят, а вы нет?..

— Вы про тех говорите,— спросила она, указывая головой на улицу,— кто там бегает, суетится? Но вы сами сказали, что я не понимаю их жизни. Да, я не знаю этих людей и не понимаю их жизни. Мне дела нет...

— Дела нет! Ведь это значит дела нет до жизни! — почти закричал Райский, так что одна из теток очнулась на минуту от игры и сказала им громко: «Что вы все там спорите: не подеритесь!.. И о чем это они?»

— Опять «жизни»: вы только и твердите это слово, как будто я мертвая! Я предвижу, что будет дальше,— сказала она, засмеявшись, так что показались прекрасные зубы.— Сейчас дойдем до правил и потом... до любви.

— Нет, не отжил еще Олимп! — сказал он.— Вы, кузина, просто олимпийская богиня — вот и конец объяснению,— прибавил, как будто с отчаянием, что не удается ему всколебать это море.— Пойдемте в гостиную!

Он встал. Но она сидела.

— Вы не удостоиваете смертных снизойти до них, взглянуть на их жизнь, живете олимпийским неподвижным блаженством, вкушаете нектар и амброзию — и благо вам!

— Чего же еще: у меня все есть, и ничего мне не надо...

Она не успела кончить, как Райский вскочил.

— Вы высказали свой приговор сами, кузина,— напал он бурно на нее,— «у меня все есть, и ничего мне не надо!» А спросили ли вы себя хоть раз о том: сколько есть на свете людей, у которых ничего нет и которым все надо? Осмотритесь около себя: около вас шелк, бархат, бронза, фарфор. Вы не знаете, как и откуда является готовый обед, у крыльца ждет экипаж и везет вас на бал и в оперу. Десять слуг не дадут вам пожелать и исполняют почти ваши мысли... Не делайте знаков нетерпения: я знаю, что все это общие места... А думаете ли вы иногда, откуда это все берется и кем доставляется

вам? Конечно, не думаете. Из деревни приходят от управляющего в контору деньги, а вам приносят на серебряном подносе, и вы, не считая, прячете в туалет...

— Тетушка десять раз сочтет и спрячет к себе,— сказала она,— а я, как институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдает мне, вы знаете, с какими наставлениями.

— Да, но выдает. Вы выслушаете наставления и потом тратите деньги. А если б вы знали, что там, в зной, жнет беременная баба...

— Cousin! — с ужасом попробовала она остановить его, но это было не легко, когда Райский входил в пафос.

— Да, а ребятишек бросила дома — они ползают с курами, поросятами, и если нет какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь их каждую минуту висит на волоске: от злой собаки, от проезжей телеги, от дождевой лужи... А муж ее бьется тут же, в бороздах на пашне, или тянется с обозом в трескучий мороз, чтоб добыть хлеба, буквально хлеба — утолить голод с семьей, и, между прочим, внести в контору пять или десять рублей, которые потом приносят вам на подносе... Вы этого не знаете: «вам дела нет», говорите вы...

На ее лицо легла тень непривычного беспокойства, недоумения.

— Чем же я тут виновата, и что я могу сделать? — тихо сказала она, смиренно и без иронии.

— Я не проповедую коммунизма, кузина, будьте покойны. Я только отвечаю на ваш вопрос: «что делать», и хочу доказать, что никто не имеет права не знать жизни. Жизнь сама тронет, коснется, пробудит от этого блаженного успения — и иногда очень грубо. Научить «что делать» — я тоже не могу, не умею. Другие научат. Мне хотелось бы разбудить вас: вы спите, а не живете. Что из этого выйдет, я не знаю — но не могу оставаться и равнодушным к вашему сну.

— А вы сами, cousin, что делаете с этими несчастными: ведь у вас есть тоже мужики и эти... бабы? — спросила она с любопытством.

— Мало делаю, или почти ничего, к стыду моему или тех, кто меня воспитывал. Я давно вышел из опеки, а управляет все тот же опекун — и я не знаю, как. Есть у меня еще бабушка в другом уголке — там какой-то клочок земли есть: в их руках все же лучше, нежели в моих. Но я, по крайней мере, не считаю себя вправе отговариваться неведением жизни — знаю кое-что, говорю об этом, вот хоть бы и теперь, иногда пишу, спорю — и все же делаю. Но, кроме того, я выбрал себе дело: я люблю искусство и... немного занимаюсь... живописью, музыкой... пишу...— досказал он тихо, и смотрел на конец своего сапога.

— Это очень серьезно, что вы мне сказали! — произнесла она задумчиво.— Если вы не разбудили меня, то напугали.

Я буду дурно спать. Ни тетушки, ни Paul, муж мой, никогда мне не говорили этого — и никто. Иван Петрович, управляющий, привозил бумаги, счеты, я слышала, говорили иногда о хлебе, о неурожае. А... о бабах этих... и о ребятишках... никогда.

— Да, это mauvais genre! [1] Ведь при вас даже неловко сказать «мужик» или «баба», да еще беременная... Ведь «хороший тон» не велит человеку быть самим собой... Надо стереть с себя все свое и походить на всех!

— Когда-нибудь... мы проведем лето в деревне, cousin,— сказала она живее обыкновенного,— приезжайте туда, и... и мы не велим пускать ребятишек ползать с собаками — это прежде всего. Потом попросим Ивана Петровича не посылать... этих баб работать... Наконец, я не буду брать своих карманных денег...

— Ну, их положит в свой карман Иван Петрович. Оставим это, кузина. Мы дошли до политической и всякой экономии, до социализма и коммунизма — я в этом не силен. Довольно того, что я потревожил ваше спокойствие. Вы говорите, что дурно уснете — вот это и нужно: завтра не будет, может быть, этого сияния на лице, но зато оно засияет другой, не ангельской, а человеческой красотой. А со временем вы постараетесь узнать, нет ли и за вами какого-нибудь дела, кроме визитов и праздного спокойствия, и будете уже с другими мыслями глядеть и туда, на улицу. Представьте только себя там, хоть изредка: например, если б вам пришлось идти пешком в зимний вечер, одной взбираться в пятый этаж, давать уроки? Если б вы не знали, будет ли у вас топлена комната и выработаете ли вы себе на башмаки и на салоп,— да еще не себе, а детям? И потом убиваться неотступною мыслью, что вы сделаете с ними, когда упадут силы?.. И жить под этой мыслью, как под тучей, десять, двадцать лет...

— C'est assez, cousin! [2] — нетерпеливо сказала она.— Возьмите деньги и дайте туда...

Она указала на улицу.

— Сами учитесь давать, кузина; но прежде надо понять эти тревоги, поверить им, тогда выучитесь и давать деньги.

Оба замолчали.

— Так вот те principes... [3] А что дальше? — спросила она.

— Дальше... любить... и быть любимой...

— И что ж потом?

— Потом... «плодиться, множиться и населять землю»: а вы не исполняете этого завета...

---

[1] Дурной тон! *(франц.)*
[2] Довольно, кузен! *(франц.)*
[3] Принципы... *(франц.)*

Она покраснела и как ни крепилась, но засмеялась, и он тоже, довольный тем, что она сама помогла ему так определительно высказаться о конечной цели любви.

— А если я любила? — отозвалась она.

— Вы? — спросил он, вглядываясь в ее бесстрастное лицо.— *Вы* любили и... страдали?

— Я была счастлива. Зачем непременно страдать?

— Вы оттого и не знаете жизни, не ведаете чужих скорбей: кому что нужно, зачем мужик обливается пòтом, баба жнет в нестерпимый зной — все оттого, что вы не любили! А любить, не страдая — нельзя. Нет! — сказал он,— если б лгал ваш язык, не солгали бы глаза, изменились бы хоть на минуту эти краски. А глаза ваши говорят, что вы как будто вчера родились...

— Вы поэт, артист, cousin, вам, может быть, необходимы драмы, раны, стоны, и я не знаю, что еще! Вы не понимаете покойной, счастливой жизни, я не понимаю вашей...

— Это я вижу, кузина; но поймете ли? — вот что хотел бы я знать! Любили и никогда не выходили из вашего олимпийского спокойствия?

Она отрицательно покачала головой.

— Как это вы делали, расскажите! Так же сидели, глядели на все покойно, так же, с помощью ваших двух фей, медленно одевались, покойно ждали кареты, чтоб ехать туда, куда рвалось сердце? не вышли ни разу из себя, тысячу раз не спросили себя мысленно, там ли он, ждет ли, думает ли? не изнемогли ни разу, не покраснели от напрасно потерянной минуты или от счастья, увидя, что он там? И не сбежала краска с лица, не являлся ни испуг, ни удивление, что его нет?

Она отрицательно покачала головой.

— Не приходилось вам обрадоваться, броситься к нему, не найти слов, когда он войдет вот сюда?..

— Нет,— сказала она с прежней усмешкой.

— А когда вы ложились спать...

В лице у ней появилось беспокойство.

— Не стоял он тут?..— продолжал он.

— Что вы, cousin! — почти с ужасом сказала она.

— Не стоял он хоть в воображении у вас, не наклонялся к вам?..

— Нет, нет...— отвергала она, качая головой.

— Не брал за руку, не раздавался поцелуй?..

Краска разлилась по ее щекам.

— Cousin, я была замужем, вы знаете... assez, assez, de grâce... [1]

— Если б вы любили, кузина,— продолжал он, не слушая ее,— вы должны помнить, как дорого вам было про-

---

[1] Довольно, довольно, помилосердствуйте... *(франц.)*

снуться после такой ночи, как радостно знать, что вы существуете, что есть мир, люди и *он*...

Она опустила длинные ресницы и дослушивала с нетерпением, шевеля концом ботинки.

— Если этого не было, как же вы любили, кузина? — заключил он вопросом.

— Иначе.

— Расскажите: зачем таить *возвышенную* любовь?..

— Не таю: в ней не было ничего ни таинственного, ни возвышенного, а так, как у всех...

— Ах, только не у всех, нет, нет! И если вы не любили и еще полюбите когда-нибудь, тогда что будет с вами, с этой скучной комнатой? Цветы не будут стоять так симметрично в вазах, и все здесь заговорит о любви.

— Довольно, довольно! — остановила она с полуулыбкой, не от скуки нетерпения, а под влиянием как будто утомления от раздражительного спора.— Я воображаю себе обеих тетушек, если б в комнате поселился беспорядок,— сказала она, смеясь,— разбросанные книги, цветы — и вся улица смотрит свободно сюда!..

— Опять тетушки! — упрекнул он.— Ни шагу без них! И всю жизнь так?

— Да... конечно,— задумавшись, сказала она.— Как же?

— А сами что? Ужели ни одного свободного побуждения, собственного шага, каприза, шалости, хоть глупости?..

Она думала, казалось припоминала что-то, потом вдруг улыбнулась и слегка покраснела.

— А! кузина, вы краснеете? значит, тетушки не всегда сидели тут, не все видели и знали! Скажите мне, что такое! — умолял он.

— Я вспомнила в самом деле одну глупость и когда-нибудь расскажу вам. Я была еще девочкой. Вы увидите, что и у меня были и слезы, и трепет, и краска... et tout ce que vous aimez tant! [1] Но расскажу с тем, чтобы вы больше о любви, о страстях, о стонах и воплях не говорили. А теперь пойдемте к тетушкам.

Он вышел в гостиную, а она подошла к горке, взяла флакон, налила несколько капель одеколона на руку и задумчиво понюхала, потом оправилась у зеркала и вышла в гостиную.

Она села подле теток и стала пристально следить за игрою, а Райский за нею.

Она была покойна, свежа. А ему втеснилось в душу, напротив, беспокойство, желание узнать, что у ней теперь на уме, что в сердце, хотелось прочитать в глазах, затронул ли он хоть нервы ее; но она ни разу не подняла на него глаз.

---

[1] И все, что вы так любите! *(франц.)*

И потом уже, когда после игры подняла, заговорила с ним — все то же в лице, как вчера, как третьего дня, как полгода назад.

— Чем и как живет эта женщина! Если не гложет ее мука, если не волнуют надежды, не терзают заботы,— если она в самом деле «выше мира и страстей», отчего она не скучает, не томится жизнью... как скучаю и томлюсь я? Любопытно узнать!

V

— Ну, что ты сделал? — спросил Райский Аянова, когда они вышли на улицу.

— Сорок пять рублей выиграл: а ты?

Райский пожал плечами и передал содержание разговора с Софьей.

— Что ж: и это дело от безделья. Ну, и весело?

— Глупое слово: весело! Только дети и французы ухитряются веселиться: s'amuser [1].

— Как же назвать то, что ты делаешь,— и зачем?

— Я уж сказал тебе, зачем,— сердито отозвался Райский.— Затем, что красота ее увлекает, раздражает — и скуки нет — я наслаждаюсь — понимаешь? Вот у меня теперь шевелится мысль писать ее портрет. Это займет месяц, потом буду изучать ее...

— Смотри, не влюбись,— заметил Аянов.— Жениться нельзя, говоришь ты,— а играть в страсти с ней тоже нельзя. Когда-нибудь так обожжешься...

— Кому ты это говоришь! — перебил Райский.— Как будто я не знаю! А я только и во сне, и наяву вижу, как бы обжечься. И если б когда-нибудь обжегся неизлечимою страстью, тогда бы и женился на той... Да нет: страсти — или излечиваются, или, если неизлечимы, кончаются не свадьбой. Нет для меня мирной пристани: или горение, или — сон и скука!

— И чем ты сегодня не являлся перед кузиной! Она тебя Чацким назвала... А ты был и Дон-Жуан, и Дон-Кихот вместе. Вот умудрился! Я не удивлюсь, если ты наденешь рясу и начнешь вдруг проповедывать...

— И я не удивлюсь,— сказал Райский,— хоть рясы и не надену, а проповедывать могу — и искренно, всюду, где замечу ложь, притворство, злость — словом, отсутствие красоты, нужды нет, что сам бываю безобразен... Натура моя отзывается на все, только разбуди нервы — и пойдет играть!.. Знаешь что, Аянов: у меня давно засела серьезная мысль — писать роман. И я хочу теперь посвятить все свое время на это.

Аянов засмеялся.

---

[1] Развлекаться *(франц.)*.

— Серьезная мысль! — повторил он,— ты говоришь о романе, как о серьезном деле! А вправду: пиши, тебе больше нечего делать, как писать романы...

— Ты не смейся и не шути: в роман все уходит — это не то, что драма или комедия — это, как океан: берегов нет, или не видать; не тесно, все уместится там. И знаешь, кто навел меня на мысль о романе: наша общая знакомая, помнишь Анну Петровну?

— Актрису?

— Да, это очень смешно. Она милая женщина и хитрая, и себе на уме в своих делах, как все женщины, когда они, как рыбы, не лезут из воды на берег, а остаются в воде, то есть в своей сфере...

— Ну, что же она?

— Ну, она рассказала — вот что про себя. Подходил ее бенефис, а пьесы не было: драматургов у нас немного: что у кого было, те обещали другим, а переводную ей давать не хотелось. Она и вздумала сочинить сама...

— Не боги горшки обжигают: пришло, видно, ей в голову,— сказал Аянов.

— Именно. И с какой милой наивностью поверяла она мне свои соображения. Например, говорит, в «Горе от ума» — excusez du peu[1] — все лица самые обыкновенные люди, говорят о самых простых предметах, и случай взят простой: влюбился Чацкий, за него не выдали, полюбили другого, он узнал, рассердился и уехал. Отец рассердился на обоих, она на Молчалина — и все!.. И у Мольера, говорит, скупой — скуп, Тартюф — подлый лицемер. Можно даже, говорит, придумать похитрее, поинтереснее интригу. Словом, комедия ей казалась так же мало серьезным делом, как тебе кажется роман. За трагедию она не бралась: тут она скромно сознавалась в своей несостоятельности. А за комедию взялась и в неделю написала листов десять: я просил показать — ни за что! «Что же, кончили?» — спросил я. «Как ни билась, не доходит до конца, говорит, лица все разговаривают и не могут перестать, так и бросила». Бедняжка! Жаль, что ей понадобилась комедия, в которой нужны и начало и конец, и завязка и развязка, а если б она писала роман, то, может быть, и не бросила бы. И лица у ней все разговаривали бы до сих пор. Я буду писать роман, Аянов. В романе укладывается вся жизнь, и целиком, и по частям.

— Своя или чужая? — спросил Аянов.— Ты этак, пожалуй, всех нас вставишь...

— Не беспокойся. Что хорошо под кистью, в другом искусстве не годится. Все зависит от красок и немногих соображений ума, яркости воображения и своеобразия во взгляде.

---

[1] Ни больше ни меньше *(франц.)*.

Немного юмора, да чувства и искренности, да воздержности, да... поэзии...

Он замолчал и шел задумчиво.

— Excusez du peu! — повторил и Аянов.— Пиши, что взбрело на ум, что-нибудь да выйдет.

Райский вздохнул.

— Нет,— сказал он,— нужно еще одно, я не упомянул: это... талант.

— Конечно, безграмотный не напишет...

— Ты грамотный, что ж ты не пишешь? — перебил Райский.

— Зачем? У меня есть что писать. Я дело пишу...

— Опять ты хвастаешься «делом»! Я думаю, если ты перестанешь писать — вот тогда и будет дело.

— А роман твой даст мне оклад в пять тысяч, да квартиру с отоплением, да чин, да?..

— И ты не стыдишься говорить это! Когда мы очеловечимся?

— Я стал очеловечиваться с тех пор, как начал получать по две тысячи, и теперь вот понимаю, что вопросы о гуманности неразрывны с экономическими...

— Знаю, знаю: но зачем ты так храбришься этим циническим эгоизмом?

Аянов собрался было запальчиво отвечать, но в эту минуту наезжала карета, кучер закричал им, и спор не пошел дальше.

— Так живопись — прощай! — сказал Аянов.

— Как прощай: а портрет Софьи?.. На днях начну. Я забросил академию и не видался ни с кем. Завтра пойду к Кирилову: ты его знаешь?

— Не помню, кажется видел: нечесаный такой...

— Да, но глубокий, истинный художник, каких нет теперь: последний могикан!.. Напишу только портрет Софьи и покажу ему, а там попробую силы на романе. Я записывал и прежде кое-что: у меня есть отрывки, а теперь примусь серьезно. Это новый для меня род творчества; не удастся ли там?

— Послушай, Райский, сколько я тут понимаю, надо тебе бросить прежде не живопись, а Софью, и не делать романов, если хочешь писать их... Лучше пиши по утрам роман, а вечером играй в карты: по маленькой, в коммерческую... это не раздражает...

— А это-то и нужно для романа, то есть раздражение. Да — тронь я карты, так я стащу и с тебя пальто и проиграю. Есть своя бездна и там: слава богу, я никогда не заглядывался в нее, а если загляну — так уж выйдет не роман, а трагедия. Впрочем, ты дело говоришь: двум господам служить нельзя! Дай мне кончить как-нибудь эту историю с Софьей, написать ее портрет, и тогда, под влиянием впечатления ее красоты, я, я... Вот пусть эта звезда, как ее... ты не знаешь?

и я не знаю, ну да все равно,— пусть она будет свидетельницей, что я, наконец, слажу с чем-нибудь: или с живописью, или с романом. Роман — да! Смешать свою жизнь с чужою, занести эту массу наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств... une mer à boire! [1]

Они молча шли. Аянов насвистывал, а Райский шел, склоня голову, думая то о Софье, то о романе. На перекрестке, где предстояло расходиться, Райский вдруг спросил:

— Когда же опять туда?

— Куда туда?

— А к Софье.

— Ты опять? а я думал, что ты уж работаешь над романом, и не мешал тебе.

— Я тебе сказал: жизнь — роман, и роман — жизнь.

— Чья жизнь?

— Всякая, даже твоя!

— В среду тетки звали играть.

— Долго, но нечего делать — до среды!

VI

Райский лет десять живет в Петербурге, то есть у него там есть приют, три порядочные комнаты, которые он нанимает у немки и постоянно оставляет квартиру за собой, а сам редко полгода выживал в Петербурге с тех пор, как оставил службу.

А оставил он ее давно, как только вступил. Поглядевши вокруг себя, он вывел свое оригинальное заключение, что служба не есть сама цель, а только средство куда-нибудь девать кучу люда, которому без нее незачем бы родиться на свет. И если б не было этих людей, то не нужно было бы и той службы, которую они несут.

Его определил, сначала в военную, потом в статскую службу, опекун, он же и двоюродный дядя, затем прежде всего, чтоб сбыть всякую ответственность и упрек за небрежность в этом отношении, потом затем, зачем все посылают молодых людей в Петербург: чтоб не сидели праздно дома, «не баловались, не били баклуш» и т. п.,— это цель отрицательная.

В Петербурге есть и выправка, и надзор, и работа; в Петербурге можно получить место прокурора, потом, со временем, и губернатора,— это цель положительная.

Потом уже, пожив в Петербурге, Райский сам решил, что в нем живут взрослые люди, а во всей остальной России — недоросли.

Но вот Райскому за тридцать лет, а он еще ничего не посеял, не пожал и не шел ни по одной колее, по каким ходят приезжающие изнутри России.

---

[1] Грандиозная задача! *(франц.)*

Он ни офицер, ни чиновник, не пробивает себе никакого пути трудом, связями, будто нарочно, наперекор всем, один остается недорослем в Петербурге. В квартале прописан он отставным коллежским секретарем.

Физиономисту трудно бы было определить по лицу его свойства, склонности и характер, потому что лицо это было неуловимо изменчиво.

Иногда он кажется так счастлив, глаза горят, и наблюдатель только что предположит в нем открытый характер, сообщительность и даже болтливость, как через час, через два, взглянув на него, поразится бледностью его лица, каким-то внутренним и, кажется, неисцелимым страданием, как будто он отроду не улыбнулся.

Он в эти минуты казался некрасив: в чертах лица разлад, живые краски лба и щек заменялись болезненным колоритом.

Но если покойный дух жизни тихо опять веял над ним, или попросту «находил на него счастливый стих», лицо его отражало запас силы воли, внутренней гармонии и самообладания, а иногда какой-то задумчивой свободы, какого-то идущего к этому лицу мечтательного оттенка, лежавшего не то в этом темном зрачке, не то в легком дрожании губ.

Нравственное лицо его было еще неуловимее. Бывали какие-то периоды, когда он «обнимал, по его выражению, весь мир», когда чарующею мягкостью открывал доступ к сердцу, и те, кому случалось попадать на эти минуты, говорили, что добрее, любезнее его нет.

Другим случалось попадать в несчастную пору, когда у него на лице выступали желтые пятна, губы кривились от нервной дрожи, и он тупым, холодным взглядом и резкой речью платил за ласку, за симпатию. Те отходили от него, унося горечь и вражду, иногда навсегда.

Какие это периоды, какие дни — ни другие, ни сам он не знал.

— Злой, холодный эгоист и гордец! — говорили попавшие в злую минуту.

— Помилуйте, он очарователен: он всех нас обворожил вчера, все без ума от него! — говорили другие.

— Актер! — твердили некоторые.

— Фальшивый человек! — возражали иные.— Когда чего-нибудь захочет достигнуть, откуда берутся речи, взгляды, как играет лицо!

— Помилуйте! это честнейшее сердце, благородная натура, но нервная, страстная, огненная и раздражительная! — защищали его два-три дружеские голоса.

И так в круге даже близких знакомых его не сложилось о нем никакого определенного понятия, и еще менее образа.

И в раннем детстве, когда он воспитывался у бабушки, до поступления в школу, и в самой школе, в нем проявлялись

те же загадочные черты, та же неровность и неопределенность наклонностей.

Когда опекун привез его в школу и посадили его на лавку, во время класса, кажется, первым бы делом новичка было вслушаться, что спрашивает учитель, что отвечают ученики.

А он прежде всего воззрился в учителя: какой он, как говорит, как нюхает табак, какие у него брови, бакенбарды; потом стал изучать болтающуюся на животе его сердоликовую печатку, потом заметил, что у него большой палец правой руки раздвоен посередине и представляет подобие двойного ореха.

Потом осмотрел каждого ученика и заметил все особенности: у одного лоб и виски вогнуты внутрь головы, у другого мордастое лицо далеко выпятилось вперед, там вон у двоих, у одного справа, у другого слева, на лбу волосы растут вихорком и т. д., всех заметил и изучил, как кто смотрит.

Один с уверенностью глядит на учителя, просит глазами спросить себя, почешет колени от нетерпения, потом голову. А у другого на лице то выступает, то прячется краска — он сомневается, колеблется. Третий упрямо смотрит вниз, пораженный боязнью, чтоб его не спросили. Иной ковыряет в носу и ничего не слушает. Тот должен быть ужасный силач, а этот черненький — плут. И доску, на которой пишут задачи, заметил, даже мел и тряпку, которою стирают с доски. Кстати тут же представил и себя, как он сидит, какое у него должно быть лицо, что другим приходит на ум, когда они глядят на него, каким он им представляется?

— О чем я говорил сейчас? — вдруг спросил его учитель, заметив, что он рассеянно бродит глазами по всей комнате.

К удивлению его, Райский сказал ему от слова до слова, что он говорил.

— Что же это значит? — дальше спросил учитель.

Райский не знал: он так же машинально слушал, как и смотрел, и ловил ухом только слова.

Учитель повторил объяснение. Борис опять слушал, как раздавались слова: иное учитель скажет коротко и густо, точно оборвет, другое растянет, будто пропоет, вдруг слов десять посыплются, как орехи.

— Ну? — спросил учитель.

Райский покраснел, даже вспотел немного от страха, что не знает в чем дело, и молчал.

Это был учитель математики. Он пошел к доске, написал задачу, начал толковать.

Райский только глядел, как проворно и крепко пишет он цифры, как потом идет к нему прежде брюхо учителя с сердоликовой печаткой, потом грудь с засыпанной табаком манишкой. Ничего не ускользнуло от Райского, только ускользнуло решение задачи.

Кое-как он достиг дробей, достиг и до четырех правил из алгебры, когда же дело дошло до уравнений, Райский утомился напряжением ума и дальше не пошел, оставшись совершенно равнодушным к тому, зачем и откуда извлекают квадратный корень.

Учитель часто бился с ним и почти всякий раз со вздохом прибавлял:

— Садись на свое место, ты пустой малый!

Но когда на учителя находили игривые минуты и он, в виде забавы, выдумывал, а не из книги говорил свои задачи, не прибегая ни к доске, ни к грифелю, ни к правилам, ни к пинкам,— скорее всех, путем сверкающей в голове догадки, доходил до результата Райский.

У него в голове было свое царство цифр в образах: они по-своему строились у него там, как солдаты. Он придумал им какие-то свои знаки или физиономии, по которым они становились в ряды, слагались, множились и делились; все фигуры их рисовались то знакомыми людьми, то походили на разных животных.

— Ну, не пустой ли малый! — восклицал учитель.— Не умеет сделать задачи указанным, следовательно облегченным путем, а без правил наобум говорит. Глупее нас с тобой выдумывали правила!

Между тем писать выучился Райский быстро, читал со страстью историю, эпопею, роман, басню, выпрашивал, где мог, книги, но с фактами, а умозрений не любил, как вообще всего, что увлекало его из мира фантазии в мир действительный.

Из географии, в порядке, по книге, как проходили в классе, по климатам, по народам, никак и ничего он не мог рассказать, особенно когда учитель спросит:

— А ну-ка, перескажи все горы в Европе! — или: — все порты Средиземного моря.

Между тем вне класса начнет рассказывать о какой-нибудь стране или об океане, о городе — откуда что берется у него! Ни в книге этого нет, ни учитель не рассказывал, а он рисует картину, как будто был там, все видел сам.

— Да ты все врешь! — скажет иногда слушатель-скептик,— Василий Никитич этого не говорил!

Директор подслушал однажды, когда он рассказывал, как дикие ловят и едят людей, какие у них леса, жилища, какое оружие, как они сидят на деревьях, охотятся за зверями, даже начал представлять, как они говорят горлом.

— Пустяки молоть мастер,— сказал ему директор,— а на экзамене не мог рассказать системы рек! Вот я тебя высеку, погоди! Ничем не хочет серьезно заняться: пустой мальчишка! — И дернул его за ухо.

Райский смотрел, как стоял директор, как говорил, какие злые и холодные у него были глаза, разбирал, отчего ему стало

холодно, когда директор тронул его за ухо, представил себе, как поведут его сечь, как у Севастьянова от испуга вдруг побелеет нос, и он весь будто похудеет немного, как Боровиков задрожит, запрыгает и захихикает от волнения, как добрый Масляников, с плачущим лицом, бросится обнимать его и прощаться с ним, точно с осужденным на казнь. Потом, как его будут раздевать и у него похолодеет сначала у сердца, потом руки и ноги, как он не сможет сам лечь, а положит его тихонько сторож Сидорыч...

Он слышал мысленно свой визг, видел болтающиеся ноги и вздрогнул...

У него упали нервы: он перестал есть, худо спал. Он чувствовал оскорбление от одной угрозы, и ему казалось, что если она исполнится, то это унесет у него все хорошее, и вся его жизнь будет гадка, бедна и страшна, и сам он станет, точно нищий, всеми брошенный, презренный.

В это время, как будто нарочно пришлось, священник толковал историю Иова, всеми оставленного на куче навоза, страждущего...

Райский расплакался, его прозвали «нюней». Он приуныл, три дня ходил мрачный, так что узнать нельзя было: он ли это? ничего не рассказывал товарищам, как они ни приставали к нему.

Так было до воскресенья. А в воскресенье Райский поехал домой, нашел в шкафе «Освобожденный Иерусалим» в переводе Москотильникова, и забыл об угрозе, и не тронулся с дивана, наскоро пообедал, опять лег читать до темноты. А в понедельник утром унес книгу в училище и тайком, торопливо и с жадностью, дочитывал и, дочитавши, недели две рассказывал читанное то тому, то другому.

Снились ему такие горячие сны о далеких странах, о необыкновенных людях в латах, и каменистые пустыни Палестины блистали перед ним своей сухой, страшной красотой: эти пески и зной, эти люди, которые умели жить такой крепкой и трудной жизнью и умирать так легко!

Он содрогался от желания посидеть на камнях пустыни, разрубить сарацина, томиться жаждой и умереть без нужды, для того только, чтоб видели, что он умеет умирать. Он не спал ночей, читая об Армиде, как она увлекла рыцарей и самого Ринальда [1].

«Какая она?» — думалось ему — и то казалось она ему теткой Варварой Николаевной, которая ходила, покачивая головой, как игрушечные коты, и прищуривала глаза, то в виде жены директора, у которой были такие белые руки и острый, пронзительный взгляд, то тринадцатилетней, припрыгивающей, хорошенькой девочкой в кружевных панталончиках, дочерью полицмейстера.

[1] Речь идет о поэме «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).

Он сжимался в комок и читал жадно, почти не переводя духа, но внутренно разрываясь от волнения, и вдруг в неистовстве бросал книгу и бегал, как потерянный, когда храбрый Ринальд или, в романе мадам Коттен, Малек-Адель[1] изнывали у ног волшебницы.

То вдруг случайно воображение унесет его в другую сторону, с каким-нибудь Оссианом: там другая жизнь, другие картины, еще величавее, хотя и суровее тех, и еще необыкновеннее.

И все это, не похожее на текущую жизнь около него, захватывало его в свою чудесную сферу, от которой он отрезвлялся, как от хмеля.

После долго ходил он бледен и скучен, пока опять чужая жизнь и чужие радости не вспрыснут его, как живой водой.

Дядя давал ему истории четырех Генрихов, Людовиков до XVIII и Карлов до XII включительно, но все это уже было для него, как пресная вода после рома. На минуту только разбудили его Иоанны III и IV да Петр.

Он бросался к Плутарху, чтоб только дальше уйти от современной жизни, но и тот казался ему сух, не представлял рисунка, картин, как те книги, потом как Телемак[2], а еще потом — как Илиада.

Между товарищами он был очень странен: они тоже не знали, как понимать его. Симпатии его так часто менялись, что у него не было ни постоянных друзей, ни врагов.

Эту неделю он привяжется к одному, ищет его везде, сидит с ним, читает, рассказывает ему, шепчет. Потом ни с того ни с сего вдруг бросит его и всматривается в другого и, всмотревшись, опять забывает.

Рассердит ли его какой-нибудь товарищ, некстати скажет ему что-нибудь, он надуется, даст разыграться злым чувствам во все формы упорной вражды, хотя самая обида побледнеет, забудется причина, а он длит вражду, за которой следит весь класс и больше всех он сам.

Потом он отыскивал в себе кротость, великодушие и вздрагивал от живого удовольствия проявить его; устроивалась сцена примирения, с достоинством и благородством, и занимала всех, пуще всех его самого.

Он как будто смотрел на все это со стороны и наслаждался, видя и себя, и другого, и всю картину перед собой.

А когда все кончалось, когда шум, чад, вся трескотня выходили из него, он вдруг очнется, окинет все удивленными глазами, и внутренний голос спросит его: зачем это? Он пожмет плечами, не зная сам зачем.

---

[1] Герой сентиментального романа «Матильда» французской писательницы М. Коттен (1770—1807).

[2] Имеется в виду роман французского писателя Ф. Фенелона (1651—1715) «Похождения Телемака, сына Уллиса».

Иногда, напротив, он придет от пустяков в восторг: какой-нибудь сытый ученик отдаст свою булку нищему, как делают добродетельные дети в хрестоматиях и прописях, или примет на себя чужую шалость, или покажется ему, что насупившийся ученик думает глубокую думу, и он вдруг возгорится участием к нему, говорит о нем со слезами, отыскивает в нем что-то таинственное, необычайное, окружит его уважением: и другие заразятся неисповедимым почтением.

Но через неделю товарищи встанут в одно прекрасное утро, с восторженными речами о фениксе подойдут к Райскому, а он расхохочется.

— Этакую дрянь нашли, да и нянчатся! Пошел ты прочь, жалкое создание! — скажет он.

Все и рты разинут, и он стыдится своего восторга. Луч, который падал на «чудо», уже померк, краски пропали, форма износилась, и он бросал — и искал жадными глазами другого явления, другого чувства, зрелища, и если не было — скучал, был желчен, нетерпелив или задумчив.

По выходе из училища действительная жизнь мало увлекала его в свой поток и своей веселой стороной, и суровой деятельностью. Позовет ли его опекун посмотреть, как молотят рожь, или как валяют сукно на фабрике, как белят полотна, — он увертывался и забирался на бельведер смотреть оттуда в лес или шел на реку, в кусты, в чащу, смотрел, как возятся насекомые, остро глядел, куда порхнула птичка, какая она, куда села, как почесала носик; — поймает ежа и возится с ним; — с мальчишками удит рыбу целый день или слушает полоумного старика, который живет в землянке у околицы, как он рассказывает про «Пугача», — жадно слушает подробности жестоких мук, казней и смотрит прямо ему в рот без зубов и в глубокие впадины потухающих глаз.

По целым часам, с болезненным любопытством, следит он за лепетом «испорченной Феклушки». Дома читает всякие пустяки. «Саксонский разбойник»[1] попадется — он прочтет его; вытащит Эккартсгаузена и фантазией допросится, сквозь туман, ясных выводов; десять раз прочел попавшийся экземпляр «Тристрама Шенди»[2]; найдет какие-нибудь «Тайны восточной магии» — читает и их; там русские сказки и былины, потом вдруг опять бросится к Оссиану, к Тассу и Гомеру или уплывет с Куком[3] в чудесные страны.

А если нет ничего, так лежит, неподвижно по целым дням, но лежит, как будто трудную работу делает: фантазия мчит его дальше Оссиана, Тасса и даже Кука — или бьет лихорадкой какого-нибудь встречного ощущения, мгновенного впечат-

---

[1] Авантюрный роман анонимного автора.
[2] Роман английского писателя Лоуренса Стерна (1713—1768).
[3] Кук Джемс (1728—1779) — известный английский мореплаватель.

ления, и он встанет усталый, бледный, и долго не придет в нормальное положение.

— Лентяй, лежебока! — говорят кругом его.

Он пугался этих приговоров, плакал втихомолку и думал иногда с отчаянием, отчего он лентяй и лежебока? «Что я такое? что из меня будет?» — думал он и слышал суровое: «Учись, вон как учатся Саврасов, Ковригин, Малюев, Чудин, — первые ученики!»

Они равно хорошо учатся и из математики, и из истории, сочиняют, чертят, рисуют и языки знают, и всё — счастливцы! Их все уважают, они так гордо смотрят, так покойно спят, всегда одинаковы.

А он сегодня бледен, молчит, как убитый, — завтра скачет и поет, бог знает отчего.

Всего пуще пугало его и томило обидное сострадание сторожа Сидорыча, и вместе трогало своей простотой. Однажды он не выучил два урока сряду и завтра должен был остаться без обеда, если не выучит их к утру, а выучить было некогда, все легли спать.

Сидорыч тихонько встал, вздул свечу и принес Райскому из класса книгу.

— Учи, батюшка, — сказал он, — пока они спят. Никто не увидит, а завтра будешь знать лучше их: что они в самом деле обижают тебя, сироту!

У Райского брызнули слезы и от этой обиды, и от доброты Сидорыча. Он взглянул, как храпят первые ученики, и не выучил урока — от гордости.

Зато, если задето его самолюбие, затронуты нервы, тогда он одним взглядом в книгу как будто снимет фотографию с урока, запомнит столбцы цифр, отгадает задачу — и вдруг блеснет, как фейерверк, и изумит весь класс, иногда и учителя.

«Притворяется!» — думают ученики. «Какие способности у этого лентяя!» — подумает учитель.

Он чувствовал и понимал, что он не лежебока и не лентяй, а что-то другое, но чувствовал и понимал он один, и больше никто, — но не понимал, что же он такое именно, и некому было растолковать ему это, и разъяснить, нужно ли ему учить математику, или что-нибудь другое.

В службе название пустого человека привинтилось к нему еще крепче. От него не добились ни одной докладной записки, никогда не прочел он ни одного дела, между тем вносил веселье, смех и анекдоты в ту комнату, где сидел. Около него всегда куча народу.

Но мысль о деле, если только она не проходила через доклад, как бывало русский язык через грамматику, а сказанная среди шуток и безделья, для него как-то ясна, лишь бы не доходило дело до бумаг.

Он озадачивал новизной взгляда чиновников. Столона-

чальник, слушая его, с усмешкой отбирал у него какую-нибудь заданную ему бумагу и отдавал другому.

— Напишите, пожалуйста, вот это предписание,— говорил он,— пока Борис Павлович рисует свой проект!

Столоначальник был прав: Райский рисовал и дело, как картину, или оно так рисовалось у него в голове.

Воображение его вспыхивало, и он путем сверкнувшей догадки схватывал тень, верхушку истины, дорисовывал остальное и уже не шел долгим опытом и трудом завоевывать прочную победу.

Он уже был утомлен, он шел дальше, глаза и воображение искали другого, и он летел на крыльях фантазии, через пропасти; горы, океаны, переходимые и переплываемые толпой мужественно и терпеливо.

Он и знание — не знал, а как будто видел его у себя в воображении, как в зеркале, готовым, чувствовал его и этим довольствовался; а узнавать ему было скучно, он отталкивал наскучивший предмет прочь, отыскивая вокруг нового, живого, поразительного, чтоб в нем самом все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь.

Вокруг его не было никого, кто направил бы эти жадные порывы любознательности в определенную колею.

В одном месте опекун, а в другом бабушка смотрели только,— первый, чтоб к нему в положенные часы ходили учителя или чтоб он не пропускал уроков в школе; а вторая, чтоб он был здоров, имел аппетит и сон, да чтоб одет он был чисто, держал себя опрятно, и чтоб, как следует благовоспитанному мальчику, «не связывался со всякой дрянью».

А что он читал там, какие книги, в это не входили, и бабушка отдала ему ключи от отцовской библиотеки в старом доме, куда он запирался, читая попеременно то Спинозу, то роман Коттен, то св. Августина, а завтра вытащит Вольтера или Парни, даже Боккачио.

Искусства дались ему лучше наук. Правда, он и тут затеял пустяки: учитель недели на две посадил весь класс рисовать зрачки, а он не утерпел, приделал к зрачку нос и даже начал было тушевать усы, но учитель застал его и сначала дернул за вихор, потом, вглядевшись, сказал:

— Где ты учился?

— Нигде,— был ответ.

— А хорошо, брат, только видишь, что значит вперед забегать: лоб и нос — хоть куда, а ухо вон где посадил, да и волосы точно мочала вышли.

Но Райский торжествовал: «хорошо, брат: лоб и нос, хоть куда!» — было для него лавровым венком.

Он гордо ходил один по двору, в сознании, что он лучше всех, до тех пор, пока на другой день публично не осрамился в «серьезных предметах».

Но к рисованью он пристрастился и, через месяц после «зрачков», копировал кудрявого мальчика, потом голову Фингала[1].

Заветной мечтой его была женская головка, висевшая на квартире учителя. Она поникла немного к плечу и смотрела томно, задумчиво вдаль.

— Позвольте мне вот с этой нарисовать копию! — робко, нежно звучащим голосом девочки и с нервной дрожью верхней губы просил он учителя.

— А если стекло разобьешь? — сказал учитель, однако дал ему головку.

Борис был счастлив. Когда он приходил к учителю, у него всякий раз ёкало сердце при взгляде на головку. И вот она у него, он рисует с нее.

В эту неделю ни один серьезный учитель ничего от него не добился. Он сидит в своем углу, рисует, стирает, тушует, опять стирает или молча задумается; в зрачке ляжет синева, и глаза покроются будто туманом, только губы едва-едва заметно шевелятся, и в них переливается розовая влага.

На ночь он уносил рисунок в дортуар, и однажды, вглядываясь в эти нежные глаза, следя за линией наклоненной шеи, он вздрогнул, у него сделалось такое замиранье в груди, так захватило ему дыханье, что он в забытьи, с закрытыми глазами и невольным, чуть сдержанным стоном, прижал рисунок обеими руками к тому месту, где было так тяжело дышать. Стекло хрустнуло и со звоном полетело на пол...

Нарисовав эту головку, он уже не знал предела гордости. Рисунок его выставлен с рисунками старшего класса на публичном экзамене, и учитель мало поправлял, только кое-где слабые места покрыл крупными, крепкими штрихами, точно железной решеткой, да в волосах прибавил три, четыре черные полосы, сделал по точке в каждом глазу — и глаза вдруг стали смотреть точно живые.

«Как это он? и отчего так у него вышло живо, смело, прочно?» — думал Райский, зорко вглядываясь и в штрихи и в точки, особенно в две точки, от которых глаза вдруг ожили. И много ставил он потом штрихов и точек, все хотел схватить эту жизнь, огонь и силу, какая была в штрихах и полосах, так крепко и уверенно начерченных учителем. Иногда он будто и ловил эту тайну, и опять ускользала она у него.

Но чертить зрачки, носы, линии лба, ушей и рук по сту раз — ему было до смерти скучно.

Он рисует глаза кое-как, но заботится лишь о том, чтобы в них повторились учительские точки, чтоб они смотрели точно живые. А не удастся, он бросит все, уныло облокотится на стол, склонит на локоть голову и оседлает своего любимого коня,

---

[1] Фингал — легендарный шотландский герой.

фантазию, или конь оседлает его, и мчится он в пространстве, среди своих миров и образов.

Упиваясь легким успехом, он гордо ходил: «Талант, талант!» — звучало у него в ушах. Но вскоре все уже знали, как он рисует, перестали ахать, и он привык к успеху.

В деревне он опять пристрастился было к рисованию, делал портреты с горничных, с кучера, потом с деревенских мужиков.

Полоумную Феклушку нарисовал в пещере, очень удачно осветив одно лицо и разбросанные волосы, корпус же скрывался во мраке: ни терпенья, ни уменья не хватило у него доделывать руки, ноги и корпус. И как целое утро высидеть, когда солнце так весело и щедро льет лучи на луг и реку...

Вон, никак, от соседей скачет человек, верно танцевать будут...

Дня через три картина бледнела, и в воображении теснится уже другая. Хотелось бы нарисовать хоровод, тут же пьяного старика и проезжую тройку. Опять дня два носится он с картиной: она как живая у него. Он бы нарисовал мужика и баб, да тройку не сумеет: лошадей «не проходили в классе».

Через неделю и эта картина забывалась и снова заменялась другою...

Музыку он любил до опьянения. В училище тупой, презираемый первыми учениками мальчик Васюков был предметом постоянной нежности Райского.

Все, бывало, дергают за уши Васюкова: «Пошел прочь, дурак, дубина!» — только и слышит он. Лишь Райский глядит на него с умилением, потому только, что Васюков, ни к чему невнимательный, сонный, вялый, даже у всеми любимого русского учителя не выучивший никогда ни одного урока,— каждый день после обеда брал свою скрипку и, положив на нее подбородок, водил смычком, забывая школу, учителей, щелчки.

Глаза его ничего не видали перед собой, а смотрели куда-то в другое место, далеко, и там он будто видел что-то особенное, таинственное. Глаза его становились дики, суровы, а иногда точно плакали.

Против него садился Райский и с удивлением глядел на лицо Васюкова, следил, как, пока еще с тупым взглядом, достает он скрипку, вяло берет смычок, намажет его канифолью, потом сначала пальцем тронет струны, повинтит винты, опять тронет, потом поведет смычком — и все еще глядит сонно. Но вот заиграл — и проснулся, и улетел куда-то.

Васюкова нет, явился кто-то другой. Зрачки у него расширяются, глаза не мигают больше, а все делаются прозрачнее, светлее, глубже и смотрят гордо, умно, грудь дышит медленно и тяжело. По лицу бродит нега, счастье, кожа становится нежнее, глаза синеют и льют лучи: он стал прекрасен.

Райский начал мысленно глядеть, куда глядит Васюков, и видеть, что он видит. Не стало никого вокруг: ни учеников, ни скамей, ни шкафов. Все это закрылось точно туманом.

После нескольких звуков открывалось глубокое пространство, там являлся движущийся мир, какие-то волны, корабли, люди, леса, облака — все будто плыло и неслось мимо его в воздушном пространстве. И он, казалось ему, все рос выше, у него занимало дух, его будто щекотали или купался он...

И сон этот длился, пока длились звуки.

Вдруг стук, крик, толчок какой-нибудь будил его, будил Васюкова. Звуков нет, миры пропали, он просыпался: кругом — ученики, скамьи, столы — и Васюков укладывает скрипку, кто-нибудь дергает его уж за ухо. Райский с яростью бросается бить забияку, а потом долго ходит задумчивый.

Нервы поют ему какие-то гимны, в нем плещется жизнь, как море, и мысли, чувства, как волны, переливаются, сталкиваются и несутся куда-то, бросают кругом брызги, пену.

В звуках этих он слышит что-то знакомое; носится перед ним какое-то воспоминание, будто тень женщины, которая держала его у себя на коленях.

Он роется в памяти и смутно дорывается, что держала его когда-то мать, и он, прижавшись щекой к ее груди, следил, как она перебирала пальцами клавиши, как носились плачущие или резвые звуки, слышал, как билось у ней в груди сердце.

Фигура женщины яснее и яснее оживала в памяти, как будто она вставала в эти минуты из могилы и являлась точно живая.

Он помнит, как, после музыки, она всю дрожь наслаждения сосредоточивала в горячем поцелуе ему. Помнит, как она толковала ему картины: кто этот старик с лирой, которого, немея, слушает гордый царь, боясь пошевелиться,— кто эта женщина, которую кладут на плаху.

Потом помнит он, как она водила его на Волгу, как по целым часам сидела, глядя вдаль, или указывала ему на гору, освещенную солнцем, на кучу темной зелени, на плывущие суда.

Он смотрит, как она неподвижно глядела, как у ней тогда глаза были прозрачны, глубоки, хороши... «точно у Васюкова»,— думал он.

Стало быть, и она видела в этой зелени, в течении реки, в синем небе то же, что Васюков видит, когда играет на скрипке... Какие-то горы, моря, облака... «И я вижу их!..»

Заиграет ли женщина на фортепиано, гувернантка у соседей, Райский бежал было перед этим удить рыбу,— но раздались звуки, и он замирал на месте, разинув рот, и прятался за стулом играющей.

Его не стало, он куда-то пропал, опять его несет кто-то по воздуху, опять он растет, в него льется сила, он в состоянии

поднять и поддержать свод, как тот, которого Геркулес сменил [1].

Звуки почти до боли ударяют его по груди, проникают до мозга — у него уже мокрые волосы, глаза...

Вдруг звуки умолкли, он очнется, застыдится и убежит.

Он стал было учиться, сначала на скрипке у Васюкова,— но вот уже неделю водит смычком взад и вперед: *a*, *c*, *g*, тянет за ним Васюков, а смычок дерет ему уши. То захватит он две струны разом, то рука дрожит от слабости: — нет! Когда же Васюков играет — точно по маслу рука ходит.

Две недели прошло, а он забудет то тот, то другой палец. Ученики бранятся.

— Ну вас к черту!—говорит первый ученик.—Тут серьезным делом заниматься надо, а они пилят!

Райский бросил скрипку и стал просить опекуна учить его на фортепиано.

«На фортепиано легче, скорей»,— думал он.

Тот нанял ему немца, но, однако ж, решился поговорить с ним серьезно.

— Послушай, Борис,— начал он,— к чему ты готовишь себя, я давно хотел спросить тебя?

Райский не понял вопроса и молчал.

— Тебе шестнадцатый год,— продолжал опекун,— пора о деле подумать, а ты до сих пор, как я вижу, еще не подумал, по какой части пойдешь в университете и в службе. По военной трудно: у тебя небольшое состояние, а служить ты по своей фамилии должен в гвардии.

Райский молчал и смотрел в окно, как петухи дерутся, как свинья роется в навозе, как кошка подкрадывается к голубю.

— Я тебе о деле, а ты вон куда глядишь! К чему ты готовишься?

— Я, дядюшка, готовлюсь в артисты.

— Что-о?

— Художником быть хочу,—подтвердил Райский.

— Черт знает, что выдумал! Кто ж тебя пустит? Ты знаешь ли, что такое артист? — спросил он.

Райский молчал.

— Артист — это такой человек, который или денег у тебя займет, или наврет такой чепухи, что на неделю тумана наведет... В артисты!.. Ведь это,— продолжал он,— значит беспутное, цыганское житье, адская бедность в деньгах, платье, в обуви, и только богатство мечты! Витают артисты, как птицы небесные, на чердаках. Видал я их в Петербурге: это те хваты, что в каких-то фантастических костюмах собираются по вече-

---

[1] Имеется в виду исполин Атлант, державший на плечах небесный свод. Геркулес сменил Атланта, пока тот ходил за золотыми яблоками *(античный миф)*.

рам лежать на диванах, курят трубки, несут чепуху, читают стихи и пьют много водки, а потом объявляют, что они артисты. Они нечесаны, неопрятны...

— Я слыхал, дядюшка, что художники теперь в большом уважении. Вы, может быть, старое время вспоминаете. Из академии выходят знаменитые люди...

— Я не очень стар и видел свет, — возразил дядя, — ты слыхал, что звонят, да не знаешь, на какой колокольне. Знаменитые люди! Есть артисты, и лекаря есть тоже знаменитые люди: а когда они знаменитыми делаются, спроси-ка? Когда в службе состоят и дойдут до тайного советника! Собор выстроит или монумент на площади поставит — вот его и пожалуют! А начинают они от бедности, из куска хлеба — спроси: все большею частью вольноотпущенные, мещане или иностранцы, даже жиды. Их неволя гонит в художники, вот они и напирают на искусство. А ты — Райский! У тебя земля и готовый хлеб. Конечно, для общества почему не иметь приятных талантов: сыграть на фортепиано, нарисовать что-нибудь в альбом, спеть романс... Вот я тебе и немца нанял. Но быть артистом по профессии — что за блажь! Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб нарисовал картину какой-нибудь князь, граф или статую слепил старый дворянин... нет: отчего это?..

— А Рубенс? — вдруг перебил Райский, — он был придворный, посланник...

— Куда хватил: это лет двести назад! — сказал опекун, — там, у немцев... А ты поступишь в университет, в юридический факультет, потом служи в Петербурге, учись делу, добивайся прокурорского места, а родня выведет тебя в камер-юнкеры. И если не будешь дремать, то с твоим именем и родством тридцати лет будешь губернатором. Вот твоя карьера! Но вот беда, я не вижу, чтоб у тебя было что-нибудь серьезное на уме: удишь с мальчишками рыбу, вон болото нарисовал, пьяного мужика у кабака... Ходишь по полям и в лес, а хоть бы раз спросил мужика, какой хлеб когда сеют, почем продают?.. ничего! И хозяина не обещаешь!

Дядя вздохнул, и Райский приуныл: дядино поученье безотрадно подействовало только на его нервы.

Учитель немец, как Васюков, прежде всего исковеркал ему руки и начал притопывать ногой и напевать, следя за каждым ударом по клавишу: а-а-у-у-о-о.

Только совестясь опекуна, не бросал Райский этой пытки, и кое-как в несколько месяцев удалось ему сладить с первыми шагами. И то он все капризничал: то играл не тем пальцем, которым требовал учитель, а каким казалось ему ловчее, не хотел играть гамм, а ловил ухом мотивы, какие западут в голову, и бывал счастлив, когда удавалось ему уловить ту же экспрессию или силу, какую слышал у кого-нибудь и поразился ею, как прежде поразился штрихами и точками учителя.

А с нотами не дружился, не проходил постепенно одну за другою запыленные, пожелтевшие, приносимые учителем тетради музыкальной школы. Но часто он задумывался, слушая свою игру, и мурашки бегали у него по спине.

Вдалеке виделась уже ему наполненная зала, и он своей игрой потрясал стены и сердца знатоков. Женщины с горящими щеками слушали его, и его лицо горело стыдливым торжеством...

Он тихонько утирал слезы, катившиеся по щекам, горел, млел от своей мечты.

Когда, наконец, он одолел, с грехом пополам, первые шаги, пальцы играли уже что-то свое, играли они ему эту, кажется, залу, этих женщин, и трепет похвал,— а трудной школы не играли.

Скоро он перегнал розовеньких уездных барышень и изумлял их силою и смелостью игры, пальцы бегали свободно и одушевленно. Они еще сидят на каком-то допотопном рондо да на сонатах в четыре руки, а он перескочил через школу и через сонаты, сначала на кадрили, на марши, а потом на оперы, проходя курс по своей программе, продиктованной воображением и слухом.

Он услышит оркестр, затвердит то, что увлекло его, и повторяет мотивы, упиваясь удивлением барышень: он был первый, лучше всех; немец говорит, что способности у него быстрые, удивительные, но лень еще удивительнее.

Но это не беда: лень, небрежность как-то к лицу артистам. Да еще кто-то сказал ему, что при таланте не нужно много и работать, что работают только бездарные, чтобы вымучить себе кропотливо жалкое подобие могучего и всепобедного дара природы — таланта.

VII

Райский вышел из гимназии, вступил в университет и в одно лето поехал на каникулы к своей двоюродной бабушке, Татьяне Марковне Бережковой.

Бабушка эта жила в родовом маленьком имении, доставшемся Борису от матери. Оно все состояло из небольшой земли, лежащей вплоть у города, от которого отделялось полем и слободой близ Волги, из пятидесяти душ крестьян, да из двух домов — одного каменного, оставленного и запущенного, и другого деревянного домика, выстроенного его отцом, и в этом-то домике и жила Татьяна Марковна с двумя, тоже двоюродными, внучками-сиротами, девочками по седьмому и шестому году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила, как дочь.

У бабушки был свой капитал, выделенный ей из семьи, своя родовая деревенька; она осталась девушкой, и после смер-

ти отца и матери Райского, ее племянника и племянницы, поселилась в этом маленьком именьице.

Она управляла им, как маленьким царством, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически и на феодальных началах. Опекуну она не давала сунуть носа в ее дела и, не признавая никаких документов, бумаг, записей и актов, поддерживала порядок, бывший при последних владельцах, и отзывалась в ответ на письма опекуна, что все акты, записи и документы записаны у ней на совести, и она отдаст отчет внуку, когда он вырастет, а до тех пор, по словесному завещанию отца и матери его, она полная хозяйка.

Тот пожал плечами и махнул рукой, потому что имение небольшое, да и в руках такой хозяйки, как бабушка, лучше сбережется.

К ней-то приехал Райский, вступив в университет — побывать и проститься, может быть, надолго.

Какой эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве и где потом он гостил мальчиком иногда, в летние каникулы. Какие виды кругом — каждое окно в доме было рамой своей особенной картины!

С одной стороны Волга с крутыми берегами и Заволжьем; с другой — широкие поля, обработанные и пустые, овраги, и все это замыкалось далью синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого, как от летнего купанья, пробегает по телу дрожь бодрости.

Дом весь был окружен этими видами, этим воздухом, да полями, да садом. Сад обширный около обоих домов, содержавшийся в порядке, с темными аллеями, беседкой и скамьями. Чем далее от домов, тем сад был запущеннее.

Подле огромного развесистого вяза, с сгнившей скамьей, толпились вишни и яблони; там рябина; там шла кучка лип, хотела было образовать аллею, да вдруг ушла в лес и братски перепуталась с ельником, березняком. И вдруг все кончалось обрывом, поросшим кустами, идущими почти на полверсты берегом до Волги.

Подле сада, ближе к дому, лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и мак, в этой массе зелени, делали яркие, бросавшиеся в глаза, пятна; около тычинок вились турецкие бобы.

Перед окнами маленького домика пестрел на солнце большой цветник, из которого вела дверь во двор, а другая, стеклянная дверь, с большим балконом, вроде веранды, в деревянный жилой дом.

Татьяна Марковна любила видеть открытое место перед глазами, чтоб не походило на трущобу, чтоб было солнышко да пахло цветами.

С другой стороны дома, обращенной к дворам, ей было видно все, что делается на большом дворе, в людской, в кухне, на сеновале, в конюшне, в погребах. Все это было у ней перед глазами, как на ладони.

Один только старый дом стоял в глубине двора, как бельмо в глазу, мрачный, почти всегда в тени, серый, полинявший, местами с забитыми окнами, с поросшим травой крыльцом, с тяжелыми дверьми, замкнутыми тяжелыми же задвижками, но прочно и массивно выстроенный. Зато на маленький домик с утра до вечера жарко лились лучи солнца, деревья отступили от него, чтоб дать ему простора и воздуха. Только цветник, как гирлянда, обвивал его со стороны сада, и махровые розы, далии и другие цветы так и просились в окна.

Около дома вились ласточки, свившие гнезда на кровле; в саду и роще водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночам щелкали соловьи.

Двор был полон всякой домашней птицы, разношерстных собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы и козел с двумя подругами. Несколько лошадей стояли почти праздно в конюшнях.

Над цветами около дома реяли пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышке крыльями бабочки, по уголкам жались, греясь на солнышке, кошки, котята.

В доме какая радость и мир жили! Чего там не было? Комнатки маленькие, но уютные, с старинной, взятой из большого дома мебелью дедов, дядей, и с улыбавшимися портретами отца и матери Райского, и также родителей двух оставшихся на руках у Бережковой девочек-малюток.

Полы были выкрашены, натерты воском и устланы клеенками; печи обложены пестрыми старинными, тоже взятыми из большого дома, изразцами. Шкафы битком набиты старой, дрожавшей от шагов, посудой и звеневшим серебром.

На виду красовались старинные саксонские чашки, пастушки, маркизы, китайские уродцы, бочкообразные чайники, сахарницы, тяжелые ложки. Кругленькие стулья, с медными ободочками и с деревянной мозаикой столы, столики жались по уютным уголкам.

В кабинете Татьяны Марковны стояло старинное, тоже окованное бронзой и украшенное резьбой, бюро с зеркалом, с урнами, с лирами, с гениями.

Но бабушка завесила зеркало. «Мешает писать, когда видишь свою рожу напротив», — говорила она.

Еще там был круглый стол, на котором она обедала, пила чай и кофе, да довольно жесткое, обитое кожей старинное же кресло, с высокой спинкой рококо.

Бабушка, по воспитанию, была старого века и разваливаться не любила, а держала себя прямо, с свободной простотой, но и с сдержанным приличием в манерах, и ног под себя, как

делают нынешние барыни, не поджимала: «Это стыдно женщине», — говорила она.

Какой она красавицей показалась Борису, и в самом деле была красавица.

Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка... даже не старушка, а лет около пятидесяти женщина, с черными живыми глазами и такой доброй и грациозной улыбкой, что когда и рассердится и засверкает гроза в глазах, так за этой грозой опять видно чистое небо.

Над губами маленькие усики; на левой щеке, ближе к подбородку, родимое пятно с густым кустиком волос. Это придавало лицу ее еще какой-то штрих доброты.

Она стригла седые волосы и ходила дома по двору и по саду с открытой головой, а в праздник и при гостях надевала чепец; но чепец держался чуть-чуть на маковке, не шел ей и как будто готов был каждую минуту слететь с головы. Она и сама, просидев пять минут с гостем, извинится и снимет.

До полудня она ходила в широкой белой блузе, с поясом и большими карманами, а после полудня надевала коричневое, по большим праздникам светлое, точно серебряное, едва гнувшееся и шумящее платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой.

— Дядя Иван Кузьмич с Востока вывез, триста червонных заплатил: теперь этакой ни за какие деньги не отыщешь! — хвасталась она.

На поясе и в карманах висело и лежало множество ключей, так что бабушку, как гремучую змею, можно было слышать издали, когда она идет по двору или по саду.

Кучера́ при этом звуке быстро прятали трубки за сапоги, потому что она больше всего на свете боялась пожара, и куренье табаку относила — по этой причине — к большим порокам.

Повара и кухарки, тоже заслышав звон ключей, принимались — за нож, за уполовник или за метлу, а Кирюша быстро отскакивал от Матрены к воротам, а Матрена шла уже в хлев, будто через силу тащила корытцо, прежде нежели бабушка появилась.

В доме, заслышав звон ключей возвращавшейся со двора барыни, Машутка проворно сдергивала с себя грязный фартук, утирала чем попало, иногда барским платком, а иногда тряпкой, руки. Поплевав на них, она крепко приглаживала сухие, непокорные косички, потом постилала тончайшую чистую скатерть на круглый стол, и Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцветшая телом женщина, от вечного сиденья в комнате, несла кипящий серебряный кофейный сервиз.

Машутка становилась в угол, подальше, всегда прячась

от барыни в тени и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а Машутке как-то неловко было держать себя в чистоте. Чисто вымытыми руками она не так цепко берет вещь в руки и того гляди уронит; самовар или чашки скользят из рук; в чистом платье тоже несвободно ходить.

Когда ей велят причесаться, вымыться и одеться в воскресенье, так она, по словам ее, точно в мешок зашита целый день.

Она, кажется, только тогда и была счастлива, когда вся вымажется, растреплется от натиранья полов, мытья окон, посуды, дверей, когда лицо, голова сделаются неузнаваемы, а руки до того выпачканы, что если понадобится почесать нос или бровь, так она прибегает к локтю.

Василиса, напротив, была чопорная, важная, вечно шепчущая и одна во всей дворне только опрятная женщина. Она с ранней юности поступила на службу к барыне в качестве горничной, не расставалась с ней, знает всю ее жизнь и теперь живет у нее как экономка и доверенная женщина.

Они говорили между собой односложными словами. Бабушке почти не нужно было отдавать приказаний Василисе: она сама знала все, что надо делать. А если надобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а как будто советовала сделать то или другое.

Просить бабушка не могла своих подчиненных: это было не в ее феодальной натуре. Человек, лакей, слуга, девка — все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нее человеком, лакеем, слугой и девкой.

Личным приказом она удостоивала немногих: по домашнему хозяйству Василисе отдавала их, а по деревенскому — приказчику или старосте. Кроме Василисы, никого она не называла полным именем, разве уже встретится такое имя, что его никак не сожмешь и не обрежешь, например, мужики: Ферапонт и Пантелеймон так и назывались Ферапонтом и Пантелеймоном, да старосту звала она Степан Васильев, а прочие все были: Матрешка, Машутка, Егорка и т. д.

Если же кого-нибудь называла по имени и по отчеству, так тот знал, что над ним собралась гроза:

— Поди-ка сюда, Егор Прохорыч, ты куда это вчера пропадал целый день? — или: — Семен Васильич, ты, кажется, вчера изволил трубочку покуривать на сеновале? Смотри у меня!

Она грозила пальцем и иногда ночью вставала посмотреть в окно, не вспыхивает ли огонек в трубке, не ходит ли кто с фонарем по двору или в сарае?

Различия между «людьми» и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была в меру строга, в меру снисходительна, человеколюбива, но все в размерах барских понятий. Даже когда являлся у Ирины, Матрены или другой дворовой

девки непривилегированный ребенок, она выслушает донесение об этом молча, с видом оскорбленного достоинства; потом велит Василисе дать чего там нужно, с презрением глядя в сторону, и только скажет: «Чтоб я ее не видала, негодяйку!» Матрена и Ирина, оправившись, с месяц прятались от барыни, а потом опять ничего, а ребенок отправлялся «на село».

Заболеет ли кто-нибудь из людей — Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала ему спирту, мази, но отсылала на другой день в больницу, а больше к Меланхолихе, доктора же не звала. Между тем чуть у которой-нибудь внучки язычок зачешется или брюшко немного вспучит, Кирюшка или Влас скакали, болтая локтями и ногами, на неоседланной лошади, в город, за доктором.

«Меланхолихой» звали какую-то бабу в городской слободе, которая простыми средствами лечила «людей» и снимала недуги как рукой. Бывало, после ее леченья, иного скоробит на весь век в три погибели, или другой перестанет говорить своим голосом, а только кряхтит потом всю жизнь; кто-нибудь воротится от нее без глаза или без челюсти — а все же боль проходила, и мужик или баба работали опять.

Этого было довольно и больным и лекарке, а помещику и подавно. Так как Меланхолиха практиковала только над крепостными людьми и мещанами, то врачебное управление не обращало на нее внимания.

Кормила Татьяна Марковна людей сытно, плотно, до отвала, щами, кашей, по праздникам пирогами и бараниной; в рождество жарили гусей и свиней; но нежностей в их столе и платье не допускала, а давала, в виде милости, остатки от своего стола то той, то другой женщине.

Чай и кофе пила, непосредственно после барыни, Василиса, потом горничные и пожилой Яков. Кучерам, дворовым мужикам и старосте в праздники подносили по стакану вина, ради их тяжелой работы.

Когда утром убирали со стола кофе, в комнату вваливалась здоровая баба, с необъятными, красными щеками и вечно смеющимся — хоть бей ее — ртом: это нянька внучек, Верочки и Марфеньки. За ней входила лет двенадцати девчонка, ее помощница. Приводили детей завтракать в комнату к бабушке.

— Ну, птички мои, ну, что? — говорила бабушка, всегда затрудняясь, которую прежде поцеловать. — Ну, что, Верочка? вот умница: причесалась.

— И я, бабенька, и я! — кричала Марфенька.

— Что это у Марфеньки глазки красны? не плакала ли во сне? — заботливо спрашивала она у няни. — Не солнышко ли нажгло? Закрыты ли у тебя занавески? Смотри ведь, ты, разиня! Я ужо посмотрю.

Еще в девичьей сидели три-четыре молодые горничные, которые целый день, не разгибаясь, что-нибудь шили или пле-

ли кружева, потому что бабушка не могла видеть человека без дела — да в передней праздно сидел, вместе с мальчишкой лет шестнадцати, Егоркой-зубоскалом, задумчивый Яков и еще два-три лакея, на помощь ему, ничего не делавшие и часто менявшиеся.

И сам Яков только служил за столом, лениво обмахивал веткой мух, лениво и задумчиво менял тарелки и неохотник был говорить. Когда и барыня спросит его, так он еле ответит, как будто ему было бог знает как тяжело жить на свете, будто гнет какой-нибудь лежал на душе, хотя ничего этого у него не было. Барыня назначила его дворецким за то только, что он смирен, пьет умеренно, то есть мертвецки не напивается, и не курит; притом он усерден к церкви.

VIII

Райский застал бабушку за детским завтраком. Бабушка так и всплеснула руками, так и прыгнула; чуть не попадали тарелки со стола.

— Проказник ты, Борюшка! и не написал, нагрянул: ведь ты перепугал меня, как вошел.

Она взяла его за голову, поглядела с минуту ему в лицо, хотела будто заплакать, но только сжала голову, видно раздумала, быстро взглянула на портрет матери Райского и подавила вздох.

— Ну, ну, ну... — хотела она сказать, спросить — и ничего не сказала, не спросила, а только засмеялась и проворно отерла глаза платком. — Маменькин сынок: весь, весь в нее! Посмотри, какая она красавица была. Посмотри, Василиса... Помнишь? Ведь похож!

Кофе, чай, булки, завтрак, обед — все это опрокинулось на студента, еще стыдливого, робкого, нежного юношу, с аппетитом ранней молодости; и всему он сделал честь. А бабушка почти не сводила глаз с него.

— Позови людей, старосте скажи, всем, всем: хозяин, мол, приехал, настоящий хозяин, барин! Милости просим, батюшка! милости просим в родовое гнездо! — с шутливо-ироническим смирением говорила она, подделываясь под мужицкий лад. — Не оставьте нас своей милостью: Татьяна Марковна нас обижает, разоряет, заступитесь!.. Ха-ха-ха. — Нá тебе ключи, нá вот счеты, изволь командовать, требуй отчета от старухи: куда все растранжирила, отчего избы развалились?.. Поди-ка, в городе всё Малиновские мужики под окошками побираются... Ха-ха-ха! А у дядюшки-опекуна там, в новом имении, я чаю, мужики в смазных сапогах ходят да в красных рубашках; избы в два этажа... Да что ж ты, хозяин, молчишь? Что не спрашиваешь отчета? Позавтракай, а потом я тебе все покажу.

После завтрака бабушка взяла большой зонтик, надела ботинки с толстой подошвой, голову прикрыла полотняным капором и пошла показывать Борису хозяйство.

— Ну, хозяин, смотри же, замечай и, чуть что неисправно, не давай потачки бабушке. Вот садик-то, что у окошек, я, видишь, недавно разбила,— говорила она, проходя чрез цветник и направляясь к двору.— Верочка с Марфенькой тут у меня всё на глазах играют, роются в песке. На няньку надеяться нельзя: я и вижу из окошка, что они делают. Вот подрастут, цветов не надо покупать: свои есть.

Они вошли на двор.

— Кирюшка, Еремка, Матрешка! Куда это все спрятались? — взывала бабушка, стоя посреди двора.— Жарко, что ли? Выдьте сюда кто-нибудь!

Вышла Матрешка и доложила, что Кирюшка и Еремка посланы в село за мужиками.

— Вот Матрешка: помнишь ли ты ее? — говорила бабушка.— А ты подойди, дура, что стоишь? Поцелуй ручку у барина: ведь это внучек.

— Оробела, барыня, не смею! — сказала Матрена, подходя к барину.

Он стыдливо обнял ее.

— Это новый флигель, бабушка: его не было, — сказал Борис.

— Заметил! Да, да, помнишь старый? Весь сгнил, щели в полу в ладонь, чернота, копоть, а теперь вот посмотри!

Они вошли в новый флигель. Бабушка показала ему переделки в конюшнях, показала и лошадей, и особое отделение для птиц, и прачешную, даже хлевы.

— Старой кухни тоже нет; вот новая, нарочно выстроила отдельно, чтоб в дому огня не разводить и чтоб людям не тесно было. Теперь у всякого и у всякой свой угол есть, хоть маленький, да особый. Вот здесь хлеб, провизия; вот тут погреб новый, подвалы тоже заново переделаны.

— Ты что тут стоишь? — оборотилась она к Матрене,— поди скажи Егорке, чтоб он бежал в село и сказал старосте, что мы сами идем туда.

В саду Татьяна Марковна отрекомендовала ему каждое дерево и куст, провела по аллеям, заглянула с ним в рощу с горы, и наконец они вышли в село. Было тепло, и озимая рожь плавно волновалась от тихого полуденного ветерка.

— Вот внук мой, Борис Павлыч! — сказала она старосте.— Что, убирают ли сено, пока горячо на дворе? Пожалуй, дожди после жары пойдут. Вот барин, настоящий барин приехал, внук мой! — говорила она мужикам.— Ты видал ли его, Гараська? Смотри же, какой он! А это твой, что ли, теленок во ржи, Илюшка? — спрашивала при этом, потом мимоходом заглянула на пруд.

— Опять на деревья белье вешают! — гневно заметила она, обратясь к старосте.— Я велела веревку протянуть. Скажи слепой Агашке: это она все любит на иву рубашки вешать! сокровище! Обломает ветки!..

— Веревки такой длинной нет,— сонно отозвался староста,— ужо надо в городе купить...

— Что ж не скажешь Василисе: она доложила бы мне. Я всякую неделю езжу: давно бы купила.

— Я сказывал; да забывает — или говорит, не стоит барыню тревожить.

Бабушка завязала на платке узелок. Она любила говорить, что без нее ничего не сделается, хотя, например, веревку мог купить всякий. Но боже сохрани, чтоб она поверила комунибудь деньги.

Хотя она была не скупа, но обращалась с деньгами с бережливостью; перед издержкой задумывалась, была беспокойна, даже сердита немного; но, выдав раз деньги, тотчас же забывала о них, и даже не любила записывать; а если записывала, так только для того, по ее словам, чтоб потом не забыть, куда деньги дела, и не испугаться. Пуще всего она не любила платить вдруг много, большие куши.

Кроме крупных распоряжений, у ней жизнь кипела маленькими заботами и делами. То она заставит девок кроить, шить, то чинить что-нибудь, то варить, чистить. «Делать все самой» она называла смотреть, чтоб все при ней делали.

Она собственно не дотронется ни до чего, а старчески грациозно подопрет одной рукой бок, а пальцем другой повелительно указывает, что как сделать, куда поставить, убрать.

Звеневшие ключи были от домашних шкафов, сундуков, ларцов и шкатулок, где хранились старинное богатое белье, полотна, пожелтевшие драгоценные кружева, брильянты, назначавшиеся внучкам в приданое, а главное — деньги. От чая, сахара, кофе и прочей провизии ключи были у Василисы.

Распорядившись утром по хозяйству, бабушка, после кофе, стоя сводила у бюро счеты, потом садилась у окон и глядела в поле, следила за работами, смотрела, что делалось на дворе, и посылала Якова или Василису, если на дворе делалось что-нибудь не так, как ей хотелось.

Потом, если нужно, ехала в ряды и заезжала с визитами в город, но никогда не засиживалась, а только заглянет минут на пять и сейчас к другому, к третьему, и к обеду домой.

Не то так принимала сама визиты, любила пуще всего угощать завтраками и обедами гостей. Еще ни одного человека не выпустила от себя, сколько ни живет бабушка, не напичкав его чем-нибудь во всякую пору, утром и вечером.

После обеда бабушка, зимой, сидя у камина, часто задумчиво молчала, когда была одна. Она сидела беспечной барыней, в красивой позе, с сосредоточенной будто бы мыслью или каким-

то глубоким воспоминанием и — любила тогда около себя тишину, оставаясь долго в сумерках одна. Лето проводила в огороде и саду: здесь она позволяла себе, надев замшевые перчатки, брать лопатку, или грабельки, или лейку в руки и, для здоровья, вскопает грядку, польет цветы, обчистит какой-нибудь куст от гусеницы, снимет паутину с смородины и, усталая, кончит вечер за чаем, в обществе Тита Никоныча Ватутина, ее старинного и лучшего друга, собеседника и советника.

IX

Тит Никоныч был джентльмен по своей природе. У него было тут же, в губернии, душ двести пятьдесят или триста — он хорошенько не знал, никогда в имение не заглядывал и предоставлял крестьянам делать, что хотят, и платить ему оброку, сколько им заблагорассудится. Никогда он их не поверял. Возьмет стыдливо привезенные деньги, не считая, положит в бюро, а мужикам махнет рукой, чтоб ехали, куда хотят.

Служил он прежде в военной службе. Старики помнят его очень красивым, молодым офицером, скромным, благовоспитанным человеком, но с смелым, открытым характером.

В юности он приезжал не раз к матери, в свое имение, проводил время отпуска и уезжал опять, и наконец вышел в отставку, потом приехал в город, купил маленький серенький домик, с тремя окнами на улицу, и свил себе тут вечное гнездо.

Хотя он получил довольно слабое образование в каком-то корпусе, но любил читать, а особенно по части политики и естественных наук. Слова его, манеры, поступь были проникнуты какою-то мягкою стыдливостью, и вместе с тем под этой мягкостью скрывалась уверенность в своем достоинстве и никогда не высказывалась, а как-то видимо присутствовала в нем, как будто готовая обнаружиться, когда дойдет до этого необходимость.

Он сохранял всегда учтивость и сдержанность в словах и жестах, как бы с кем близок ни был. И губернатору, и приятелю, и новому лицу он всегда одинаково поклонится, шаркнет ногой и приподнимет ее немного назад, соблюдая старинные фасоны вежливости. Перед дамой никогда не сядет, и даже на улице говорит без шапки, прежде всех поднимет платок и подвинет скамеечку. Если в доме есть девицы, то принесет фунт конфект, букет цветов и старается подладить тон разговора под их лета, занятия, склонности, сохраняя утонченнейшую учтивость, смешанную с неизменною почтительностью рыцарей старого времени, не позволяя себе нескромной мысли, не только намека в речи, не являясь перед ними иначе, как во фраке.

Он не курил табаку, но не душился, не молодился, а был как-то опрятен, изящно чист и благороден видом, манерами, обхождением. Одевался всегда чисто, особенно любил белье и блистал не вышивками какими-нибудь, не фасонами, а белизной.

Все просто на нем, но все как будто сияет. Нанковые панталоны выглажены, чисты; синий фрак, как с иголочки. Ему было лет пятьдесят, а он имел вид сорокалетнего свежего, румяного человека благодаря парику и всегда гладко обритому подбородку.

Взгляд и улыбка у него были так приветливы, что сразу располагали в его пользу. Несмотря на свои ограниченные средства, он имел вид щедрого барина: так легко и радушно бросал он сто рублей, как будто бросал тысячи.

К бабушке он питал какую-то почтительную, почти благоговейную дружбу, но пропитанную такой теплотой, что по тому только, как он входил к ней, садился, смотрел на нее, можно было заключить, что он любил ее без памяти. Никогда, ни в отношении к ней, ни при ней, он не обнаружил, по своему обыкновению, признака короткости, хотя был ежедневным ее гостем.

Она платила ему такой же дружбой, но в тоне ее было больше живости и короткости. Она даже брала над ним верх, чем, конечно, была обязана бойкому своему нраву.

Помнившие ее молодою говорят, что она была живая, очень красивая, стройная, немного чопорная девушка, и что возня с хозяйством обратила ее в вечно движущуюся и бойкую на слова женщину. Но следы молодости и иных манер остались в ней.

Накинув шаль и задумавшись, она походила на один старый женский портрет, бывший в старом доме, в галерее предков.

Иногда вдруг появлялось в ней что-то сильное, властное, гордое: она выпрямлялась, лицо озарялось какою-то внезапною строгою или важною мыслию, как будто уносившею ее далеко от этой мелкой жизни в какую-то другую жизнь.

Сидя одна, она иногда улыбалась так грациозно и мечтательно, что походила на беззаботную, богатую, избалованную барыню. Или когда, подперев бок рукою или сложив руки крестом на груди, смотрит на Волгу и забудет о хозяйстве, то в лице носится что-то грустное.

Не проходило почти дня, чтоб Тит Никоныч не принес какого-нибудь подарка бабушке или внучкам. В марте, когда еще о зелени не слыхать нигде, он принесет свежий огурец или корзиночку земляники, в апреле горсточку свежих грибов — «первую новинку». Привезут в город апельсины, появятся персики — они первые подаются у Татьяны Марковны.

В городе прежде был, а потом замолк, за давностию, слух о том, как Тит Никоныч, в молодости, приехал в город, влю-

бился в Татьяну Марковну, и Татьяна Марковна в него. Но родители не согласились на брак, а назначили ей в женихи кого-то другого.

Она, в свою очередь, не согласилась и осталась девушкой.

Правда ли это, нет ли — знали только они сами. Но правда то, что он ежедневно являлся к ней, или к обеду, или вечером, и там кончал свой день. К этому все привыкли и дальнейших догадок на этот счет никаких не делали.

Тит Никоныч любил беседовать с нею о том, что делается в свете, кто с кем воюет, за что; знал, отчего у нас хлеб дешев, и что бы было, если б его можно было возить отвсюду за границу. Знал он еще наизусть все старинные дворянские домы, всех полководцев, министров, их биографии; рассказывал, как одно море лежит выше другого; первый уведомит, что выдумали англичане или французы, и решит, полезно ли это, или нет.

Он же сообщал Татьяне Марковне, что сахар подешевел в Нижнем, чтобы не обманули купцы, или что чай скоро вздорожает, чтоб она заблаговременно запаслась.

В присутственном месте понадобится что-нибудь — Тит Никоныч все сделает, исправит, иногда даже утаит лишнюю издержку, разве нечаянно откроется, через других, и она пожурит его, а он сконфузится, попросит прощения, расшаркается и поцелует у нее ручку.

Она была всегда в оппозиции с местными властями: постой ли к ней назначат, или велят дороги чинить, взыскивают ли подати: она считала всякое подобное распоряжение начальства насилием, бранилась, ссорилась, отказывалась платить, и об общем благе слышать не хотела. «Знай всякий себя»,— говорила она и не любила полиции, особенно одного полицмейстера, видя в нем почти разбойника. Тит Никоныч, попытавшись несколько раз, но тщетно, примирить ее с идеей об общем благе, ограничился тем, что мирил ее с местными властями и полицией.

Вот в какое лоно патриархальной тишины попал юноша Райский. У сироты вдруг как будто явилось семейство, мать и сестры, в Тите Никоныче — идеал доброго дяди.

X

Бабушка только было расположилась объяснять ему, чем засевается у ней земля и что выгоднее всего возделывать по нынешнему времени, как внучек стал зевать.

— А ты послушай: ведь это все твое; я твой староста...— говорила она. Но он зевал, смотрел, какие это птицы прячутся в рожь, как летают стрекозы, срывал васильки и пристально разглядывал мужиков, еще пристальнее слушал деревенскую тишину, смотрел на синее небо, каким оно далеким кажется здесь.

Бабушка что-то затолковалась с мужиками, а он прибежал в сад, сбежал с обрыва вниз, продрался сквозь чащу на берег, к самой Волге, и онемел перед лежавшим пейзажем.

«Нет, молод, еще дитя: не разумеет дела,— думала бабушка, провожая его глазами.— Вон как подрал! что-то выйдет из него?»

Волга задумчиво текла в берегах, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вдали желтели песчаные бока гор, а на них синел лес; кое-где белел парус, да чайки, плавно махая крыльями, опускаясь на воду, едва касались ее и кругами поднимались опять вверх, а над садами высоко и медленно плавал коршун.

Борис уже не смотрел перед собой, а чутко замечал, как картина эта повторяется у него в голове; как там расположились горы, попала ли туда вон избушка, из которой валил дым; поверял и видел, что и мели там, и паруса белеют.

Он долго стоял и, закрыв глаза, переносился в детство, помнил, что подле него сиживала мать, вспоминал ее лицо и задумчивое сияние глаз, когда она глядела на картину...

Он пошел тихонько домой, стал карабкаться на обрыв, и картина как будто зашла вперед его и легла перед глазами.

Об этом обрыве осталось печальное предание в Малиновке и во всем околотке. Там, на дне его, среди кустов, еще при жизни отца и матери Райского, убил за неверность жену и соперника, и тут же сам зарезался, один ревнивый муж, портной из города. Самоубийцу тут и зарыли, на месте преступления.

Вся Малиновка, слобода и дом Райских, и город были поражены ужасом. В народе, как всегда в таких случаях, возникли слухи, что самоубийца, весь в белом, блуждает по лесу, взбирается иногда на обрыв, смотрит на жилые места и исчезает. От суеверного страха ту часть сада, которая шла с обрыва по горе и отделялась плетнем от ельника и кустов шиповника, забросили.

Никто из дворни уже не сходил в этот обрыв, мужики из слободы и Малиновки обходили его, предпочитая спускаться с горы к Волге по другим скатам и обрывам или по проезжей, хотя и крутой дороге, между двух плетней.

Плетень, отделявший сад Райских от леса, давно упал и исчез. Деревья из сада смешались с ельником и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою и образовали глухое, дикое место, в котором пряталась заброшенная, полуразвалившаяся беседка.

Отец Райского велел даже в верхнем саду выкопать ров, который и составлял границу сада, недалеко от того места, где начинался обрыв.

Райский вспомнил это печальное предание, и у него плечи немного холодели от дрожи, когда он спускался с обрыва, в чащу кустов.

Ему живо представлялась картина, как ревнивый муж, трясясь от волнения, пробирался между кустов, как бросился к своему сопернику, ударил его ножом; как, может быть, жена билась у ног его, умоляя о прощении. Но он, с пеной у рта, наносил ей рану за раной и потом, над обоими трупами, перерезал горло и себе.

Райский вздрогнул и, взволнованный, грустный, воротился домой от проклятого места. А между тем эта дичь леса манила его к себе, в таинственную темноту, к обрыву, с которого вид был хорош на Волгу и оба ее берега.

Борис был весь в картине; задумчивость лежала на лице, ему было так хорошо — век бы тут стоять.

Он закроет глаза и хочет поймать, о чем он думает, но не поймает; мысли являются и утекают, как волжские струи: только в нем точно поет ему какой-то голос, и в голове, как в каком-то зеркале, стоит та же картина, что перед глазами.

Верочка и Марфенька развлекли его. Они не отставали от него, заставляли рисовать кур, лошадей, домы, бабушку и себя и не отпускали его ни на шаг.

Верочка была с черными, вострыми глазами, смугленькая девочка, и уж начинала немного важничать, стыдиться шалостей: она скакнет два-три шага по-детски и вдруг остановится и стыдливо поглядит вокруг себя, и пойдет плавно, потом побежит, и тайком, быстро, как птичка клюнет, сорвет ветку смородины, проворно спрячет в рот и сделает губы смирно.

Если Борис тронет ее за голову, она сейчас поправит волосы, если поцелует, она тихонько оботрется. Схватит мячик, бросит его раза два, а если он укатился, она не пойдет поднять его, а прыгнет, сорвет листок и старается щелкнуть.

Она упряма: если скажут, пойдем туда, она не пойдет, или пойдет не сразу, а прежде покачает отрицательно головой, потом не пойдет, а побежит, и все вприпрыжку.

Она не просит рисовать; а если Марфенька попросит, она пристальнее Марфеньки смотрит, как рисуют, и ничего не скажет. Рисунков и карандашей, как Марфенька, тоже не просит. Ей было лет шесть с небольшим.

Марфенька, напротив, беленькая, красненькая и пухленькая девочка по пятому году. Она часто капризничает и плачет, но не долго: сейчас же, с невысохшими глазами, уже визжит и смеется.

Верочка плачет редко и потихоньку, и если огорчат ее чем-нибудь, она делается молчалива и не скоро приходит в себя, не любит, чтоб ее заставляли просить прощенья.

Она молчит, молчит, потом вдруг неожиданно придет в себя и станет опять бегать вприпрыжку и тихонько срывать смородину, а еще чаще воронянки, черную, приторно-сладкую ягоду, растущую в канавах и строго запрещенную бабушкой, потому что от нее будто бы тошнит.

«О чем это он все думает? — пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, как он внезапно задумывался после веселости, часто также внезапной,— и что это он все там у себя делает?»

Но Борис не заставил ждать долго ответа: он показал бабушке свой портфель с рисунками, потом переиграл ей все кадрили, мазурки и мотивы из опер, наконец свои фантазии.

Бабушка так и ахнула.

— Весь, весь в мать! — говорила она.— Та тоже все, бывало, тоскует, ничего не надо, все о чем-то вздыхает, как будто ждет чего-нибудь, да вдруг заиграет и развеселится, или от книжки не оттащишь. Смотри, Василиса: и тебя, и меня сделал, да ведь как вылитые! Вот постой, Тит Никоныч придет, а ты притаись, да и срисуй его, а завтра тихонько пошлем к нему в кабинет на стену приклеить! Каков внучек? Как играет! не хуже француза-эмигранта, что у тетки жил... И молчит, не скажет! Завтра же в город повезу, к княгине, к предводителю! Вот только никак не заставишь его о хозяйстве слушать: молод!

Борис успел пересказать бабушке и «Освобожденный Иерусалим», и Оссиана, и даже из Гомера, и из лекций кое-что, рисовал портреты с нее, с детей, с Василисы; опять играл на фортепиано.

Потом бежал на Волгу, садился на обрыв или сбегал к реке, ложился на песок, смотрел за каждой птичкой, за ящерицей, за букашкой в кустах, и глядел в себя, наблюдая, отражается ли в нем картина, все ли в ней так же верно и ярко, и через неделю стал замечать, что картина пропадает, бледнеет и что ему как будто уже... скучно.

А бабушка все хотела показывать ему счеты, объясняла, сколько она откладывает в приказ, сколько идет на ремонт хозяйства, чего стоили переделки.

— Верочкины и Марфенькины счеты особо: вот смотри,— говорила она,— не думай, что на них хоть копейка твоя пошла. Ты послушай...

Но он не слушал, а смотрел, как писала бабушка счеты, как она глядит на него через очки, какие у нее морщины, родимое пятнышко, и лишь доходил до глаз и до улыбки, вдруг засмеется и бросится целовать ее.

— Ты ему о деле, а он шалит: пустота какая — мальчик! — говорила однажды бабушка.— Прыгай да рисуй, а ужо спасибо скажешь, как под старость будет уголок. Еще то́ имение-то, бог знает, что будет, как опекун управится с ним! а это уж старое, прижилось в нем...

Он стал проситься посмотреть старый дом.

Неохотно дала ему ключи от него бабушка, но отказать не могла, и он отправился смотреть комнаты, в которых родился, жил и о которых осталось у него смутное воспоминание.

— Василиса, ты бы пошла за ним,— сказала бабушка.

Василиса тронулась было с места.

— Не надо, не надо, я один,— упрямо сказал Борис и отправился, разглядывая тяжелый ключ, в котором пустые места между зубцами заросли ржавчиной.

Егорка, прозванный зубоскалом,— потому что сидел все в девичьей и немилосердно издевался над горничными,— отпер ему двери.

— И я, и я пойду с дядей,— попросилась было Марфенька.

— Куда ты, милая? там страшно — у! — сказала бабушка.

Марфенька испугалась. Верочка ничего не сказала; но когда Борис пришел к двери дома, она уж стояла, крепко прижавшись к ней, боясь, чтоб ее не оттащили прочь, и ухватясь за ручку замка.

Со страхом и замиранием в груди вошел Райский в прихожую и боязливо заглянул в следующую комнату: это была зала с колоннами, в два света, но до того с затянутыми пылью и плесенью окнами, что в ней было, вместо двух светов, двое сумерек.

Верочка только что ворвалась в переднюю, как бросилась вприпрыжку вперед и исчезла из глаз, вскидывая далеко пятки и едва глядя по сторонам, на портреты.

— Куда ты, Вера, Вера? — кричал он.

Она остановилась и глядела на него молча, положив руку на замок следующей двери. Он не успел дойти до нее, а она уже скрылась за дверью.

За залой шли мрачные, закоптевшие гостиные; в одной были закутанные в чехлы две статуи, как два привидения, и старые, тоже закрытые, люстры.

Везде почерневшие, массивные, дубовые и из черного дерева кресла, столы, с бронзовой отделкой и деревянной мозаикой; большие китайские вазы; часы — Вакх, едущий на бочке; большие овальные, в золоченых, в виде веток, рамах, зеркала; громадная кровать в спальне стояла, как пышный гроб, покрытый глазетом.

Райский с трудом представлял себе, как спали на этих катафалках: казалось ему, не уснуть живому человеку тут. Под балдахином вызолоченный висящий купидон, весь в пятнах, полинявший, натягивал стрелу в постель; по углам резные шкафы, с насечкой из кости и перламутра.

Верочка отворила один шкаф и сунула туда личико, потом отворила, один за другим, ящики и также сунула личико: из шкафов понесло сыростью и пылью от старинных кафтанов и шитых мундиров с большими пуговицами.

По стенам портреты: от них не уйдешь никуда — они провожают всюду глазами.

Весь дом пропитан пылью и пустотой. По углам как будто раздается шорох. Райский ступил шаг, и в углу как будто кто-то ступил.

От сотрясения пола под шагами с колонн и потолков тихо сыпалась давнишняя пыль; кое-где на полу валялись куски и крошки отвалившейся штукатурки; в окне жалобно жужжит и просится в запыленное стекло наружу муха.

— Да, бабушка правду говорит: здесь страшно! — говорил, вздрагивая, Райский.

Но Верочка обегала все углы и уже возвращалась сверху, из внутренних комнат, которые, в противоположность большим нижним залам и гостиным, походили на кельи, отличались сжатостью, уютностью и смотрели окнами на все стороны.

В комнате сумрачно, мертво, все — подобие смерти, а взглянешь в окно — и отдохнешь: там кайма синего неба, зелень мелькает, люди шевелятся.

Верочка походила на молодую птичку среди этой ветоши и не смущалась ни преследующими взглядами портретов, ни сыростью, ни пылью, всем этим печальным запустением.

— Здесь хорошо, места много! — сказала она, оглядываясь.— Как там хорошо вверху! Какие большие картины, книги!

— Картины, книги: где? Как это я не вспомнил о них! Ай да Верочка!

Он поймал и поцеловал ее. Она отерла губы и побежала показывать книги.

Райский нашел тысячи две томов и углубился в чтение заглавий. Тут были все энциклопедисты и Расин с Корнелем, Монтескьё, Макиавелли, Вольтер, древние классики во французском переводе и «Неистовый Орланд»[1], и Сумароков с Державиным, и Вальтер-Скотт, и знакомый «Освобожденный Иерусалим», и «Илиада» по-французски, и Оссиан в переводе Карамзина, Мармонтель и Шатобриан, и бесчисленные мемуары. Многие еще не разрезаны: как видно, владетели, то есть отец и дед Бориса, не успели прочесть их.

С тех пор не стало слышно Райского в доме; он даже не ходил на Волгу, пожирая жадно волюмы за волюмами.

Он читал, рисовал, играл на фортепиано, и бабушка заслушивалась; Верочка, не сморгнув, глядела на него во все глаза, положив подбородок на фортепиано.

То писал он стихи и читал громко, упиваясь музыкой их, то рисовал опять берег и плавал в трепете, в неге: чего-то ждал впереди — не знал чего, но вздрагивал страстно, как будто предчувствуя какие-то исполинские, роскошные наслаждения, видя тот мир, где все слышатся звуки, где все носятся картины, где плещет, играет, бьется другая, заманчивая жизнь, как в тех книгах, а не та, которая окружает его...

— Послушай, что я хотела тебя спросить,— сказала однажды бабушка,— зачем ты опять в школу поступил?

---

[1] Поэма итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474—1533).

— В университет, бабушка, а не в школу.

— Все равно: ведь ты учишься там. Чему? У опекуна учился, в гимназии учился: рисуешь, играешь на клавикордах — что еще? А студенты выучат тебя только трубку курить, да, пожалуй,— боже сохрани — вино пить. Ты бы в военную службу поступил, в гвардию.

— Дядя говорит, что средств нет...

— Как нет: а это что?

Она указала на поля и деревушку.

— Да что ж это?.. Чем тут?..

— Как чем! — И начала высчитывать сотни и тысячи...

Она не живала в столице, никогда не служила в военной службе и потому не знала, чего и сколько нужно для этого.

— Средств нет! Да я тебе одной провизии на весь полк пришлю! Что ты... средств нет! А дядюшка куда доходы девает?

— Я, бабушка, хочу быть артистом.

— Как артистом?

— Художником... После университета в академию пойду...

— Что ты, Борюшка, перекрестись! — сказала бабушка, едва поняв, что он хочет сказать.— Это ты хочешь учителем быть?

— Нет, бабушка, не все артисты — учители, есть знаменитые таланты: они в большой славе и деньги большие получают за картины или за музыку...

— Так ты за свои картины будешь деньги получать или играть по вечерам за деньги?.. Какой срам!

— Нет, бабушка, артист...

— Нет, Борюшка, ты не огорчай бабушку: дай дожить ей до такой радости, чтоб увидеть тебя в гвардейском мундире: молодцом приезжай сюда...

— А дядюшка говорит, чтоб я шел в статскую...

— В приказные! Писать, согнувшись, купаться в чернилах, бегать в палату: кто потом за тебя пойдет? Нет, нет, приезжай офицером да женись на богатой!

Хотя Райский не разделял мнения ни дяди, ни бабушки, но в перспективе у него мелькала собственная его фигура, то в гусарском, то в камер-юнкерском мундире. Он смотрел, хорошо ли он сидит на лошади, ловко ли танцует. В тот день он нарисовал себя небрежно оперпегося на седло, с буркой на плечах.

XI

Однажды бабушка велела заложить свою старую, высокую карету, надела чепчик, серебристое платье, турецкую шаль, лакею велела надеть ливрею и поехала в город с визитами, показывать внучка, и в лавки, делать закупки.

Их везла пара сытых лошадей, ехавших медленной рысью; в груди у них что-то отдавалось, точно икота. Кучер держал кнут в кулаке, вожжи лежали у него на коленях, и он изредка подергивал ими, с ленивым любопытством и зевотой поглядывая на знакомые предметы по сторонам.

Это было более торжественное шествие бабушки по городу. Не было человека, который бы не поклонился ей. С иными она останавливалась поговорить. Она называла внуку всякого встречного, объясняла, проезжая мимо домов, кто живет и как,— все это бегло, на ходу.

Доехали они до деревянных рядов. Купец встретил ее с поклонами и с улыбкой, держа шляпу на отлете и голову наклонив немного в сторону.

— Татьяне Марковне!..— говорил он с улыбкой, показывая ряд блестящих белых зубов.

— Здравствуйте. Вот вам внука привезла, настоящего хозяина имения. Его капитал мотаю я у вас в лавке. Как рисует, играет на фортепиано!..

Райский дернул бабушку за рукав.

Кузьма Федотыч отвесил и Райскому такой же поклон.

— Хорошо ли торгуете? — спросила бабушка.

— Грех пожаловаться, сударыня. Только вы редко стали жаловать,— отвечал он, смахивая пыль с кресла и почтительно подвигая ей, а Райскому поставил стул.

В лавке были сукна и материи, в другой комнате — сыр и леденцы, и пряности, и даже бронза.

Бабушка пересмотрела все материи, приценилась и к сыру, и к карандашам, поговорила о цене на хлеб и перешла в другую, потом в третью лавку, наконец, проехала через базар и купила только веревку, чтоб не вешали бабы белье на дерево, и отдала Прохору.

Он долго ее рассматривал, все потягивая в руках каждый вершок, потом осмотрел оба конца и спрятал в шапку.

— Ну, теперь пора с визитами,— сказала она.— Поедем к Нилу Андреевичу.

— Кто это Нил Андреевич? — спросил Борис.

— Разве я тебе не говорила? Это председатель палаты, важный человек: солидный, умный, молчит все; а если скажет, даром слов не тратит. Его все боятся в городе: что он сказал, то и свято. Ты приласкайся к нему: он любит пожурить...

— Что ж, бабушка, толку, что журит? Я не хочу...

— Молод, молод ты; после сам спасибо скажешь. Слава богу, что не вывелись такие люди, что уму-разуму учат! Зато как лестно, когда кого похвалит! Набожный такой! Одного франта так отделал, узнав, что он в троицу не был в церкви, что тот и язык прикусил.«Я,говорит, донесу на вас: это вольнодумство!» И ведь донесет, с ним шутить нельзя. Двух помещиков под опеку подвел. Его боятся, как огня. А так — он добрый:

ребенка встретит — по голове погладит, букашку на дороге никогда не раздавит, а отодвинет тростью в сторону: «Когда не можешь, говорит, дать жизни, и не лишай». И с вида важный; лоб, как у твоего дедушки, лицо строгое, брови срослись. Как хорошо говорит — заслушаешься! Ты приласкайся к нему. И богат. Говорят, что в кармане у себя он тоже казенную палату завел, да будто родную племянницу обобрал и в сумасшедший дом запер. Есть грех, есть грех...

Но Нила Андреевича они не застали дома: он был в палате.

Проезжая мимо дома губернатора, бабушка горделиво отвернулась.

— Тут живет губернатор Васильев... или Попов какой-то. (Бабушка очень хорошо знала, что он Попов, а не Васильев.) Он воображает, что я явлюсь к нему первая с визитом, и не заглянул ко мне: Татьяна Марковна Бережкова поедет к какому-то Попову или Васильеву!

Губернатор ничего «не воображал», но Бережковой было досадно, что он не оказал ей внимания.

— Нил Андреич поважнее, постарше и посолиднее его, а в Новый год и на пасху всегда заедет с визитом, и кушать иногда жалует!

Заехали потом к старой княгине, жившей в большом темном доме.

Там жилым пахло только в одном уголке, где она гнездилась, а другие двадцать комнат походили на покои в старом бабушкином доме.

Княгиня была востроносая, худенькая старушка, в темном платье, в кружевах, в большом чепце, с сухими, костлявыми, маленькими руками, переплетенными синими жилами, и со множеством старинных перстней на пальцах.

— Княгиня матушка!..

— Татьяна Марковна!.. — воскликнули старушки.

Болонка яростно лаяла из-под канапе.

— Вот внука привезла показать — настоящего хозяина: как играет, рисует!

Он должен был поиграть на фортепиано. Потом ему принесли тарелку земляники. Бабушка с княгиней пила кофе, Райский смотрел на комнаты, на портреты, на мебель и на весело глядевшую в комнаты из сада зелень; видел расчищенную дорожку, везде чистоту, чопорность, порядок; слушал, как во всех комнатах попеременно пробили с полдюжины столовых, стенных, бронзовых и малахитовых часов; рассматривал портрет косого князя, в красной ленте, самой княгини, с белой розой в волосах, с румянцем, живыми глазами, и сравнивал с оригиналом. И все это точно складывал в голову, следил, как там, где-то, отражался дом, княгиня, болонка, пожилой слуга с проседью, в ливрейном фраке, слышался бой часов...

Заехали они еще к одной молодой барыне, местной львице,

Полине Карповне Крицкой, которая смотрела на жизнь, как на ряд побед, считая потерянным день, когда на нее никто не взглянет нежно или не шепнет ей хоть намека на нежность.

Нравственные женщины, строгие судьи, и между прочим Нил Андреевич, вслух порицали ее, Татьяна Марковна просто не любила, считала пустой вертушкой, но принимала как всех, дурных и хороших. Зато молодежь гонялась за Крицкой.

У Полины Карповны Крицкой бабушка пробыла всего минут десять, но хозяйка успела надеть блузу с кружевами, плохо сходившуюся спереди.

Она обливала взглядами Райского; нужды ей нет, что он был ранний юноша, успела ему сказать, что у него глаза и рот обворожительны и что он много побед сделает, начиная с нее...

— Что вы это ему говорите: он еще дитя! — полугневно заметила бабушка и стала прощаться. Полина Карповна извинялась, что муж в палате, обещала приехать сама, а в заключение взяла руками Райского за обе щеки и поцеловала в лоб.

— Бесстыдница, беспутная! и ребенка не пропустила! — ворчала бабушка дорогой.

А Райский был смущен. Молодая женщина, белая шея, свобода в речах и обдаванье смелыми взглядами вскипятили воображение мальчика. Она ему казалась какой-то светлой богиней, королевой...

— Армида! — вслух, забывшись, сказал он, внезапно вспомнив об «Освобожденном Иерусалиме».

— Бесстыжая! — ворчала бабушка, подъезжая к крыльцу предводителя.— Узнает Нил Андреич, что он скажет? Будет тебе, вертушка!

Какой обширный дом, какой вид у предводителя из дома! Впрочем, в провинции из редкого дома нет прекрасного вида: пейзажи, вода и чистый воздух — там дешевые и всем дающиеся блага. Обширный двор, обширные сады, господские службы, конюшни.

Дом вытянулся в длину, в один этаж, с мезонином. Во всем благословенное обилие: гость приедет, как Одиссей в гости к царю.

Многочисленное семейство то и дело сидит за столом, а в семействе человек восемнадцать: то чай кушают, то кофе кушают в беседке, кушают на лужку, кушают на балконе.

Экономка весь день гремит ключами; буфет не затворяется. По двору поминутно носят полные блюда из кухни в дом, а обратно человек тихим шагом несет пустое блюдо, пальцем или языком очищая остатки. То барыне бульон, то тетеньке постное, то барчонку кашки, барину чего-нибудь посолиднее.

Гостей вечный рой, слуг человек сорок, из которых иные, пообедав прежде господ, лениво отмахивают мух ветвями, а другой, задремав, покроет ветвью лысую голову барина или величавый чепец барыни.

За обедом подают по два супа, по два холодных блюда, по четыре соуса и по пяти пирожных. Вина — одно кислее другого — всё как следует в открытом доме в провинции.

На конюшне двадцать лошадей: одни в карету барыни, другие в коляску барину; то для парных дрожек, то в одиночку, то для большой коляски — детей катать, то воду возить; верховые для старшего сына, клеппер для младших и, наконец, лошачок для четырехлетнего.

Комнат в доме сколько! учителей, мамзелей, гувернанток, приживалок, горничных... и долгов на доме сколько!

Татьяну Марковну и Райского все встретили шумно, громко, человеческими голосами, собачьим лаем, поцелуями, двиганьем стульев и сейчас начали кормить завтраком, поить кофе, потчевать ягодами.

Побежали в кухню и из кухни лакеи, девки,— как бабушка ни отбивалась от угощенья.

Райского окружили сверстники, заставили его играть, играли сами, заставили рисовать, рисовали сами, привели француза-учителя.

— Vous avez du talent, monsieur, vraiment![1] — сказал тот, посмотрев его рисунок.

Райский был на седьмом небе.

Потом повели в конюшню, оседлали лошадей, ездили в манеже и по двору, и Райский ездил. Две дочери, одна черненькая, другая беленькая, еще с красненькими, длинными, не по росту, кистями рук, как бывает у подрастающих девиц, но уже затянутые в корсет и бойко говорящие французские фразы, обворожили юношу.

С приятным волнением и задумчиво ехал оттуда Райский. Ему бы хотелось домой; но бабушка велела еще повернуть в какой-то переулок.

— Куда, бабушка? Пора домой,— сказал Райский.

— Вот еще к старичкам Молочковым заедем, да и домой.

— Чем же они замечательны?

— Да тем, что они... старички...

— Ну, вот, старички! — с неудовольствием проговорил Райский, под впечатлением от живой картины предводительского дома и поцелуя Полины Карповны.

— Почтенные такие,— сказала бабушка,— лет по восьмидесяти мужу и жене. И не слыхать их в городе: тихо у них, и мухи не летают. Сидят да шепчутся, да угождают друг другу. Вот пример всякому: прожили век, как будто проспали. Ни детей у них, ни родных! Дремлют да живут!

— Старички! — с неудовольствием говорил Райский.

— Что морщишься: надо уважать старость!

---

[1] Да у вас в самом деле талант, сударь! *(франц.)*

В самом деле, муж и жена, к которым они приехали, были только старички, и больше ничего. Но какие бодрые, тихие, задумчивые, хорошенькие старички!

Оба такие чистенькие, так свежо одеты; он выбрит, она в седых буклях, так тихо говорят, так любовно смотрят друг на друга и так им хорошо в темных, прохладных комнатах, с опущенными шторами. И в жизни, должно быть, хорошо!

Бабушка с почтением и с завистью, а Райский с любопытством глядел на стариков, слушал, как они припоминали молодость, не верил их словам, что она была первая красавица в губернии, а он — молодец, и сводил, будто, женщин с ума.

Он поиграл и им, по настоянию бабушки, и унес какое-то тихое воспоминание, дремлющую картину в голове об этой давно и медленно ползущей жизни.

Но «Армида» и две дочки предводителя царствовали наперекор всему. Он попеременно ставил на пьедестал то одну, то другую, мысленно становился на колени перед ними, пел, рисовал их, или грустно задумывался, или мурашки бегали по нем, и он ходил, подняв голову высоко, пел на весь дом, на весь сад, плавал в безумном восторге. Несколько суток он беспокойно спал, метался...

Перед ним носится какая-то картина; он стыдливо и лукаво смеется, кого-то ловит руками, будто обнимает, и хохочет в диком опьянении...

XII

В университете Райский делит время, по утрам, между лекциями и Кремлевским садом, в воскресенье ходит в Никитский монастырь к обедне, заглядывает на развод и посещает кондитеров Пеэра и Педотти. По вечерам сидит в «своем кружке», то есть избранных товарищей, горячих голов, великодушных сердец.

Все это кипит, шумит и гордо ожидает великой будущности.

Вглядевшись пытливо в каждого профессора, в каждого товарища, как в школе, Райский, от скуки, для развлечения, стал прислушиваться к тому, что говорят на лекции.

Как в школе у русского учителя, он не слушал законов строения языка, а рассматривал все, как говорит профессор, как падают у него слова, как кто слушает.

Но лишь коснется речь самой жизни, являются на сцену лица, события, заговорят в истории, в поэме или романе, греки, римляне, германцы, русские — но живые лица,— у Райского ухо невольно открывается: он весь тут и видит этих людей, эту жизнь.

Один он, даже с помощию профессоров, не сладил бы с классиками: в русском переводе их не было, в деревне у бабушки,

в отцовской библиотеке, хотя и были некоторые во французском переводе, но тогда еще он, без руководства, не понимал значения и обегал их. Они казались ему строги и сухи.

Только на втором курсе, с двух или трех кафедр, заговорили о них, и у «первых учеников» явились в руках оригиналы. Тогда Райский сблизился с одним забитым бедностью и робостью товарищем, Козловым.

Этот Козлов, сын дьякона, сначала в семинарии, потом в гимназии и дома — изучил греческий и латинский языки и, учась им, изучил древнюю жизнь, а современной почти не замечал.

Райский приласкал его и приласкался к нему, сначала ради его одиночества, сосредоточенности, простоты и доброты, потом вдруг открыл в нем страсть, «священный огонь», глубину понимания до степени ясновидения, строгость мысли, тонкость анализа — относительно древней жизни.

Он-то и посвятил Райского, насколько поддалась его живая, вечно, как море, волнующаяся натура, в тайны разумения древнего мира, но задержать его надолго, навсегда, как сам задержался на древней жизни, не мог.

Райский унес кое-что оттуда и ускользнул, оставив Козлову свою дружбу, а у себя навсегда образ его простой, младенческой души.

От Плутарха и «Путешествия Анахарсиса Младшего»[1] он перешел к Титу Ливию и Тациту, зарываясь в мелких деталях первого и в сильных сказаниях второго, спал с Гомером, с Дантом и часто забывал жизнь около себя, живя в анналах, сагах, даже в русских сказках...

А когда зададут тему на диссертацию, он терялся, впадал в уныние, не зная, как приступить к рассуждению, например, «об источниках к изучению народности», или «о древних русских деньгах», или «о движении народов с севера на юг».

Он, вместо того чтоб рассуждать, вглядывается в движение народов, как будто оно перед глазами. Он видит, как туча народа, точно саранча, движется, располагается на бивуаках, зажигает костры; видит мужчин в звериных шкурах, с дубинами, оборванных матерей, голодных детей; видит, как они режут, истребляют все на пути, как гибнут отсталые. Видит серое небо, скудные страны и даже древние русские деньги; видит так живо, что может нарисовать, но не знает, как «рассуждать» об этом: и чего тут рассуждать, когда ему и так видно?

Летом любил он уходить в окрестности, забирался в старые монастыри и вглядывался в темные углы, в почернелые лики святых и мучеников, и фантазия, лучше профессоров, уносила его в русскую старину.

---

[1] Произведение французского писателя Жан-Жака Бартелеми (1716—1795).

Там, точно живые, толпились старые цари, монахи, воины, подьячие. Москва казалась необъятным ветхим царством. Драки, казни, татары, Донские, Иоанны — все приступало к нему, все звало к себе в гости, смотреть на их жизнь.

Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около: он очнется — перед ним старая стена монастырская, старый образ: он в келье или в тереме. Он выйдет задумчиво из копоти древнего мрака, пока не обвеет его свежий, теплый воздух.

Райский начал писать и стихи, и прозу, показал сначала одному товарищу, потом другому, потом всему кружку, а кружок объявил, что он талант.

Тогда Борис приступил к историческому роману, написал несколько глав и прочел также в кружке. Товарищи стали уважать его, «как надежду», ходили с ним толпой.

Райский и кружок его падали только на репетициях и на экзаменах, они уходили тогда на третий план и на четвертую скамью.

На первой и второй являлись опять-таки «первые ученики», которые так смирно сидят на лекции, у которых все записки есть, которые гордо и спокойно идут на экзамен и еще более гордо и спокойно возвращаются с экзамена: это — будущие кандидаты.

Они холодно смотрели на кружок, определили Райского словом «романтик», холодно слушали или вовсе не слушали его стихи и прозу и не ставили его ни во что.

Они одинаково прилежно занимались по всем предметам, не пристращаясь ни к одному исключительно. И после, в службе, в жизни, куда их ни сунут, в какое положение ни поставят — везде и всякое дело они делают «удовлетворительно», идут ровно, не увлекаясь ни в какую сторону.

Товарищи Райского показали его стихи и прозу «гениальным» профессорам, «пророкам», как их звал кружок, хвостом ходивший за ними.

— Ах, Иван Иваныч! Ах, Петр Петрович! Это гении, наши светила! — закатывая глаза под лоб, повторяли восторженно юноши.

Один из «пророков» разобрал стихи публично на лекции и сказал, что «в них преобладает элемент живописи, обилие образов и музыкальность, но нет глубины и мало силы», однако предсказывал, что с летами это придет, поздравил автора тоже с талантом и советовал «беречь и лелеять музу», то есть заняться серьезно.

Райский, шатаясь от упоения, вышел из аудитории, и в кружке, по этому случаю, был трехдневный рев.

Другой «пророк» прочел начало его романа и пригласил Райского к себе.

Он вышел от профессора, как из бани, тоже с патентом на

талант и с кучей старых книг, летописей, грамот, договоров.

— Готовьте серьезным изучением ваш талант,— сказал ему профессор,— у вас есть будущность.

Райский еще «серьезнее» занялся хождением в окрестности, проникал опять в старые здания, глядел, щупал, нюхал камни, читал надписи, но не разобрал и двух страниц данных профессором хроник, а писал русскую жизнь, как она снилась ему в поэтических видениях, и кончил тем, что очень «серьезно» написал шутливую поэму, воспев в ней товарища, написавшего диссертацию «о долговых обязательствах» и никогда не платившего за квартиру и за стол хозяйке.

Переходил он из курса в курс с затруднениями, все теряясь и сбиваясь на экзаменах. Но его выкупала репутация будущего таланта, несколько удачных стихотворений и прозаические взмахи и очерки из русской истории.

— Вы куда хотите поступить на службу? — вдруг раздался однажды над ним вопрос декана.— Через неделю вы выйдете. Что вы будете делать?

Райский молчал.

— Какое звание изберете? — спросил опять тот.

«Я... художником хочу быть...» — думал было он сказать, да вспомнил, как приняли это опекун и бабушка, и не сказал.

— Я... стихи буду писать.

— Но ведь это не звание: это так... между прочим,— заметил декан.

— И повести тоже...— сказал Райский.

— И повести можно: конечно, у вас есть талант. Но ведь это впоследствии, когда талант выработается. А звание... звание, я спрашиваю?

— Сначала я пойду в военную службу, в гвардию, а потом в статскую, в прокуроры... в губернаторы...— отвечал Райский.

Декан улыбнулся.

— Стало быть, прежде в юнкера — вот это понятно! — сказал он.— Вы да Леонтий Козлов только не имеете ничего в виду, а прочие все имеют назначение.

Когда Козлова спрашивали, куда он хочет, он отвечал: «В учителя куда-нибудь в губернию»,— и на том уперся.

XIII

В Петербурге Райский поступил в юнкера: он с одушевлением скакал во фронте, млея и горя, с бегающими по спине мурашками, при звуках полковой музыки, вытягивался, стуча саблей и шпорами, при встрече с генералами, а по вечерам в

удалой компании на тройках уносился за город, на веселые пикники, или брал уроки жизни и любви у столичных русских и не русских «Армид», в том волшебном царстве, где «гаснет вера в лучший край».

В самом деле, у него чуть не погасла вера в честь, честность, вообще в человека. Он, не желая, не стараясь, часто бегая прочь, изведал этот «чудесный мир» — силою своей впечатлительной натуры, вбиравшей в себя, как губка, все задевавшие его явления.

Женщины того мира казались ему особой породой. Как пар и машины заменили живую силу рук, так там целая механика жизни и страстей заменила природную жизнь и страсти. Этот мир — без привязанностей, без детей, без колыбелей, без братьев и сестер, без мужей и без жен, а только с мужчинами и женщинами.

Мужчины, одни, среди дел и забот, по лени, по грубости, часто бросая теплый огонь, тихие симпатии семьи, бросаются в этот мир всегда готовых романов и драм, как в игорный дом, чтоб охмелеть в чаду притворных чувств и дорого купленной неги. Других молодость и пыл влекут туда, в царство поддельной любви, со всей утонченной ее игрой, как гастронома влечет от домашнего простого обеда изысканный обед искусного повара.

Там царствует бесконечно разнообразный расчет: расчет роскоши, расчет честолюбия, расчет зависти, редко — самолюбия и никогда — сердца, то есть чувства. Красавицы приносят все в жертву расчету: самую страсть, если постигает их страсть, даже темперамент, когда потребует того роль, выгода положения.

Они — не жертвы общественного темперамента, как те несчастные создания, которые, за кусок хлеба, за одежду, за обувь и кров, служат животному голоду. Нет: там жрицы сильных, хотя искусственных страстей, тонкие актрисы, играют в любовь и жизнь, как игрок в карты.

Там нет глубоких целей, нет прочных конечных намерений и надежд. Бурная жизнь не манит к тихому порту. У жрицы этого культа, у «матери наслаждений» — нет в виду, как и у истинного игрока по страсти, выиграть фортуну и кончить, оставить все, успокоиться и жить другой жизнью.

Если бы явилась в том круге такая, она потеряла бы свой характер, свою прелесть: ее, как игрока, увлекут от прочного и доброго пути, или она утратит цену в глазах поклонников, потеряв свободу понятий и нравов.

Жизнь ее — вечная игра в страсти, цель — нескончаемое наслаждение, переходящее в привычку, когда она устанет, пресытится. У ней один ужас впереди — это состареться и стать ненужной.

Больше она ничего не боится. Играя в страсти, она при-

нимает все виды, все лица, все характеры, нужные для роли, заимствуя их, как маскарадные платья, напрокат. Она робка, скромна или горда, неприступна или нежна, послушна — смотря по роли, по моменту.

Но, сбросив маску, она часто зла, груба и даже страшна. Испугать и оскорбить ее нельзя, а она не задумается, для мщения или для забавы, разрушить семейное счастие, спокойствие человека, не говоря о фортуне: разрушать экономическое благосостояние — ее призвание.

Ее должна окружать бесконтрольная роскошь. Желаний она не должна успевать иметь.

Квартира у нее — храм, но походящий на выставку мебели, дорогих безделиц. Вкус в убранстве принадлежит не хозяйке, а мебельщику и обойщику.

Печати тонкой, артистической жизни нет: та, у кого бы она была, не могла бы жить этой жизнью: она задохнулась бы. Там вкус — в сервизах, экипажах, лошадях, лакеях, горничных, одетых, как балетные феи.

Если случайно попадет туда высокой кисти картина, дорогая статуя — они ценятся не удивлением кисти и резцу, а заплаченной суммой.

Ни хозяина, ни хозяйки, ни детей, ни старых преданных слуг — нет в ее квартире.

Она живет — как будто на станции, в дороге, готовая ежеминутно выехать. Нет у нее друзей — ни мужчин, ни женщин, а только множество знакомых.

Жизнь красавицы этого мира или «тряпичного царства», как называл его Райский,— мелкий, пестрый, вечно движущийся узор: визиты в своем кругу, театр, катанье, роскошные до безобразия завтраки и обеды до утра, и ночи, продолжающиеся до обеда. Забота одна — чтоб не было остановок от пестроты.

Пустой, не наполненный день, вечер — без суеты, выездов, театра, свиданий — страшен. Тогда проснулась бы мысль, с какими-нибудь докучливыми вопросами, пожалуй, чувство, совесть, встал бы призрак будущего...

Она со страхом отряхнется от непривычной задумчивости, гонит вопросы — и ей опять легко. Это бывает редко и у немногих. Мысль у ней большею частию нетронута, сердце отсутствует, знания никакого.

Накупать брильянтов, конечно, не самой — (это все, что есть неподдельного в ее жизни) — нарядов, непременно больше, чем нужно, делая фортуну поставщиков,— вот главный пункт ее тщеславия.

Широкая затея — это вояж: прикинуться графиней в Париже, занять палаццо в Италии, сверкнуть золотом и красотой, покоряя мимоходом того, другого, смотря по рангу, положению, фортуне.

Идеал мужчины у нее — прежде всего homme généreux, libéral [1], который «благородно» сыплет золото, потом comte, prince [2] и т. п. Понятия об уме, чести, нравах—свои, особенные.

Уродство в мужчине — это экономия, сдержанность, порядок. Скупой в ее глазах — изверг.

Райский, кружась в свете петербургской «золотой молодежи», бывши молодым офицером, потом молодым бюрократом, заплатил обильную дань поклонения этой красоте и, уходя, унес глубокую грусть надолго и много опытов, без которых мог обойтись.

Напрасно упрямился он оставаться офицером, ему неотступно снились то Волга и берега ее, тенистый сад и роща с обрывом, то видел он дикие глаза и исступленное лицо Васюкова и слышал звуки скрипки.

Снилась ему широкая арена искусства: академия или консерватория, любил он воображать себя тружеником искусства.

Ему рисовалась темная, запыленная мастерская, с завешанным светом, с кусками мрамора, с начатыми картинами, с манекеном,— и сам он, в изящной блузе, с длинными волосами, с негой и счастьем смотрит на свое произведение: под кистью у него рождается чья-то голова.

Она еще неодушевлена, в глазах нет жизни, огня. Но вот он посадит в них две магические точки, проведет два каких-то резких штриха, и вдруг голова ожила, заговорила, она смотрит так открыто, в ней горят мысль, чувство, красота...

В комнату заглядывают робко посетители, шепчутся...

Наконец вот выставка. Он из угла смотрит на свою картину, но ее не видать, перед ней толпа, там произносят его имя. Кто-то изменил ему, назвал его, и толпа от картины обратилась к нему.

Он сконфузился и очнулся.

Он подал просьбу к переводу в статскую службу и был посажен к Аянову в стол. Но читатель уже знает, что и статская служба удалась ему не лучше военной. Он оставил ее и стал ходить в академию.

Он робко пришел туда и осмотрелся кругом. Все сидят молча и рисуют с бюстов. Он начал тоже рисовать, но через два часа ушел и стал рисовать с бюста дома.

Но дома то сигару закурит, то сядет с ногами на диван, почитает или замечтается, и в голове раздадутся звуки. Он за фортепиано — и забудется.

Недели через три он опять пошел в академию: там опять все молчат и рисуют с бюстов.

Он кое с кем из товарищей познакомился, зазвал к себе и показал свою работу.

---

[1] Человек щедрый, снисходительный *(франц.)*.
[2] Граф, князь *(франц.)*.

— У вас есть талант, где вы учились? — сказали ему,— только... вон эта рука длинна... да и спина не так... рисунок не верен!

Между тем затеяли пирушку, пригласили Райского, и он слышал одно: то о колорите, то о бюстах, о руках, о ногах, о «правде» в искусстве, об академии, а в перспективе —Дюссельдорф, Париж, Рим. Отмеривали при нем года своей практики, ученичества, или «мученичества», прибавлял Райский. Семь, восемь лет — страшные цифры. И все уже взрослые.

Он не ходил месяцев шесть, потом пошел, и те же самые товарищи рисовали... с бюстов.

Он взглянул в другой класс: там стоял натурщик, и толпа молча рисовала с натуры торс.

Райский пришел через месяц — и то же углубление в торс и в свой рисунок. То же молчание, то же напряженное внимание.

Он пошел в мастерскую профессора и увидел снившуюся ему картину: запыленную комнату, завешанный свет, картины, маски, руки, ноги, манекен... все.

Только художник представился ему не в изящной блузе, а в испачканном пальто, не с длинными волосами, а гладко остриженный; не нега у него на лице, а мука внутренней работы и беспокойство, усталость. Он вперяет мучительный взгляд в свою картину, то подходит к ней, то отойдет от нее, задумывается...

Потом вдруг опять, как будто утонет, замрет, онемеет, только глаза блестят, да рука, как бешеная, стирает, заглаживает прежнее и торопится бросать новую, только что пойманную, вымученную черту, как будто боясь, что она забудется...

Робко ушел к себе Райский, натянул на рамку холст и начал чертить мелом. Три дня чертил он, стирал, опять чертил и, бросив бюсты, рисунки, взял кисть.

Три полотна переменил он и на четвертом нарисовал ту голову, которая снилась ему, голову Гектора и лицо Андромахи и ребенка. Но рук не доделал: «Это последнее дело, руки!» — думал он. Костюмы набросал наобум, кое-как, что наскоро прочел у Гомера: других источников под рукой не было, а где их искать и скоро ли найдешь?

Полгода он писал картину. Лица Гектора и Андромахи поглотили все его творчество, аксессуарами он не занимался: «Это после, когда-нибудь».

Ребенка нарисовал тоже кое-как, и то нарисовал потому, что без него не верна была бы сцена прощания.

Он хотел показать картину товарищам, но они сами красками еще не писали, а всё копировали с бюстов, нужды нет, что у самих бороды поросли.

Он решился показать профессору: профессор не заносчив, снисходителен и, вероятно, оценит труд по достоинству.

С замирающим сердцем принес он картину и оставил в коридоре.

Профессор велел внести ее в мастерскую, посмотрел.

— Что это за блин? — сказал он, скользнув взглядом по картине, но, взглянув мельком в другой раз, вдруг быстро схватил ее, поставил на мольберт и вонзил в нее испытующий взгляд, сильно сдвинув брови.

— Это вы делали? — спросил он, указав на голову Гектора.

— Я-с.

— И это вы? — профессор указал на Андромаху.

— Тоже я-с.

— А это? — спрашивал тот, указывая на ребенка.

— Я же.

— Не может быть: это двое делали,— отрывисто отвечал профессор и, отворив дверь в другую комнату, закричал: — Иван Иванович!

Пришел Иван Иванович, какой-то художник.

— Посмотри!

Он показал ему на головы двух фигур и ребенка. Тот молча и пристально рассматривал. Райский дрожал.

— Что ты видишь? — спросил профессор.

— Что? — сказал тот,— это не из наших. Кто же приделал голову к этой мазне?.. Да, голова... мм... а ухо не на месте. Кто это?

Профессор спросил Райского, где он учился, подтвердил, что у него талант, и разразился сильной бранью, узнав, что Райский только раз десять был в академии и с бюстов не рисует.

— Посмотрите: ни одной черты нет верной. Эта нога короче, у Андромахи плечо не на месте; если Гектор выпрямится, так она ему будет только по брюхо. А эти мускулы, посмотрите...

Он обнажил и показал колено, потом руку.

— Вы не умеете рисовать,— сказал он,— вам года три надо учиться с бюстов да анатомии... А голова Гектора, глаза... Да вы ли делали?

— Я,— сказал Райский.

Профессор пожал плечами.

И Иван Иванович сделал: «Гм! У вас есть талант, это видно. Учитесь; со временем...»

«Всё учитесь: со временем!» — думал Райский. А ему бы хотелось — не учась — и сейчас.

Он в раздумье воротился домой: там нашел письма. Бабушка бранила его, что он вышел из военной службы, а опекун советовал определиться в сенат. Он прислал ему рекомендательные письма.

Но Райский в сенат не поступил, в академии с бюстов не рисовал, между тем много читал, много писал стихов и прозы,

танцевал, ездил в свет, ходил в театр и к «Армидам» и в это время сочинил три вальса и нарисовал несколько женских портретов. Потом, после бешеной масленицы, вдруг очнулся, вспомнил о своей артистической карьере и бросился в академию: там ученики молча, углубленно рисовали с бюста, в другой студии писали с торса...

XIV

В назначенный вечер Райский и Беловодова опять сошлись у ней в кабинете. Она была одета, чтобы ехать в спектакль: отец хотел заехать за ней с обеда, но не заезжал, хотя было уже половина восьмого.

— Я все думаю о нашем разговоре, кузина: а вы? — спросил он.

— Я, cousin... виновата: не думала о нем. Что такое мы говорили?.. Ах, да! — припомнила она.— Вы что-то меня спрашивали.

— И вы что-то мне обещали.

— Что же?

— Рассказать... какую-то «глупость», ребячество и потом вашу законную любовь...

— Все это так просто, cousin, что я даже не сумею рассказать: спросите у всякой замужней женщины. Вот хоть у Catherine...

— Ах, нет, кузина, только не у Catherine: наряды и выезды, выезды и наряды...

— Что мне вам рассказывать? Я не знаю, с чего начать. Paul сделал через княгиню предложение, та сказала maman, maman теткам; позвали родных, потом объявили папа́... Как все делают.

— Ему после всех! — весело заметил Райский.— А вы когда узнали?

— В тот же вечер, разумеется. Какой вопрос! Не думаете ли вы, что меня принуждали?..

— Нет, нет, кузина: не так рассказываете. Начните, пожалуйста, с воспитания. Как, где вы воспитывались? Прежде расскажите ту «глупость»...

— Дома воспитывалась, вы знаете... Maman была строга и серьезна, никогда не шутила, почти не смеялась, ласкала мало, все ее слушались в доме: няньки, девушки, гувернантки делали все, что она приказывала, и папа́ тоже. В детскую она не ходила, но порядок был такой, как будто она там жила. Когда мне было лет семь, за мной, помню, ходила немка Маргарита: она причесывала и одевала меня, потом будили мисс Дредсон и шли к maman. Maman, прежде нежели поздоровается, пристально поглядит мне в лицо, обернет меня раза три,

посмотрит, все ли хорошо, даже ноги посмотрит, потом глядит, как я делаю кникс, и тогда поцелует в лоб и отпустит. После завтрака меня водили гулять или в дурную погоду ездили в коляске...

— Как вы шалили, резвились? расскажите...

— Я не шалила: мисс Дредсон шла рядом и дальше трех шагов от себя не пускала. Однажды мальчик бросил мячик, и он покатился мне в ноги, я поймала его и побежала отдать ему, мисс сказала maman, и меня три дня не пускали гулять. Впрочем, я мало помню, что было, помню только, что ездил танцмейстер и учил: chassé en avant, chassé à gauche, tenez-vous droit, pas de grimaces... [1] После обеда мне позволяли в большой зале играть час в мячик, прыгать через веревочку, но тихонько, чтоб не разбить зеркал и не топать ногами. Maman не любила, когда у меня раскраснеются щеки и уши, и потому мне не велено было слишком бегать. Еще уверяли, что будто я...— она засмеялась,— язык показывала, когда рисую и пишу, и даже танцую — и оттого pas de grimaces раздавалось чаще всего.

— Chassé en avant, chassé à gauche и pas de grimaces: да, это хороший курс воспитания: все равно, что военная выправка. Что же дальше?

— Дальше, приставили француженку, madame Clèry [2], но... не знаю, почему-то скоро отпустили. Я помню, как папа́ защищал ее, но maman слышать не хотела...

— Ну, теперь я вижу, что у вас не было детства: это коечто объясняет мне... Учили вас чему-нибудь? — спросил он.

— Без сомнения: histoire, géographie, calligraphie, l'orthographe [3], еще по-русски...

Здесь Софья Николаевна немного остановилась.

— Я уверен, что мы подходим к катастрофе и что герой ее — русский учитель,— сказал Райский.— Это наши jeunes premiers... [4]

— Да... вы угадали! — засмеявшись, отвечала Беловодова. — Я все уроки учила одинаково, то есть все дурно. В истории знала только двенадцатый год, потому что mon oncle, prince Serge [5], служил в то время и делал кампанию, он рассказывал часто о нем; помнила, что была Екатерина II, еще революция, от которой бежал m-r de Querney [6], а остальное все.. там эти войны, греческие, римские, что-то про Фридриха

---

[1] Шаг вперед, шаг налево, держитесь прямей, не гримасничайте... *(франц.)*

[2] Мадам Клери *(франц.)*

[3] История, география, каллиграфия, орфография *(франц.)*.

[4] Сердцееды... *(франц.)*

[5] Мой дядя, князь Серж *(франц.)*.

[6] Господин де Керни *(франц.)*.

Великого — все это у меня путалось. Но по-русски, у m-r Ельнина, я выучивала почти все, что он задавал.

— До сих пор все идет прекрасно. Что же вы делали еще?

— Читали. Он прекрасно читал, приносил книги...

— Какие же книги?

— Я теперь забыла...

— Что же дальше, кузина?

— Потом, когда мне было шестнадцать лет, мне дали особые комнаты и поселили со мной ma tante Анну Васильевну, а мисс Дредсон уехала в Англию. Я занималась музыкой, и мне оставили французского профессора и учителя по-русски, потому что тогда в свете заговорили, что надо знать по-русски почти так же хорошо, как по-французски...

— M-r Ельнин был очень... очень... мил, хорош и... comme il faut?..[1] — спросил Райский.

— Oui, il était tout-à-fait bien[2],— сказала, покраснев немного, Беловодова,— я привыкла к нему... и когда он манкировал, мне было досадно, а однажды он заболел и недели три не приходил...

— Вы были в отчаянии? — перебил Райский,— плакали, не спали ночей и молились за него? Да? Вам было...

— Мне было жаль его,— и я даже просила папа́ послать узнать о его здоровье...

— Даже! Ну, что ж папа́?

— Сам съездил, нашел его convalescent[3] и привез к нам обедать. Maman сначала было рассердилась и начала сцену с папа́, но Ельнин был так приличен, скромен, что и она пригласила его на наши soirées musicales и dansantes[4]. Он был хорошо воспитан, играл на скрипке...

— Что же дальше? — с нетерпением спросил Райский.

— Когда папа́ привез его в первый раз после болезни, он был бледен, молчалив... глаза такие томные... Мне стало очень жаль его, и я спросила за столом, чем он был болен?.. Он взглянул на меня с благодарностью, почти нежно... Но maman после обеда отвела меня в сторону и сказала, что это ни на что не похоже — девице спрашивать о здоровье постороннего молодого человека, еще учителя, и «и бог знает, кто он такой!» — прибавила она. Мне стало стыдно, я ушла и плакала в своей комнате, потом уж никогда ни о чем его не спрашивала...

— Дело! — иронически заметил Райский,— чуть было с Олимпа спустились одной ногой к людям — и досталось.

— Не перебивайте меня: я забуду,— сказала она.— Ельнин

---

[1] Благовоспитан?.. *(франц.)*

[2] Да, вполне *(франц.)*.

[3] Выздоравливающим *(франц.)*.

[4] Музыкальные вечера и балы *(франц.)*.

продолжал читать со мной, заставлял и меня сочинять, но maman велела больше сочинять по-французски.

— Что ж Ельнин, все читал?

— Да, читал и аккомпанировал мне на скрипке: он был странен, иногда задумается и молчит полчаса, так что вздрогнет, когда я назову его по имени, смотрит на меня очень странно... как иногда вы смотрите, или сядет так близко, что испугает меня. Но мне не было... досадно на него... Я привыкла к этим странностям; он раз положил свою руку на мою: мне было очень неловко. Но он не замечал сам, что делает,— и я не отняла руки. Даже однажды... когда он не пришел на музыку, на другой день я встретила его очень холодно...

— Браво! а предки ничего?

— Смейтесь, cousin: оно в самом деле смешно...

— Я радуюсь, кузина, а не смеюсь: не правда ли, вы жили тогда, были счастливы, веселы,— не так, как после, как теперь?..

— Да, правда: мне, как глупой девочке, было весело смотреть, как он вдруг робел, боялся взглянуть на меня, а иногда, напротив, долго глядел,— иногда даже побледнеет. Может быть, я немного кокетничала с ним, по-детски, конечно, от скуки... У нас было иногда... очень скучно! Но он был, кажется, очень добр и несчастлив: у него не было родных никого. Я принимала большое участие в нем, и мне было с ним весело, это правда. Зато как я дорого заплатила за эту глупость!..

— Ах, скорее! — сказал Райский,— жду драмы.

— В день моих именин у нас был прием, меня уже вывозили. Я разучивала сонату Бетховена, ту, которою он восхищался и которую вы тоже любите...

— Так вот откуда совершенство, с которым вы играете ее... Дальше, кузина: это интересно!

— В свете уж обо мне тогда знали, что я люблю музыку, говорили, что я буду первоклассная артистка. Прежде maman хотела взять Гензельта [1], но, услыхавши это, отдумала.

— Мудрость предков говорит, что неприлично артисткой быть! — заметил Райский.

— Я ждала этого вечера с нетерпением,— продолжала Софья,— потому что Ельнин не знал, что я разучиваю ее для...

Беловодова остановилась в смущении.

— Понимаю! — подсказал Райский.

— Все собрались, тут пели, играли другие, а его нет; maman два раза спрашивала, что ж я, сыграю ли сонату? Я отговаривалась, как могла, наконец она приказала играть: j'avais le coeur gros [2] — и села за фортепиано. Я думаю, я была

---

[1] Г е н з е л ь т А. Л. (1814—1889) — известный петербургский пианист, преподаватель музыки в аристократических домах.

[2] На сердце у меня тяжело *(франц.)*.

бледна; но только я сыграла интродукцию, как вижу в зеркале — Ельнин стоит сзади меня... Мне потом сказали, что будто я вспыхнула: я думаю, это неправда,— стыдливо прибавила она.— Я просто рада была, потому что он понимал музыку...

— Кузина! говорите сами, не заставляйте говорить предков.

— Я играла, играла...

— С одушевлением, горячо, со страстью...— подсказывал он.

— Я думаю — да, потому что сначала все слушали молча, никто не говорил банальных похвал: «Charmant, bravo» [1], а когда кончила — все закричали в один голос, окружили меня... Но я не обратила на это внимания, не слыхала поздравлений: я обернулась, только лишь кончила, к нему... Он протянул мне руку, и я...

Софья остановилась в смущении...

— Ну, вы бросились к нему...

— Уж и бросилась! Нет, я протянула ему тоже руку, и он... пожал ее! и кажется, мы оба покраснели...

— Только?

— Я скоро опомнилась и стала отвечать на поздравления, на приветствия, хотела подойти к maman, но взглянула на нее, и... мне страшно стало: подошла к теткам, но обе они сказали что-то вскользь и отошли. Ельнин из угла следил за мной такими глазами, что я ушла в другую комнату. Maman, не простясь, ушла после гостей к себе. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны Васильевны на глазах были слезы...

— Помешательства бывают разные,— заметил Райский,— эти все рехнулись на приличии... Ну, что же наутро?

— Наутро,—продолжала Софья со вздохом,— я ждала, пока позовут меня к maman, но меня долго не звали. Наконец за мной пришла ma tante, Надежда Васильевна, и сухо сказала, чтобы я шла к maman. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядела, что было и кто был у maman в комнате. Там было темно, портьеры и шторы спущены, maman казалась утомлена; подле нее сидели тетушка, mon oncle, prince Serge, и папа́...

— Весь ареопаг — портреты тут!

— Папа́ стоял у камина и грелся. Я посмотрела на него и думала, что он взглянет на меня ласково: мне бы легче было. Но он старался не глядеть на меня; бедняжка боялся maman, а я видела, что ему было жалко. Он все жевал губами: он это всегда делает в ажитации, вы знаете.

— И что же они?

— «Позвольте вас спросить, кто вы и что вы?» — тихо спросила maman. «Ваша дочь»,— чуть-чуть внятно ответила я. «Не похоже. Как вы ведете себя?»

---

[1] Прелестно, браво *(франц.)*.

— Я молчала: отвечать было нечего...

— Боже мой! нечего! — произнес Райский...

— «Что это за сцену разыграли вы вчера: комедию, драму? Чье это сочинение, ваше или учителя этого... Ельнина?» — «Maman, я не играла сцены, я нечаянно...» — едва проговорила я, так мне было тяжело. «Тем хуже,— сказала она,— il y a donc du sentiment là dedans? [1] Вот послушайте,— обратилась она к папа́,— что говорит ваша дочь... как вам нравится это признание?..» Он, бедный, был смущен и жалок больше меня и смотрел вниз; я знала, что он один не сердится, а мне хотелось бы умереть в эту минуту со стыда... «Знаете ли, кто он такой, ваш учитель? — сказала maman.— Вот князь Serge все узнал: он сын какого-то лекаря, бегает по урокам, сочиняет, пишет русским купцам французские письма за границу за деньги, и этим живет...» — «Какой срам!» — сказала ma tante. Я не дослушала дальше, мне сделалось дурно. Когда я опомнилась, подле меня сидели обе тетушки, а папа́ стоял со спиртом. Maman не было. Я не видала ее две недели. Потом, когда увиделись, я плакала, просила прощения. Maman говорила, как поразила ее эта сцена, как она чуть не занемогла, как это все заметила кузина Нелюбова и пересказала Михиловым, как те обвинили ее в недостатке внимания, бранили, зачем принимали бог знает кого. «Вот чему ты подвергла меня!» — заключила maman. Я просила простить и забыть эту глупость и дала слово вперед держать себя прилично.

Райский расхохотался.

— Я думал, бог знает, какая драма! — сказал он,— а вы мне рассказываете историю шестилетней девочки! Надеюсь, кузина, когда у вас будет дочь, вы поступите иначе...

— Как же: отдать ее за учителя? — сказала она.— Вы не думаете сами серьезно, чтоб это было возможно!

— Почему нет, если он честен, хорошо воспитан?..

— Никто не знает, честен ли Ельнин: напротив, ma tante и maman говорили, что будто у него были дурные намерения, что он хотел вскружить мне голову... из самолюбия, потому что серьезных намерений он иметь не смел...

— Нет! — пылко возразил Райский,— вас обманули. Не бледнеют и не краснеют, когда хотят кружить головы ваши франты, кузены, prince Pierre, comte Serge: [2] вот у кого дурное на уме! А у Ельнина не было никаких намерений, он, как я вижу из ваших слов, любил вас искренно. А эти,— он, не оборачиваясь, указал назад на портреты,— женятся на вас par convenance [3] и потом меняют на танцовщицу...

---

[1] Значит, тут замешано чувство? *(франц.)*
[2] Князь Пьер, граф Серж *(франц.)*.
[3] Выгоды ради *(франц.)*.

— Cousin! — серьезно, почти с испугом, сказала она.

— Да, кузина, вы сами знаете это...

— Что же мне было делать? Сказать maman, что я выйду за m-r Ельнина...

— Да, упасть в обморок не от того, от чего вы упали, а от того, что осмелились распоряжаться вашим сердцем, потом уйти из дома и сделаться его женой. «Сочиняет, пишет письма, дает уроки, получает деньги, и этим живет!» В самом деле, какой позор! А они,— он опять указал на предков,— получали, ничего не сочиняя, и проедали весь свой век чужое — какая слава!.. Что же сталось с Ельниным?

— Не знаю,— равнодушно сказала она,— ему отказали от дома, и я не видала его никогда.

— И вы — ничего?

— Ничего...

— Перед вами являлась лицом к лицу настоящая живая жизнь, счастье — и вы оттолкнули его от себя! из чего, для чего?

— Но, cousin, вы знаете, что я была замужем и жила этой жизнью...

— С ним? — спросил он, глядя на портрет ее мужа.

— С ним! — сказала она, глядя с кроткой лаской тоже на портрет.

— Как вы вышли замуж?

— Очень просто. Он тогда только что воротился из-за границы и бывал у нас, рассказывал, что делается в Париже, говорил о королеве, о принцессах, иногда обедал у нас и через княгиню сделал предложение.

— Ну, когда согласились и вы остались с ним в первый раз одни... что он...

— Ничего! — сказала она с улыбкой удивления.

— Но ведь... говорил же он вам, почему искал вашей руки, что его привлекло к вам... что не было никого прекраснее, блистательнее...

— И «что он никогда не кончил бы, говоря обо мне, но боится быть сентиментальным...» — добавила она.

— Потом?

— Потом сел играть в карты, а я пошла одеваться; в этот вечер он был в нашей ложе и на другой день объявлен женихом.

— В самом деле это очень просто! — заметил Райский.— Ну, потом, после свадьбы?..

— Мы уехали за границу.

— А! наконец не до света, не до родных: куда-нибудь в Италию, в Швейцарию, на Рейн, в уголок, и там сердце взяло свое...

— Нет, нет, cousin,— мы поехали в Париж: мужу дали поручение, и он представил меня ко двору.

— Господи! — воскликнул Райский,— этого недоставало!

— Я была очень счастлива,— сказала Беловодова, и улыбка и взгляд говорили, что она с удовольствием глядит в прошлое.— Да, cousin, когда я в первый раз приехала на бал в Тюльери и вошла в круг, где был король, королева и принцы...

— Все ахнули? — сказал Райский.

Она кивнула головой, потом вздохнула, как будто жалея, что это прекрасное прошлое невозвратимо.

— Мы принимали в Париже; потом уехали на воды; там муж устраивал праздники, балы: тогда писали в газетах.

— И вы были счастливы?

— Да,— сказала она,— счастлива: я никогда не видала недовольной мины у Paul, не слыхала...

— Нежного, задушевного слова, не видали минуты увлечения?

Она задумчиво и отрицательно покачала головой.

— Не слыхала отказа в желаниях, даже в капризах...— добавила она.

— Будто у вас были и капризы?

— Да: в Вене он за полгода велел приготовить отель, мы приехали, мне не понравилось, и...

— Он нанял другой: какой нежный муж!

— Какое внимание, égard [1],— говорила она,— какое уважение в каждом слове!..

— Еще бы: ведь вы Пáхотина; шутка ли?

— Да, я была счастлива,— решительно сказала она,— и уже так счастлива не буду!

— И слава богу: аминь! — заключил он.— Канарейка тоже счастлива в клетке, и даже поет; но она счастлива канареечным, а не человеческим счастьем... Нет, кузина, над вами совершено систематически утонченное умерщвление свободы духа, свободы ума, свободы сердца! Вы — прекрасная пленница в светском серале и прозябаете в своем неведении.

— И не хочу менять этого неведения на ваше опасное ведение...

— Да,— перебил он,— и засидевшаяся канарейка, когда отворят клетку, не летит, а боязливо прячется в гнездо. Вы — тоже. Воскресните, кузина, от сна, бросьте ваших Catherine, m-me Basile [2], эти выезды — и узнайте другую жизнь. Когда запросит сердце свободы, не справляйтесь, что скажет кузина...

— А что скажет cousin — да?

— Да, тогда вспомните кузена Райского и смело подите в жизнь страстей, в незнакомую вам сторону...

— Но зачем же непременно страсти,— возражала она,— разве в них счастье?..

---

[1] Предупредительность *(франц.)*.
[2] Катрин, мадам Базиль *(франц.)*.

— Зачем гроза в природе?.. Страсть — гроза жизни... О, если б испытать эту сильную грозу! — с увлечением сказал он и задумался.

— Вот видите, cousin: все прочее, кроме вас, велит бежать страстей, а вы меня хотите толкнуть, чтобы потом всю жизнь раскаиваться...

— Нет, не к раскаянию поведет вас страсть: она очистит воздух, прогонит миазмы, предрассудки и даст вам дохнуть настоящей жизнью... Вы не упадете, вы слишком чисты, светлы; порочны вы быть не можете. Страсть не исказит вас, а только поднимет высоко. Вы черпнете познания добра и зла, упьетесь счастьем и потом задумаетесь на всю жизнь,— не этой красивой, сонной задумчивостью. В вашем покое будет биться пульс, будет жить сознание счастья; вы будете прекраснее во сто раз, будете нежны, грустны, перед вами откроется глубина собственного сердца, и тогда весь мир упадет перед вами на колени, как падаю я...

Он в самом деле опускался на колени, но она сделала движение ужаса, и он остановился.

— И когда я вас встречу потом, может быть, измученную горем, но богатую и счастьем, и опытом, вы скажете, что вы недаром жили, и не будете отговариваться неведением жизни. Вот тогда выгляните и туда, на улицу, захотите узнать, что делают ваши мужики, захотите кормить, учить, лечить их...

Она слушала задумчиво. Сомнения, тени, воспоминания проходили по лицу.

— Не все мужчины — Беловодовы,— продолжал он,— не побоится друг ваш дать волю сердцу и языку, а услыхавши раз голос сердца, пожив в тишине, наедине — где-нибудь в чухонской деревне, вы ужаснетесь вашего света. Париж и Вена побледнеют перед той деревней. Прочь prince Pierre, comte Serge, тетушки, эти портьеры, драпри, с глаз долой портреты: все это мешает только счастью. Вы возненавидите и Пашу с Дашей, и швейцара, все выезды — все вам опротивеет тогда. Положение ваше будет душить вас, вам покажется здесь тесно, скучно без того, кого полюбите, кто научит вас жить. Когда он придет, вы будете неловки, вздрогнете от его голоса, покраснеете, побледнеете, а когда уйдет, сердце у вас вскрикнет и помчится за ним, будет ждать томительно завтра, послезавтра... Вы не будете обедать, не уснете и просидите ночь вот тут в кресле, без сна, без покоя. Но если увидите его завтра, даже почуете надежду увидеть, вы будете свежее этого цветка, и будете счастливы, и он счастлив этим блестящим взглядом — не только он, но и чужой, кто вас увидит в этих лучах красоты...

— Что это, видно папá не будет? — сказала она, оглядываясь вокруг себя.— Это невозможно, что вы говорите!— тихо прибавила потом.

— Почему? — спросил он, впиваясь в нее глазами.

У него воображение было раздражено: он невольно ставил на месте героя себя; он глядел на нее то смело, то стоял мысленно на коленях и млел, лицо тоже млело. Она взглянула на него раза два и потом боялась или не хотела глядеть.

— Почему невозможно? — повторил он.

— Ведь я — канарейка!

— О, тогда эта портьера упадет, и вы выпорхнете из клетки; тогда вы возненавидите и теток, и этих полинявших господ, а на этот портрет (он указал на портрет мужа) взглянете с враждой.

— Ах, cousin!..— с упреком остановила она.

— Да, кузина, вы будете считать потерянною всякую минуту, прожитую, как вы жили и как живете теперь... Пропадет этот величавый, стройный вид, будете задумываться, забудете одеться в это несгибающееся платье... с досадой бросите массивный браслет, и крестик на груди не будет лежать так правильно и покойно. Потом, когда преодолеете предков, тетушек, перейдете Рубикон — тогда начнется жизнь... мимо вас будут мелькать дни, часы, ночи...

Он сел близко подле нее: она не замечала, погруженная в задумчивость.

— Вы не будете замечать их,— шептал он,— вы будете только наслаждаться, не оторвете вашей мечты от него, не сладите с сердцем, вам все будет чудиться, чего с вами никогда не было.

Он взял ее за руку, она вздрогнула.

— Одна, дома, вы вдруг заплачете от счастья: около вас будет кто-то невидимо ходить, смотреть на вас... И если в эту минуту явится он, вы закричите от радости, вскочите и... и... броситесь к нему...

Оба они вдруг встали.

— И отдадите все... все... — шептал он, держа ее за руку.

— Assez, cousin, assez! [1] — говорила она в волнении, с нетерпением, почти с досадой отнимая руку.

— И будете еще жалеть,— все шептал он,— что нечего больше отдать, что нет жертвы! Тогда пойдете и на улицу, в темную ночь, одни... если...

— Mon Dieu, mon Dieu! [2] — говорила она, глядя на дверь,— что вы говорите?.. вы знаете сами, что это невозможно!

— Все возможно,— шептал он,— вы станете на колени, страстно прильнете губами к его руке и будете плакать от наслаждения...

Она села на кресло, откинула голову и вздохнула тяжело.

---

[1] Довольно, кузен, довольно! *(франц.)*

[2] О боже, боже! *(франц.)*

— Je vous demande une grâce, cousin[1],— сказала она.

— Требуйте, приказывайте! — говорил он восторженно.

— Laissez moi![2]

Он пошел к двери и оглянулся. Она сидит неподвижно: на лице только нетерпение, чтоб он ушел. Едва он вышел, она налила из графина в стакан воды, медленно выпила его и потом велела отложить карету. Она села в кресло и задумалась, не шевелясь.

Через несколько минут послышались шаги, портьера распахнулась. Софья вздрогнула, мельком взглянула в зеркало и встала. Вошел ее отец, с ним какой-то гость, мужчина средних лет, высокий, брюнет, с задумчивым лицом. Физиономия не русская. Отец представил его Софье.

— Граф Милари, ma chére amie,— сказал он,— grand musicien et le plus aimable garçon du monde[3]. Две недели здесь: ты видела его на бале у княгини? Извини, душа моя, я был у графа: он не пустил в театр.

— Я велела отложить карету, папà; мне тоже не хочется,— отвечала она.

Софья попросила гостя сесть. Они стали говорить о музыке, а Николай Васильевич, пожевав губами, ушел в гостиную.

XV

Райский вернулся домой в чаду, едва замечая дорогу, улицы, проходящих и проезжающих. Он видел все одно — Софью, как картину в рамке из бархата, кружев, всю в шелку, в брильянтах, но уже не прежнюю покойную и недоступную чувству Софью.

На лице у ней он успел прочесть первые, робкие лучи жизни, мимолетные проблески нетерпения, потом тревоги, страха и, наконец, добился вызвать какое-то волнение, может быть бессознательную жажду любви.

Он бросил сомнение в нее, вопросы, может быть сожаление о даром потерянном прошлом, словом, взволновал ее. Ему снилась в перспективе страсть, драма, превращение статуи в женщину.

Пока он гордился про себя и тем крошечным успехом своей пропаганды, что, кажется, предки сошли в ее глазах с высокого пьедестала.

«Еще два-три вечера,— думал он,— еще приподнимет он ей уголок завесы, она взглянет в лучистую даль и вдруг поймет

---

[1] Я прошу вас о милости, кузен *(франц.)*.

[2] Оставьте меня! *(франц.)*

[3] Граф Милари, моя милая... превосходный музыкант и любезнейший молодой человек *(франц.)*.

жизнь и счастье. Потом дальше, когда-нибудь, взгляд ее остановится на ком-то в изумлении, потом опустится, взглянет широко опять и онемеет — и она мгновенно преобразится».

— Но кто же будет этот «кто-то»? — спросил он ревниво.— Не тот ли, кто первый вызвал в ней сознание о чувстве? Не он ли вправе бросить ей в сердце и самое чувство?

Он поглядел в зеркало и задумался, подошел к форточке, отворил ее, дохнул свежим воздухом: до него донеслись звуки виолончели.

— Ах, опять этот пилит! — с досадой сказал он, глядя на противоположное окно флигеля.— И опять то же! — прибавил он, захлопывая форточку.

Звуки хотя глухо, но всё доносились до него. Каждое утро и каждый вечер видел он в окно человека, нагнувшегося над инструментом, и слышал повторение, по целым неделям, почти неисполнимых пассажей, по пятидесяти, по сто раз. И месяцы проходили так.

— Осел! — сказал Райский и лег на диван, хотел заснуть, но звуки не давали, как он ни прижимал ухо к подушке, чтоб заглушить их.— Нет, так и режут.

— Право, осел! — повторил он и сам сел за фортепиано и начал брать сильные аккорды, чтоб заглушить виолончель. Потом залился веселою трелью, перебрал мотивы из нескольких опер, чтоб не слыхать несносного мычанья, и насилу забылся за импровизацией.

Перед ним была Софья: играя, он видел все ее, уже с пробудившимися страстями, страдающую и любящую — и только дошло до вопроса: «кого?» — звуки у него будто оборвались. Он встал и открыл форточку.

— Все еще играет! — с изумлением повторил он и хотел снова захлопнуть, но вдруг остановился и замер на месте.

Звуки не те: не мычанье, не повторение трудных пассажей слышит он. Сильная рука водила смычком, будто по нервам сердца: звуки послушно плакали и хохотали, обдавали слушателя точно морской волной, бросали в пучину и вдруг выкидывали на высоту и несли в воздушное пространство.

Целые миры отверзались перед ним, понеслись видения, открылись волшебные страны. У Райского широко открылись глаза и уши: он видел только фигуру человека в одном жилете, свеча освещала мокрый лоб, глаз было не видно. Борис пристально смотрел на него, как бывало на Васюкова.

«А! что это такое!» — думал он, слушая с дрожью почти ужаса эти широко разливающиеся волны гармонии.

— Что это такое? — повторил он,— откуда он взял эти звуки? Кто их дал ему? Ужели месяцы и годы ослиного терпения и упорства? Рисовать с бюстов, пилить по струнам — годы! А дает человеческой фигуре, в картине, огонь, жизнь — одна волшебная точка, штрих; страсть в звуки вливает — одна нерв-

ная дрожь пальца! У меня есть и точка, и нервная дрожь — и все эти молнии горят здесь, в груди,— говорил он, ударяя себя в грудь.— И я бессилен перебросить их в другую грудь, зажечь огнем своим огонь в крови зрителя, слушателя! Священный огонь не переходит у меня в звуки, не ложится послушно в картину! Зачем не группируются стройно лица поэмы и романа?

И опять слушал он, замирая: не слыхать ни смычка, ни струн; инструмента не было, а пела свободно, вдохновенно будто грудь самого артиста.

У Райского навернулись слезы умиления, и он тихо закрыл форточку.

А ведь есть упорство и у него, у Райского! Какие усилия напрягал он, чтоб... сладить с кузиной, сколько ума, игры воображения, труда положил он, чтоб пробудить в ней огонь, жизнь, страсть... Вот куда уходят эти силы!

«Не вноси искусства в жизнь,— шептал ему кто-то,— а жизнь в искусство!.. Береги его, береги силы!»

Он подошел к мольберту; снял зеленую тафту: там был портрет Софьи — глаза ее, плечи ее и спокойствие ее.

— Но теперь она уж не такая! — шептал он,— явились признаки жизни: я их вижу; вот они, перед глазами у меня: как уловить их?..

Он схватил кисть, палитру, помалевал глаза, изменил немного линию губ — и со вздохом положил кисть и отошел. Платье, эти кружева, бархат кое-как набросаны. А пуще всего руки не верны. И темно: краски вечером изменяются.

Он поглядел еще несколько запыленных картин: всё начатые и брошенные эскизы, потом подошел к печке, перебрал несколько рамок, останавливаясь на некоторых и, между прочим, на голове Гектора.

Наконец достал небольшой масляный, будто скорой рукой набросанный и едва подмалеванный портрет молодой белокурой женщины, поставил его на мольберт и, облокотясь локтями на стол, впустив пальцы в волосы, остановил неподвижный, исполненный глубокой грусти взгляд на этой голове.

Долго сидел он в задумчивом сне, потом очнулся, пересел за письменный стол и начал перебирать рукописи,— на некоторых останавливался, качал головой, рвал и бросал в корзину, под стол, другие откладывал в сторону.

Между кипами литературных опытов, стихов и прозы, он нашел одну тетрадь, в заглавии которой стояло: «Наташа».

Там был записан старый эпизод, когда он только что расцветал, сближался с жизнью, любил и его любили. Он записал его когда-то под влиянием чувства, которым жил, не зная тогда еще, зачем,— может быть, с сентиментальной целью посвятить эти листки памяти своей тогдашней подруги или оставить для себя заметку и воспоминание в старости о молодой своей любви,

а может быть, у него уже тогда бродила мысль о романе, о котором он говорил Аянову, и мелькал сюжет для трогательной повести из собственной жизни.

Он там говорил о себе в третьем лице, набрасывая легкий очерк, сквозь который едва пробивался образ нежной, любящей женщины. Думая впоследствии о своем романе, он предполагал выработать этот очерк и включить в роман, как эпизод.

«...Он, воротясь домой после обеда в артистическом кругу,— читал Райский вполголоса свою тетрадь,— нашел у себя на столе записку, в которой было сказано: «Навести меня, милый Борис: я умираю!.. Твоя Наташа».

— Боже мой, Наташа! — закричал он не своим голосом и побежал с лестницы, бросился на улицу и поскакал на извозчике к Знаменью, в переулок, вбежал в дом, в третий этаж.— Две недели не был, две недели — это вечность! Что она?

Он остановился перед дверью, переводя дух, и от волнения то брался за ручку колокольчика, то опять оставлял ее. Наконец позвонил и вошел.

Его встретила хозяйка квартиры, пожилая женщина, чиновница, молча, опустив глаза, как будто с укоризной отвечала на поклон, а на вопрос его, сделанный шепотом, с дрожью: «Что она?» — ничего не сказала, а только пропустила его вперед, осторожно затворила за ним дверь и сама ушла.

Он на цыпочках вошел в комнату и оглядел ее, с беспокойством отыскивая, где Наташа.

В комнате был волосяной диван красного дерева, круглый стол перед диваном, на столе стоял рабочий ящик и лежали неконченные женские работы.

В углу теплилась лампада; по стенам стояли волосяные стулья; на окнах горшки с увядшими цветами, да две клетки, в которых дремали насупившиеся канарейки.

Он глядел на ширмы и стоял боязливо, боясь идти туда.

— Кто там? — раздался слабый голос из-за ширм. Он вошел.

За ширмами, на постели, среди подушек, лежала, освещаемая темным светом маленького ночника, как восковая, молодая белокурая женщина. Взгляд был горяч, но сух, губы тоже жаркие и сухие. Она хотела повернуться, увидев его, сделала живое движение и схватилась рукой за грудь.

— Это ты, Борис, ты! — с нежной, томной радостью говорила она, протягивая ему обе исхудалые, бледные руки, глядела и не верила глазам своим.

Он бросился к ней и поцеловал обе руки.

— Ты в постели — и до сегодня не дала мне знать! — упрекал он.

Она старалась слабой рукой сжать его руку и не могла, опустила голову опять на подушку.

— Прости, что потревожила и теперь,— старалась она выговорить,— мне хотелось увидеть тебя. Я всего неделю, как слегла: грудь заболела...— Она вздохнула.

Он не слушал ее, с ужасом вглядываясь в ее лицо, недавно еще смеющееся. И что стало теперь с ней!

«Что с тобой?..» — хотел он сказать, не выдержал и, опустив лицо в подушку к ней, вдруг разразился рыданием.

— Что ты, что ты! — говорила она, лаская нежно рукой его голову: она была счастлива этими слезами.— Это ничего, доктор говорит, что пройдет...

Но он рыдал, он понимал, что не пройдет.

— Я думала, ты утешишь меня. Мне так было скучно одной и страшно...— Она вздрогнула и оглянулась около себя.— Книги твои все прочла, вон они, на стуле,— прибавила она.— Когда будешь пересматривать, увидишь там мои заметки карандашом; я подчеркивала все места, где находила сходство... как ты и я... любили... Ох, устала, не могу говорить...— Она остановилась, смочила языком горячие губы.— Дай мне пить, вон там, на столе!

Проглотив несколько капель, она указала ему место на подушке и сделала знак, чтоб он положил свою голову. Она положила ему руку на голову, а он украдкой утирал слезы.

— Тебе скучно здесь,— заговорила она слабо,— прости, что я призвала тебя... Как мне хорошо теперь, если б ты знал!— в мечтательном забытьи говорила она, закрыв глаза и перебирая рукой его волосы. Потом обняла его, поглядела ему в глаза, стараясь улыбнуться. Он молча и нежно отвечал на ее ласки, глотая навернувшиеся слезы.

— Ты посидишь со мною сегодня? — спросила она, глядя ему в глаза.

— Весь вечер, всю ночь; я не отойду от тебя, пока...

Слезы опять подступили, и он едва справился с ними.

— Нет, нет, зачем? Я не хочу, чтоб ты скучал... Ты успи, успокойся, со мной ничего, право, ничего...— Она хотела улыбнуться и не могла.

— Я что-то скажу тебе: ты не рассердишься?..

Он пожал ей влажную руку.

— Я схитрила... — шептала она, приложив свою щеку к его щеке,— мне вот уж третий день легче, а я написала, что умираю... мне хотелось заманить тебя... Прости меня!

Она улыбнулась, а он оцепенел от ужаса: он слыхал, что значит это «легче». Но он старался улыбнуться, судорожно сжал ей руки и с боязнью глядел то на нее, то вокруг себя.

Вдруг из света, из толпы веселых приятелей, художников, красавиц он попал как будто в склеп. Он сел подле постели и ушел в свою фантазию, где и раздолье молодой его жизни, и вдруг упавшее на него горе стояли как две противоположные картины. Большая, веселая комната, группа собеседников,

здоровых, поющих, говорящих шумно вокруг стола, за роскошным обедом, среди цветов, шипящих бокалов. Между собеседниками веселые лица женщин блестят красотой, наслаждением. Тут артистки музыки, балета, певцы, художники и золотая молодежь, красота, ум, таланты, юмор — вся солнечная сторона жизни! Вдруг он шагнул в ее мрачную тень: эта маленькая, бедная комната и в ней угасающая, подкошенная жизнь.

Там, у царицы пира, свежий, блистающий молодостью лоб и глаза, каскадом падающая на затылок и шею темная коса, высокая грудь и роскошные плечи. Здесь — эти впадшие, едва мерцающие, как искры, глаза, сухие, бесцветные волосы, осунувшиеся кости рук... Обе картины подавляли его ужасающими крайностями, между которыми лежала такая бездна, а между тем они стояли так близко друг к другу. В галерее их не поставили бы рядом: в жизни они сходились — и он смотрел одичалыми глазами на обе.

Его пронимала дрожь ужаса и скорби. Он, против воли, группировал фигуры, давал положение тому, другому, себе, добавлял, чего недоставало, исключал, что портило общий вид картины. И в то же время сам ужасался процесса своей беспощадной фантазии, хватался рукой за сердце, чтоб унять боль, согреть леденеющую от ужаса кровь, скрыть муку, которая готова была страшным воплем исторгнуться у него из груди при каждом ее болезненном стоне.

Эта любовь на смертном одре жгла его, как раскаленное железо; каждую ласку принимал он с рыданием, как сорванный с могилы цветок.

Когда умолкала боль и слышались только трудные вздохи Наташи, перед ним тихо развертывалась вся история этого теперь угасающего бытия. Он видел там ее когда-то молоденькой девочкой, с стыдливым, простодушным взглядом, живущей под слабым присмотром бедной, больной матери.

Он узнал Наташу в опасную минуту, когда ее неведению и невинности готовились сети. Матери, под видом участия и старой дружбы, выхлопотал поседевший мнимый друг пенсион, присылал доктора и каждый день приезжал, по вечерам, узнавать о здоровье, отечески горячо целовал дочь...

Между тем мать медленно умирала той же болезнью, от которой угасала теперь немногими годами пережившая ее дочь. Райский понял все и решился спасти дитя.

Спасая искренно и горячо от сетей «благодетеля», открывая глаза и матери и дочери на значение его благодеяний — он влюбился сам в Наташу, Наташа влюбилась в него — и оба нашли счастье друг в друге, оба у смертного одра матери получили на него благословение.

У обоих был один простой и честный образ семейного союза. Он уважал ее невинность, она ценила его сердце — оба протягивали руки к брачному венку и — оба... не устояли.

Полгода томилась мать на постели и умерла. Этот гроб, ставши между ими и браком — глубокий траур, вдруг облекший ее молодую жизнь, надломил и ее хрупкий, наследственно-болезненный организм, в котором, еще сильнее скорби и недуга, горела любовь и волновала нетерпением и жаждой счастья.

Доктора положили свой запрет на нетерпеливые желания. «Надо подождать,— говорили им,— три месяца, четыре». Брачный алтарь ждал, а любовь увлекла их вперед.

И он спас ее от старика, спас от бедности, но не спас от себя. Она полюбила его не страстью, а какою-то ничем не возмутимою, ничего не боящеюся любовью, без слез, без страданий, без жертв, потому что не понимала, что такое жертва, не понимала, как можно полюбить и опять не полюбить.

Для нее любить — значило дышать, жить, не любить — перестать дышать и жить. На вопросы его: «Любишь ли? Как?» — она, сжав ему крепко шею и стиснув зубы, по-детски отвечала: «Вот так!» А на вопрос: «Перестанешь ли любить?» — говорила задумчиво: «Когда умру, так перестану».

Она любила, ничего не требуя, ничего не желая, приняла друга, как он есть, и никогда не представляла себе, мог ли бы, или должен ли бы он быть иным? бывает ли другая любовь, или все так любят, как она?

А он мечтал о страсти, о ее бесконечно разнообразных видах, о всех сверкающих молниях, о всем зное сильной, пылкой, ревнивой любви, и тогда, когда они вошли в ее лето, в жаркую пору.

Наташа похорошела, пополнела, была весела, но ни разу на лице у ней не блеснул таинственный луч затаенного, сдержанного упоения, никогда — потерянного, безумного взгляда, которым выговаривается пожирающее душу пламя.

А между тем тут все было для счастья: для сердца открывался вечный, теплый приют. Для ума предстояла длинная, нескончаемая работа — развиваться, развивать ее, руководить, воспитывать молодой женский восприимчивый ум. Работа тоже творческая — творить на благодарной почве, творить для себя, создавать живой идеал собственного счастья.

Но фантазия требовала роскоши, тревог. Покой усыплял ее — и жизнь его как будто останавливалась. А она ничего этого не знала, не подозревала, какой змей гнездился в нем рядом с любовью.

С той минуты, как она полюбила, в глазах и улыбке ее засветился тихий рай: он светился два года и светился еще теперь из ее умирающих глаз. Похолодевшие губы шептали свое неизменное «люблю», рука повторяла привычную ласку.

Он иногда утомлялся, исчезал на месяцы и, возвращаясь, бывал встречаем опять той же улыбкой, тихим светом глаз, шепотом нежной, кроткой любви.

Он был уверен, что встретит это всегда, долго наслаждался

этой уверенностью, а потом в ней же нашел зерно скуки и начало разложения счастья.

Никогда — ни упрека, ни слезы, ни взгляда удивления или оскорбления за то, что он прежде был не тот, что завтра будет опять иной, чем сегодня, что она проводит дни оставленная, забытая, в страшном одиночестве.

У ней и в сердце, и в мысли не было упреков и слез, не срывались укоризны с языка. Она не подозревала, что можно сердиться, плакать, ревновать, желать, даже требовать чего-нибудь именем своих прав.

У ней было одно желание и право: любить. Она думала и верила, что так, а не иначе, надо любить и быть любимой и что весь мир так любит и любим.

На отлучки его она смотрела как на неприятное, случайное обстоятельство, как, например, на то, если б он заболел. А возвращался он,— она была кротко счастлива и полагала, что если его не было, то это так надо, это в порядке вещей.

Обида, зло падали в жизни на нее иногда и с других сторон: она бледнела от боли, от изумления, подкашивалась и бессознательно страдала, принимая зло покорно, не зная, что можно отдать обиду, заплатить злом.

Она привязывалась к тому, что нравилось ей, и умирала с привязанностью, все думая, что *так надо*.

Это был чистый, светлый образ, как Перуджиниевская [1] фигура, простодушно и бессознательно живший и любивший, с любовью пришедший в жизнь и с любовью отходящий от нее, да с кроткой и тихой молитвой.

Жизнь и любовь как будто пропели ей гимн, и она сладко задумалась, слушая его, и только слезы умиления и веры застывали на ее умирающем лице, без укоризны за зло, за боль, за страдания.

Умирала она частию от небрежного воспитания, от небрежного присмотра, от проведенного, в скудности и тесноте, болезненного детства, от попавшей в ее организм наследственной капли яда, развившегося в смертельный недуг, оттого, наконец, что все эти «так надо» хотя не встречали ни воплей, ни раздражения с ее стороны, а всё же ложились на слабую молодую грудь и подтачивали ее.

Она прожила бы до старости, не упрекнув ни жизнь, ни друга, ни его непостоянную любовь, и никого ни в чем, как не упрекает теперь никого и ничто за свою смерть. И ее болезненная, страдальческая жизнь, и преждевременная смерть казались ей — *так надо*.

Она никогда не искала смысла той апатии, скуки и молчания, с которыми друг ее иногда смотрел на нее, не дога-

---

[1] Перуджино (1445—1523) — итальянский художник, учитель Рафаэля.

дывалась об отжившей любви и не поняла бы никогда причин.

А он думал часто, сидя, как убитый, в злом молчании, около нее, не слушая ее простодушного лепета, не отвечая на кроткие ласки: «Нет — это не та женщина, которая, как сильная река, ворвется в жизнь, унесет все преграды, разольется по полям. Или, как огонь, осветит путь, вызовет силы, закалит их энергией и бросит трепет, жар, негу и страсть в каждый момент, в каждую мысль... направит жизнь, поможет угадать ее смысл, задачу и совершить ее. Где взять такую львицу? А этот ягненок нежно щиплет траву, обмахивается хвостом и жмется ко мне, как к матке... Нет, это растительная жизнь, не жизнь, а сон...»

Он широкой зевотой отвечал на ее лепет, ласки, брал шляпу и исчезал по неделям, по месяцам или в студию художника, или на те обеды и ужины, где охватывал его чад и шум.

Сидя теперь у одра, он мысленно читал историю Наташи и своей любви, и когда вся история тихо развилась и образ умирающей стал перед ним немым укором, он побледнел.

Он вспомнил свое забвение, небрежность,— других оскорблений быть не могло: сам дьявол упал бы на колени перед этим голубиным, нежным, безответным взглядом.

Он клял себя, что не отвечал целым океаном любви на отданную ему одному жизнь, что не окружил ее оградой нежности отца, брата, мужа, дал дохнуть на нее не только ветру, но и смерти.

«Смерть! Боже, дай ей жизнь и счастье и возьми у меня все!»— вопила в нем поздняя, отчаянная мольба. Он мысленно всходил на эшафот, сам клал голову на плаху и кричал:

— Я преступник!.. если не убил, то дал убить ее: я не хотел понять ее, искал ада и молний там, где был только тихий свет лампады и цветы. Что же я такое, боже мой! Злодей! Ужели я...

Он опять приникал лицом к ее подушке и мысленно молил не умирать, творил обеты счастья до самопожертвования.

«Поздно! Поздно!» — говорило ему отчаяние и ее трудные вздохи.

Он вспомнил, что когда она стала будто бы целью всей его жизни, когда он ткал узор счастья с ней,— он, как змей, убирался в ее цвета, окружал себя, как в картине, этим же тихим светом; увидев в ней искренность и нежность, из которых создано было ее нравственное существо, он был искренен, улыбался ее улыбкой, любовался с ней птичкой, цветком, радовался детски ее новому платью, шел с ней плакать на могилу матери и подруги, потому что плакала она, сажал цветы...

И вспомнил он, что любовался птичкой, сажал цветы и плакал — искренно, как и она. Куда же делись эти слезы, улыбки, наивные радости, и зачем опошлились они, и зачем она не нужна для него теперь?..

— О чем ты думаешь? — раздался слабый голос у него над ухом.— Дай еще пить... Да не гляди на меня,— продолжала она, напившись,— я стала ни на что не похожа! Дай мне гребенку и чепчик, я надену. А то ты... разлюбишь меня, что я такая... гадкая!..

Она думала, что он еще не разлюбил ее! Он подал ей гребенку, маленький чепчик; она хотела причесаться, но рука с гребенкой упала на колени.

— Не могу, устала! — сказала она и печально задумалась.

А его резали ножи, голова у него горела. Он вскочил и ходил с своей картиной в голове по комнате, бросаясь почти в исступлении во все углы, не помня себя, не зная, что он делает. Он вышел к хозяйке, спросил, ходил ли доктор, которому он поручил ее.

Та сказала, что ходил и привозил с собой других, что она переплатила им вот столько-то. «У меня записано»,— прибавила она.

— Что ж те? — спросил он.

— Известно что: смотрели ее, слушали ее грудь, выходили в другую комнату, молча пожимали плечами и, сжав в кулак сунутую ассигнацию, застегивали фрак и проворно исчезали.

Райский, цепенея от ужаса, выслушал этот краткий отчет и опять шел к постели. Оживленный пир с друзьями, артисты, певцы, хмельное веселье — все это пропало вместе со всякой надеждой продлить эту жизнь.

Перед ним было только это угасающее лицо, страдающее без жалобы, с улыбкой любви и покорности; это, не просящее ничего, ни защиты, ни даже немножко сил, существо!

А он стоял тут, полный здоровья и этой силы, которую расточал еще сегодня, где не нужно ее, и бросил эту птичку на долю бурь и непогод!

Зачем не приковал он себя тут, зачем уходил, когда привык к ее красоте, когда оттиск этой когда-то милой, нежной головки стал бледнеть в его фантазии? Зачем, когда туда стали тесниться другие образы, он не перетерпел, не воздержался, не остался верен ему?

Это был не подвиг, а долг. Без жертв, без усилий и лишений нельзя жить на свете: «Жизнь — не сад, в котором растут только одни цветы»,— поздно думал он и вспомнил картину Рубенса «Сад любви», где под деревьями попарно сидят изящные господа и прекрасные госпожи, а около них порхают амуры.

— Лжец! — обозвал он Рубенса.— Зачем, вперемежку с любовниками, не насажал он в саду нищих в рубище и умирающих больных: это было бы верно!.. А мог ли бы я? — спросил он себя. Что бы было, если б он принудил себя жить с нею и для нее? Сон, апатия и лютейший враг — скука! Явилась в готовой

фантазии длинная перспектива этой жизни, картина этого сна, апатии, скуки: он видел там себя, как он был мрачен, жосток, сух и как, может быть, еще скорее свел бы ее в могилу. Он с отчаянием махнул рукой.

— Можно удержаться от бешенства,— оправдывал он себя,— но от апатии не удержишься, скуку не утаишь, хоть подвинь всю свою волю на это! А это убило бы ее: с летами она догадалась бы... Да, с летами, а потом примирилась бы, привыкла, утешилась — и жила! А теперь умирает, и в жизни его вдруг ложится неожиданная и быстрая драма, целая трагедия, глубокий, психологический роман.

— Поди сюда, посиди со мной! — раздался голос Наташи, прервавший его мысли.

Через неделю после того он шел с поникшей головой за гробом Наташи, то читая себе проклятия за то, что разлюбил ее скоро, забывал подолгу и почасту, не берег, то утешаясь тем, что он не властен был в своей любви, что сознательно он никогда не огорчил ее, был с нею нежен, внимателен, что, наконец, не в нем, а в ней недоставало материала, чтоб поддержать неугасимое пламя, что она уснула в своей любви и уже никогда не выходила из тихого сна, не будила и его, что в ней не было признака страсти, этого бича, которым подгоняется жизнь, от которой рождается благотворная сила, производительный труд...

«Нет, нет,— она не то, она— голубь, а не женщина!» — думал он, заливаясь слезами и глядя на тихо качающийся гроб.

Он задумчиво стоял в церкви, смотрел на вибрацию воздуха от теплящихся свеч и на небольшую кучку провожатых: впереди всех стоял какой-то толстый, высокий господин, родственник, и равнодушно нюхал табак. Рядом с ним виднелось расплывшееся и раскрасневшееся от слез лицо тетки, там кучка детей и несколько убогих старух.

У гроба на полу стояла на коленях после всех пришедшая и более всех пораженная смертью Наташи ее подруга: волосы у ней были не причесаны, она дико осматривалась вокруг, потом глядела на лицо умершей и, положив голову на пол, судорожно рыдала...

Он медленно ушел домой и две недели ходил убитый, молчаливый, не заглядывал в студию, не видался с приятелями и бродил по уединенным улицам. Горе укладывалось, слезы иссякли, острая боль затихла, и в голове только оставалась вибрация воздуха от свеч, тихое пение, расплывшееся от слез лицо тетки и безмолвный, судорожный плач подруги...»

Здесь кончилась рукопись.

Райский, окончив чтение, сидел несколько времени угрюмый, задумчивый.

— Бледен этот очерк! — сказал он про себя,— так теперь

не пишут. Эта наивность достойна эпохи «Бедной Лизы» [1]. И портрет ее (он подошел к мольберту) — не портрет, а чуть подмалеванный эскиз.

— Бедная Наташа! — со вздохом отнесся он, наконец, к ее памяти, глядя на эскиз. — Ты и живая была так же бледно окрашена в цвета жизни, как и на полотне моей кистью, и на бумаге пером! Надо переделать и то, и другое! — заключил он.

Потом со вздохом спрятал тетрадь, взял кучку белых листков и начал набрасывать программу нового своего романа.

Эпизод, обратившийся в воспоминание, представлялся ему чужим событием. Он смотрел на него объективно и внес на первый план в своей программе.

Он прописал до света, возвращался к тетрадям не один раз во дню, приходя домой вечером, опять садился к столу и записывал, что снилось ему в перспективе.

Сцены, характеры, портреты родных, знакомых, друзей, женщин переделывались у него в типы, и он исписал целую тетрадь, носил с собой записную книжку, и часто в толпе, на вечере, за обедом вынимал клочок бумаги, карандаш, чертил несколько слов, прятал, вынимал опять и записывал, задумываясь, забываясь, останавливаясь на полуслове, удаляясь внезапно из толпы в уединение.

Между тем жизнь будила и отрывала его от творческих снов и звала, от художественных наслаждений и мук, к живым наслаждениям и реальным горестям, среди которых самою лютою была для него скука. Он бросался от ощущения к ощущению, ловил явления, берег и задерживал почти силою впечатления, требуя пищи не одному воображению, но все чего-то ища, желая, пробуя на чем-то остановиться...

Теперь он возложил какие-то, еще неясные ему самому, надежды на кузину Беловодову, наслаждаясь сближением с ней. Ему пока ничего не хотелось больше, как видеть ее чаще, говорить, пробуждать в ней жизнь, если можно — страсть.

Но она была неприступна. Он стал уставать, начала пробиваться скука...

XVI

Прошел май. Надо было уехать куда-нибудь, спасаться от полярного петербургского лета. Но куда? Райскому было все равно. Он делал разные проекты, не останавливаясь ни на одном: хотел съездить в Финляндию, но отложил и решил поселиться в уединении на Парголовских озерах, писать роман. Отложил и это и собрался не шутя с Па́хотиными в рязанское имение. Но они изменили намерение и остались в городе.

---

[1] «Бедная Лиза» — сентиментальная повесть Н. М. Карамзина (1766—1826).

Общая летняя эмиграция увлекла было за границу и его, как вдруг дело решилось неожиданно иначе.

Однажды, воротясь домой, он нашел у себя два письма, одно от Татьяны Марковны Бережковой, другое от университетского товарища своего, учителя гимназии на родине его, Леонтья Козлова.

Сначала бабушка писывала к нему часто, присылала счеты: он на письма отвечал коротко, с любовью и лаской к горячо любимой старушке, долго заменявшей ему мать, а счеты рвал и бросал под стол.

Потом она стала писать реже, жалуясь на старость, слепоту и на заботы по воспитанию внучек. Как он обрадовался, увидя ее почерк, крупный, четкий, решительный!

«...Не грех ли тебе, Борис Павлович,— писала она между прочим,— забывать меня, старуху? У тебя ведь только и родни, что я. Видно, нынче, в новые времена, старухи стали лишние на свете: так рассуждает молодость. А мне и умереть нельзя: у меня на руках две внучки, давно невесты. Пока не пристрою их, буду молить бога продлить мне веку, а там — его святая воля!

Я не сетую на тебя, что забываешь меня: но если — сохрани боже — меня не станет, девочки мои, твои сестры, хоть и не родные, останутся одни. Ты их ближний родственник и покровитель. Подумай также и об имении: я становлюсь стара и приказчицей твоей долго не буду: на кого ты покинешь свое добро? Растащат все, и не останется ничего. Ужели береженое добро прахом пойдет? У меня сердце замирает, как подумаешь, что твое фамильное серебро, бронза, картины, бриллианты и кружева, фарфор, хрусталь — все разойдется по рукам челяди, перейдет к жидам, ростовщикам, сплывет по Волге, на ярмарку, и пропадет ни за что! Пока бабушка жива, будь покоен, ни нитки не пропадет, а после понадеяться не на кого. Две внучки — что они? Вера добрая и умная, да дикая нелюдимка, не входит ни во что. Марфенька будет примерная хозяйка, да молода; нужды нет, что замуж давно пора, а понятия у ней детские — и слава богу! Успеет созреть, как опыт придет, а я ее берегу, и она это ценит и из воли бабушки не выходит, за что наградит ее господь. По дому она мне помощница, а до имения я ее не допускаю: не девичье дело! У меня теперь в дворне есть серьезный мужик, Савельем зовут: сама я становлюсь слаба, он по деревне, а Яков да Василиса по дому у меня все нужные дела делают.

Не откладывай же и порадуй бабушку приездом: она тебе близка — не по родству только, а и по сердцу: ты, будучи молод, это чувствовал,— не знаю, каков стал в зрелых летах, а был добрым внуком. Приезжай хоть на сестер посмотреть; а может быть, тебе выпадет и счастье... Хотела смолчать до приезда, да по бабьей привычке не утерплю. К нам из Москвы

переселился Мамыкин, откупщик: у него дочь невеста, одна, больше детей нет. Вот если б бог благословил меня дождаться такой радости: женить тебя и сдать имение с рук на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза. Женись, Борюшка, ты уж давно в летах, тогда и девочки мои не останутся после меня бездомными сиротами. Ты будешь им братом, защитником, а жена твоя доброй сестрой. При тебе, пока ты холост, им жить нельзя — женись, угоди бабушке, и бог не оставит тебя!

Буду ждать ответа: напиши наперед, я велю тебе очистить и убрать три комнаты внизу, а Марфеньку запрячу в светелку: ты хозяин!

Тит Никоныч тебе кланяется: он постарел, но еще молодец. Улыбка такая же, и все так же умно говорит и приятно кланяется: молодых франтов за пояс заткнет. Привези, пожалуйста, друг мой, замшевую фуфайку и панталоны: говорят, нынче от ревматизмов носят. Я бы ему сюрприз сделала.

Посылаю счеты за последние два года. Прими мое благословение и т. д.

Татьяна Бережкова».

— Бабушка! — с радостью воскликнул Райский. — Боже мой! она зовет меня: еду, еду! Ведь там тишина, здоровый воздух, здоровая пища, ласки доброй, нежной, умной женщины; и еще две сестры, два новых, неизвестных мне и в то же время близких лица... «барышни в провинции! немного страшно: может быть, уроды!» — успел он подумать поморщась... — Однако еду: это судьба посылает меня... А если там скука?

Он испугался и потом опять успокоился.

— Сейчас же еду прочь, при первой зевоте! — утешился он. — Еду, еду, там и Леонтий, Леонтий! — произнес Райский и рассмеялся, вспомнив этого Леонтия. Что он пишет?

«Вчера я нечаянно, и сам не знаю как, забрел в твои местности, — писал Леонтий, — должно быть, по рассеянности (за мной, ты знаешь, есть этот грех) попал не в тот переулок, спустился под гору и когда поднялся, то узнал, что очутился в саду твоей бабушки, и хотел идти назад. Но Татьяна Марковна увидала меня из окна и, приняв сначала в сумерки за вора, спустила было собак и людей, а узнавши, что это я, зазвала к себе, обласкала, накормила до отвала ужином, хотела даже спать укладывать, а пуще всего разбранила, что редко бываю, и велела непременно написать к тебе, уговаривать приехать сюда. Имение, говорит она, поверить, и если поселишься здесь, то принять его из рук в руки — и жениться.

Признаться, любезный мой друг, Борис Павлович, я и сам хотел писать, да духу не хватило, а почему — скажу ниже. Имение — пустой предлог: бабушке хочется повидаться с тобой, и она не знает, чем заманить. Лучше ее не управишь. Но это в сторону: я затрудняюсь, не знаю, как коснуться главного

предмета, который требует твоего немедленного прибытия, потом строжайшего суда и кары виновных. Я говорю о твоей библиотеке.

Послушай — ты любишь меня, я знаю. В школе и в университете ты лучше всех был со мною: ты меня ободрял, бывало, читывал со мною вместе, любил меня и помогал иногда, платил хозяйке... белье тоже... (Райский быстро пропустил эту строку), не дразнил, не играл «штук» со мной, не бил — или бил самую малость: оттаскал за волосы всего каких-нибудь два раза, тогда как другие... Но бог с ними, с повесами! Они тоже не со зла, а так, от праздности и вертопрашества! Итак, именем этой дружбы, прошу тебя, не сердись... или нет, бей, оттаскай еще третий раз, но выслушай. Помнишь старые готские издания классиков (да как не помнить!) в драгоценных переплетах? Ты, бывало, сам любовался на них. Помнишь старого Шекспира, текст пополам с комментариями? Помнишь... французских энциклопедистов в пергаменте, первоначальные издания? Помнишь... (конечно, помнишь — лучше бы ты забыл!) вот каталог, мной составленный: против этих изданий я поставил, как на могилах, черные кресты! Слушай и бей меня: творения св. отцов целы, весь богословский отдел остался неприкосновенным; Платон, Фукидид — и другие историки и поэты тоже уцелели. А Спиноза, Маккиавелли и еще увражей полсотни из прочих отделов перепорчены... конечно, по моей слабости, трусости и проклятой доверчивости.

Кто же, спросишь ты, этот Омар? [1] — Марк Волохов, зовут его: для него нет ничего святого в мире. Дай ему хоть эльзевира [2], он и оттуда выдерет листы. У него, как я с ужасом узнал, к сожалению поздно, есть скверная привычка: когда он читает книгу, то из прочитанного вырывает листик и закуривает сигару или сделает из него трубочку и чистит ею ногти или уши. Я точно сквозь сон замечал, что книги возвращаются от него как будто тоньше, нежели были прежде, но долго не догадывался, отчего, пока он не сделал это, сидя у меня. Как путный, взял Аристофана — где греческий текст напечатан с французским переводом — да тут же, при мне, вдруг сзади и вырвал страницу — я даже мигнуть не успел. Этот Волохов — чудо нашего города. Его здесь никто не любит и все боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его, да и не бояться не могу. Он то фуражку дорогой снимет с меня и наслаждается, если я не замечу, то ночью застучит в окна. Зато иногда вдруг принесет бутылку отличного вина или с огорода притащит (он у огородника на квартире живет) целый воз овощей. Он прислан сюда

---

[1] Арабский завоеватель (VII в.), по преданию велел сжечь знаменитую библиотеку в Александрии.

[2] Образцовое издание книги (от фамилии знаменитых голландских типографов-издателей — XVI—XVII вв.).

на житье, под присмотр полиции, и с тех пор город — нельзя сказать, чтоб был в безопасности.

Ради бога, не передай ему этой моей рекомендации о нем. Он непременно сделает штуку и со мной, и с тобой, пожалуй. Я по поводу попорченных книг потребовал было объяснений, но он мне такое лицо сделал, что я не решился продолжать. Он говорит, что был в одно время с нами в университете, только не по одному факультету. Кажется, врет.

Здесь известно, что он служил в Петербурге в полку, и тоже не ужился, переведен был куда-то внутрь России, вышел в отставку, жил в Москве, попал в какую-то историю — и вот теперь прислан сюда, как я сказал, под присмотр полиции. С ней он в вечной вражде. Нил Андреич, Татьяна Марковна слышать о нем не могут. Но довольно о нем! Приезжай, сам увидишь, каков он. Теперь я сбыл тяжесть признанием, и у меня легче на душе. После этого не так страшно встретить тебя.

Приезжай, Борис, друг мой, повидаться с бабушкой: если б ты видел, как она любит тебя, как бережет твое имение, не так, как я библиотеку! Какие у тебя красавицы сестры, Вера и Марфа Васильевны! Как тебя все это ждет, какой у тебя сад, какие виды на Волгу!.. Если б ты все это знал, ты бы не мешкал ни минуты и приехал: приехал бы принять от Татьяны Марковны имение, а от меня библиотеку,— приехал бы наказать и обнять виновного, но любящего тебя товарища и друга,

Леонтия Козлова.

Жена моя тебе кланяется и велит сказать, что она любит тебя по-прежнему, а когда приедешь, полюбит еще больше».

Райский почти со слезами читал это длинное послание и вспоминал чудака Леонтья, его библиоманию, и смеялся его тревогам насчет библиотеки. «Подарю ее ему»,— подумал он.

«Леонтий, бабушка! — мечтал он,— красавицы троюродные сестры, Верочка и Марфенька! Волга с прибрежьем, дремлющая, блаженная тишь, где не живут, а растут люди и тихо вянут, где ни бурных страстей с тонкими, ядовитыми наслаждениями, ни мучительных вопросов, никакого движения мысли, воли — там я сосредоточусь, разберу материалы и напишу роман. Теперь только закончу как-нибудь портрет Софьи, распрощаюсь с ней — и dahin, dahin! [1]»

XVII

Райский с раннего утра сидит за портретом Софьи, и не первое утро сидит он так. Он измучен этой работой. Посмотрит на портрет и вдруг с досадой набросит на него занавеску и пой-

---

[1] Туда, туда! *(нем.)*

дет шагать по комнате, остановится у окна, посвистит, побарабанит пальцами по стеклам, иногда уйдет со двора и бродит угрюмый, недовольный.

Наутро опять та же история, то же недовольство и озлобление. А иногда сидит, сидит и вдруг схватит палитру и живо примется подмазывать кое-где, подтушевывать, остановится, посмотрит и задумается. Потом покачает головой отрицательно, вздохнет и бросит палитру.

А портрет похож как две капли воды. Софья такая, какою все видят и знают ее: невозмутимая, сияющая. Та же гармония в чертах; ее возвышенный белый лоб, открытый, невинный, как у девушки, взгляд, гордая шея и спящая сном покоя высокая, пышная грудь.

Она — вся она, а он недоволен, терзается художническими болями! Он вызвал жизнь в подлиннике, внес огонь во тьму, у ней явились волнения, признаки новой жизни, а в портрете этого нет!

«Что это Кирилов нейдет? а обещал. Может быть, он навел бы на мысль, что надо сделать, чтоб из богини вышла женщина»,— подумал он.

И опять задумался, с палитрою на пальце, с поникшей головой, с мучительной жаждой овладеть тайной искусства, создать на полотне ту Софью, какая снится ему теперь.

Он вспомнил ее волнение, умоляющий голос оставить ее, уйти; как она хотела призвать на помощь гордость и не могла; как хотела отнять руку и не отняла из его руки, как не смогла одолеть себя... Как она была тогда не похожа на этот портрет!

Он видел, что заронил в нее сомнения, что эти сомнения — гамлетовские. Он читал их у ней в сердце: «В самом ли деле я живу так, как нужно? Не жертвую ли я чем-нибудь живым, человеческим, этой мертвой гордости моего рода и круга, этим приличиям? Ведь надо сознаться, что мне иногда бывает скучно с тетками, с папа́ и с Catherine... Один только cousin Райский...»

У Райского сердце забилось, когда он довел мечту Софьи до себя.

Он уже не видит портрета, а видит что-то другое. Глаза, как у лунатика, широко открыты, не мигнут; они глядят куда-то и видят живую Софью, как она одна дома мечтает о нем, погруженная в задумчивость, не замечает, где сидит, или идет без цели по комнате, останавливается, будто внезапно пораженная каким-то новым лучом мысли, подходит к окну, открывает портьеру и погружает любопытный взгляд в улицу, в живой поток голов и лиц, зорко следит за общественным круговоротом, не дичится этого шума, не гнушается грубой толпы, как будто и она стала ее частью, будто понимает, куда так торопливо бежит какой-то господин, с боязнью опоздать; она уже, кажется,

знает, что это чиновник, продающий за триста — четыреста рублей в год две трети жизни, кровь, мозг, нервы.

Ей жаль мужика, который едва тащит мешок на спине. Она догадывается, что вон эта женщина торопится с узлом заложить последний салоп, чтоб заплатить за квартиру и т. д. Всякого и всякую провожает задумчиво-заботливый взгляд Софьи.

Она долго глядит на эту жизнь, и, кажется, понимает ее, и нехотя отходит от окна, забыв опустить занавес. Она берет книгу, развертывает страницу и опять погружается в мысль о том, как живут другие.

Красота ее осмысленна, глаза не глядят беззаботно и светло, а думают. В них тревога за этих «других», бегающих по улице, скорбящих, нуждающихся, трудящихся и вопиющих.

Она вдруг почувствовала, что она не жила, а росла и прозябала. Ее мучит жажда этой жизни, ее живых симпатий и скорбей, труда, но прежде симпатий.

Книга выпадает из рук на пол. Софья не заботится поднять ее; она рассеянно берет цветок из вазы, не замечая, что прочие цветы раскинулись прихотливо и некоторые выпали.

Она нюхает цветок и, погруженная в себя, рассеянно ощипывает листья губами и тихо идет, не сознавая почти, что делает, к роялю, садится боком, небрежно, на табурет и одной рукой берет задумчивые аккорды и все думает, думает...

Потом тихо, чуть-чуть, как дух, произнесла чье-то имя и вздрогнула, робко оглянулась и закрыла лицо руками и так осталась.

В комнате никого, только в незакрытое занавесом окно ворвались лучи солнца и вольно гуляют по зеркалам, дробятся на граненом хрустале. Раскрытая книга валяется на полу, у ног ее ощипанные листья цветка...

Он схватил кисть и жадными, широкими глазами глядел на ту Софью, какую видел в эту минуту в голове, и долго, с улыбкой мешал краски на палитре, несколько раз готовился дотронуться до полотна и в нерешительности останавливался, наконец провел кистью по глазам, потушевал, открыл немного веки. Взгляд у ней стал шире, но был все еще покоен.

Он тихо, почти машинально, опять коснулся глаз: они стали более жизненны, говорящи, но еще холодны. Он долго водил кистью около глаз, опять задумчиво мешал краски и провел в глазу какую-то черту, поставил нечаянно точку, как учитель некогда в школе поставил на его безжизненном рисунке, потом сделал что-то, чего и сам объяснить не мог, в другом глазу... И вдруг сам замер от искры, какая блеснула ему из них.

Он отошел, посмотрел и обомлел: глаза бросили сноп лучей прямо на него, но выражение все было строго.

Он бессознательно, почти случайно, чуть-чуть изменил линию губ, провел легкий штрих по верхней губе, смягчил какую-то тень, и опять отошел, посмотрел:

— Она, она! — говорил он, едва дыша,— нынешняя, настоящая Софья!

Он услышал сзади себя шаги и с живостью обернулся: пришел Аянов.

— Иван Иваныч! — торжественно сказал Райский,— как я рад, что ты пришел! Смотри — она, она? Говори же?

— Постой, дай посмотреть.

Иван Иванович долго смотрел. Райский ждал с нетерпением.

— Кто это? — флегматически спросил Аянов.

Райский остолбенел.

— Ты не узнал Софью? — спросил он, едва приходя в себя от изумления.

— Как, Софья Николаевна? Может ли быть? — говорил Аянов, глядя во все широкие глаза на портрет.— Ведь у тебя был другой: тот, кажется, лучше: где он?

Райский с досадой, почти с презрением, махнул рукой.

— Все тот же! — заметил он,— я только переделал. Как ты не видишь,— напустился он на Аянова,— что тот был без жизни, без огня, сонный, вялый, а этот!..

— Воля твоя, тот был больше похож! — упрямо возражал Аянов,— а этот... она тут как будто пьяна.

— Сам ты пьян! Поди прочь!

— Я ведь не знаю толку,— равнодушно отозвался Аянов.

Райский, не отвечая ему, сердито подмалевывал волосы, бархат на портрете.

Чрез четверть часа пришел Кирилов. Это был маленький, сухощавый человечек, весь спрятавшийся в бакенбарды, усы и бороду. Тела почти совсем было не видно, только впалые глаза неестественно блестели да нос вдруг резким горбом выходил из чащи, а концом опять упирался в волосы, за которыми не видать было ни щек, ни подбородка, ни губ. Шея крылась тоже под бородой, а все остальное туловище, точно в мешок, было завернуто в широкое, складками висевшее пальто, из-под которого выглядывали полы другого пальто или сюртука, покрытые пятнами масляных красок. На ногах была какая-то мягко шаркавшая при походке обувь, шляпа истертая, с лоском, с покривившимся боком.

Глядя на эти задумчивые, сосредоточенные и горячие взгляды, на это, как будто уснувшее, под непроницаемым покровом волос, суровое, неподвижное лицо, особенно когда он, с палитрой пред мольбертом, в своей темной артистической келье, вонзит дикий и острый, как гвоздь, взгляд в лик изображаемого им святого, не подумаешь, что это вольный, как птица, художник мира, ищущий светлых сторон жизни, а примешь его самого за мученика, за монаха искусства, возненавидевшего радости и понявшего только скорби. Таков он, кажется, и был.

Он молча, медленно и глубоко погрузился в портрет. Райский

с беспокойством следил за выражением его лица. Кирилов в первое мгновение с изумлением остановил глаза на лице портрета и долго покоил, казалось, одобрительный взгляд на глазах; морщины у него разгладились. Он как будто видел приятный сон.

Потом вдруг точно проснулся; не радостное, а печальное изумление медленно разлилось по лицу, лоб наморщился. Он отвернулся, положил шляпу на стол, достал папироску и стал закуривать.

— Что же вы? — спросил Райский.

— За этим-то вы меня звали? — спросил Кирилов.

— А что?

— Прощайте: я пойду домой...

— Постойте, скажите что-нибудь.

— Что говорить: пустое!

— Ну, да, у вас чуть из облаков спустишься — так пустое! — возразил обиженный Райский.— Ах, вы, мертвецы! Вы прежде во мне признавали дарование, Семен Семеныч...

— Что вам повторять? я уж говорил! — Он вздохнул.— Если будете этим путем идти, тратить себя на модные вывески...

— Модные вывески! Знаете ли вы, кто это?

— Кто? — повторил Кирилов, бегло взглянув на портрет.— Какая-нибудь актриса...

— Что вы, точно оба с ума сошли! Тот видит пьяную женщину, этот актрису! Что с вами толковать!

Райский стал закрывать портрет.

— Повезу его к ней: сам оригинал оценит лучше. Семен Семеныч! от вас я надеялся хоть приветливого слова: вы, бывало, во всяком моем труде находили что-нибудь, хоть искру жизни...

— И здесь искра есть! — сказал Кирилов, указывая на глаза, на губы, на высокий белый лоб.— Это превосходно, это... Я не знаю подлинника, а вижу, что здесь есть правда. Это стоит высокой картины и высокого сюжета. А вы дали эти глаза, эту страсть, теплоту какой-нибудь вертушке, кукле, кокетке!

— Нет, Семен Семеныч, выше этого сюжета не может выбрать живописец. Это не вертушка, не кокетка: она достойна была бы вашей кисти: это идеал строгой чистоты, гордости; это богиня, хоть олимпийская... но она в вашем роде, то есть — не от мира сего!

— Это бы лицо да с молитвенным, напряженным взглядом, без этого страстного вожделения!.. Послушайте, Борис Павлыч, переделайте портрет в картину; бросьте ваш свет, глупости, волокитства... завесьте окна да закупорьтесь месяца на три, на четыре...

— Зачем?

— Сделайте молящуюся фигуру! — сморщившись, говорил Кирилов, так что и нос ушел у него в бороду и все лицо казалось щеткой.— Долой этот бархат, шелк! поставьте ее на колени, просто на камне, набросьте ей на плечи грубую мантию, сложите руки на груди... Вот здесь, здесь,— он пальцем чертил около щек,— меньше свету, долой это мясо, смягчите глаза, накройте немного веки... и тогда сами станете на колени и будете молиться...

— Нет, Семен Семеныч, я не хочу в монастырь; я хочу жизни, света и радости. Я без людей никуда, ни шагу; я поклоняюсь красоте, люблю ее,— он нежно взглянул на портрет,— телом и душой и, признаюсь...— он комически вздохнул,— больше телом...

Кирилов махнул рукой и начал ходить по комнате.

— В вас погибает талант; вы не выбьетесь, не выйдете на широкую дорогу. У вас недостает упорства, есть страстность, да страсти, терпенья нет! Вот и тут, смотрите, руки только что намечены, и неверно, плечи несоразмерны, а вы уж завертываете, бежите показывать, хвастаться...

— Не в мазанье дело, Семен Семеныч! — возразил Райский.— Сами же вы сказали, что в глазах, в лице есть правда; и я чувствую,что поймал тайну.Что ж за дело до волос, до рук?..

— Полноте, полноте лукавить! — перебил Кирилов,— не умеете делать рук, а поучиться — терпенья нет! Ведь если вытянуть эту руку, она будет короче другой; уродец, в сущности, ваша красавица! Вы все шутите, а ни жизнью, ни искусством шутить нельзя. То и другое строго: оттого немного на свете и людей и художников...

Он вздохнул, и лицо глубже ушло в волосы.

— Что ж, по-вашему, спрятаться от жизни, от людей, нахмуриться, не улыбнуться никогда и...

— Да, не погневайтесь! — перебил Кирилов.— Если хотите в искусстве чего-нибудь прочнее сладеньких улыбок да пухлых плеч или почище задних дворов и пьяного мужичья, так бросьте красавиц и пирушки, а будьте трезвы, работайте до тумана, до обморока в голове; надо падать и вставать, умирать с отчаяния и опять понемногу оживать, вскакивать ночью...

— Я делаю это... почти...— сказал Райский,— вскакиваю с постели, иногда плачу, дохожу до безумия...

— Все вы сумасшедшие, как погляжу! — равнодушно заметил Аянов.

— Да, вскакиваете, чтоб мазнуть вашу вот эту «правду»,— он указал на открытое плечо Софьи.— Нет, вы встаньте ночью, да эту же фигуру начертите раз десять, пока будет верно. Вот вам задача на две недели: я приду и посмотрю. А теперь прощайте.

— Постойте, учитель, постойте! — останавливал Райский.

— Пустите! Нет у вас уважения к искусству,— говорил Кирилов,— нет уважения к самому себе. Общество художников — это орден братства, все равно что масонский орден: он рассеян по всему миру, и все идут к одной цели. Художники сродни «каменщикам» [1]. Вспомните Хирама и его тайну. Да, вот что! Нельзя наслаждаться жизнию, шалить, ездить в гости, танцевать и, между прочим, сочинять, рисовать, чертить и ваять. Нет,— горячо и почти грубо напал он на Райского,— бросьте эти конфекты и подите в монахи, как вы сами удачно выразились, и отдайте искусству все, молитесь и поститесь, будьте мудры и, вместе, просты, как змеи и голуби, и что бы ни делалось около вас, куда бы ни увлекала жизнь, в какую яму ни падали, помните и исповедуйте одно учение, чувствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть — к искусству! Пусть вас клянут, презирают во имя его — идите: тогда только призвание и служение совершатся, и тогда будет «многа ваша мзда», то есть бессмертие. А вам недостает мужества, силы нет, и недостает еще бедности. Отдайте ваше имение нищим и идите вслед за спасительным светом творчества. Где вам! вы — барин, вы родились не в яслях искусства, а в шелку, в бархате. А искусство не любит бар... оно тоже избирает «худородных»... Закройте эту бесстыдницу или переделайте ее в блудницу у ног Христа. Прощайте. Через две недели зайду посмотреть.

Он бросил папироску в песочницу, схватил шляпу и исчез прежде, нежели Райский успел остановить его.

— Каков! — сказал Аянов.— Чудак! Он, в самом деле, не в монахи ли собирается? Шляпа продавлена, весь в масляных пятнах, нищ, ободран. Сущий мученик! Не пьет ли он?

— Кроме воды ничего.

— Ну, так удавится или с ума сойдет.

Райский глубоко вздохнул.

— Да,— сказал он,— это один из последних могикан: истинный, цельный, но не нужный более художник. Искусство сходит с этих высоких ступеней в людскую толпу, то есть в жизнь. Так и надо! Что он проповедует: это изувер!

Однако, продолжая сравнение Кирилова, он мысленно сравнил себя с тем юношей, которому неудобно было войти в царствие небесное. Он задумчиво ходил взад и вперед по комнате.

Уныние поглотило его: у него на сердце стояли слезы. Он в эту минуту непритворно готов был бросить все, уйти в пустыню, надеть изношенное платье, есть одно блюдо, как Кирилов, завеситься от жизни, как Софья, и мазать, мазать до упаду, переделать Софью в блудницу.

---

[1] То есть масонам. Организационная форма масонства была заимствована из обихода средневековых цеховых объединений каменщиков.

Он даже быстро схватил новый натянутый холст, поставил на мольберт и начал мелом крупно чертить молящуюся фигуру. Он вытянул у ней руку и задорно, с яростью, выделывал пальцы; сотрет, опять начертит, опять сотрет — все не выходит!

Его стало грызть нетерпение, которое, при первом неудачном чертеже, перешло в озлобление. Он стер, опять начал чертить медленно, проводя густые, яркие черты, как будто хотел продавить холст. Уже то отчаяние, о котором говорил Кирилов, начало сменять озлобление.

Он положил мел, отер пальцы о волосы и подошел к портрету Софьи.

«Переделать портрет,— думал он.— Прав ли Кирилов? Вся цель моя, задача, идея — красота! Я охвачен ею и хочу воплотить этот, овладевший мною, сияющий образ: если я поймал эту «правду» красоты — чего еще? Нет, Кирилов ищет красоту в небе, он аскет: я — на земле... Покажу портрет Софье: что она скажет? А потом уже переделаю... только не в блудницу!»

Он засмеялся, подумав, что сказала бы Софья, если б узнала эту мысль Кирилова? Он мало-помалу успокоился, любуясь «правдой» на портрете, и возвратился к прежним, вольным мечтам, вольному искусству и вольному труду. Тщательно оберегая портрет, он повез его к Софье.

XVIII

Райский верил и не верил, что увидит ее и как и что будет говорить.

«Как тут закипает! — думал он, трогая себя за грудь.— О! быть буре, и дай бог бурю! Сегодня решительный день, сегодня тайна должна выйти наружу, и я узнаю... любит ли она, или нет? Если да, жизнь моя... *наша* должна измениться, я не еду... или, нет, *мы* едем туда, к бабушке, в уголок, оба...»

Он развернул портрет, поставил его в гостиной на кресло и тихо пошел по анфиладе к комнатам Софьи. Ему сказали внизу, что она была одна: тетки уехали к обедне.

Он, держась за сердце, как будто унимая, чтоб оно не билось, шел на цыпочках. Ему все снились разбросанные цветы, поднятый занавес, дерзкие лучи, играющие на хрустале. Он тихо подкрался и увидел Софью.

Она сидит, опершись локтями на стол, положив лицо в ладони, и мечтает, дремлет или... плачет. Она в неглиже, не затянута в латы негнущегося платья, без кружев, без браслет, даже не причесана; волосы небрежно, кучей лежат в сетке; блуза стелется по плечам и падает широкими складками у ног. На ковре лежат две атласные туфли: ноги просто в чулках покоятся на бархатной скамеечке.

Он никогда не видал ее такою. Она не замечает его, а он боится дохнуть.

— Кузина, Sophie! — назвал он ее чуть-чуть слышно.

Она вздрогнула, немного отшатнулась от стола и с удивлением глядела на Райского. У нее в глазах стояли вопросы: как он? откуда взялся? зачем тут?

— Sophie! — повторил он.

Она встала и выпрямилась во весь рост.

— Что с вами, cousin! — спросила она коротко.

— Виноват, кузина,— уже без восторга сказал он,— я вас застал нечаянно... в таком поэтическом беспорядке.

Она оглянулась около себя и вдруг будто спохватилась и позвонила.

— Pardon, cousin, я оденусь! — сухо сказала она и ушла с девушкой в спальню.

Он слышал, что она сделала выговор Паше, зачем ей не доложили о приезде Райского.

«Что же это такое? — думал Райский, глядя на привезенный им портрет,— она опять не похожа, она все такая же!.. Да нет, она не обманет меня: это спокойствие и холод, которым она сейчас вооружилась передо мной, не прежний холод — о, нет! это натяжка, принуждение. Там что-то прячется, под этим льдом,— посмотрим!»

Наконец она вышла, причесанная, одетая, в шумящем платье. Она, не глядя на него, стала у зеркала и надевала браслет.

— Я привез ваш портрет, кузина.

— Где? Покажите,—сказала она и пошла за ним в гостиную.

— Вы польстили мне, cousin: я не такая,— говорила она, вглядываясь в портрет.

— Ах, нет, я далек от истины! — сказал он с непритворным унынием, видя перед собой подлинник.— Красота, какая это сила! Ах, если б мне этакую!

— Что ж бы вы сделали?

— Что бы я сделал? — повторил он, глядя на нее пристально и лукаво.— Сделал бы кого-нибудь очень счастливым...

— И наделали бы тысячу несчастных — да? Стали бы пробовать свою силу над всеми, и не было бы пощады никому...

— А! — поймал ее Райский,— не из сострадания ли вы так неприступны?.. Вы боитесь бросить лишний взгляд, зная, что это никому не пройдет даром. Новая изящная черта! Самоуверенность вам к лицу. Эта гордость лучше родовой спеси: красота — это сила, и гордость тут имеет смысл.

Он обрадовался, что открыл, как казалось ему, почему она так упорно кроется от него, почему так вдруг изменила мечтательную позу и ушла опять в свои окопы.

— Не будьте, однако, слишком сострадательны: кто откажется от страданий, чтоб подойти к вам, говорить с вами? Кто не поползет на коленях вслед за вами на край света, не только для торжества, для счастья и победы — просто для одной слабой надежды на победу...

— Полноте, cousin, вы опять за свое! — сказала она, но не совсем равнодушным тоном. Она как будто сомневалась, так ли она сильна, так ли все поползли бы за ней, как этот восторженный, горячий, сумасбродный артист?

И этот тонкий оттенок сомнения не ускользнул от Райского Он прозревал в ее взгляды, слова, ловил, иногда бессознательно, все лучи и тени, мелькавшие в ней, не только проникал смыслом, но как будто чуял нервами, что произошло, даже что должно было произойти в ней.

— Вы сами видите это,— продолжал он,— что за один ласковый взгляд, без особенного значения, за одно слово, без обещаний награды, все бегут, суетятся, ловят ваше внимание.

— Будто бы?

— А вы не заметили? Полноте!

— Право, нет.

— Право, заметили и втихомолку торжествуете, да еще издеваетесь надо мной, заставляя высказывать вас же самих. Вы знаете, что я говорю правду, и в словах моих видите свой образ и любуетесь им.

— Пока еще я видела его в портрете, и то преувеличенно, а на словах вы только бранитесь.

— Нет, портрет — это слабая, бледная копия; верен только один луч ваших глаз, ваша улыбка, и то не всегда: вы редко так смотрите и улыбаетесь, как будто боитесь. Но иногда это мелькнет; однажды мелькнуло, и я поймал, и только намекнул на правду, и уж смотрите, что вышло. Ах, как вы были хороши тогда!

— Когда это?

— Вот тут, когда я говорил вам... еще, помните, ваш папа́ привел этого Милари...

Она молчала.

— Милари? — повторил он.

— Помню,— сухо сказала она.

— Что, он часто бывает у вас? — спросил Райский, заметив и эту сухость тона.

— Да... иногда. Он очень хорошо поет,— прибавила она и села на диван, спиной к свету.

— Когда он будет у вас, я бы заехал... дайте мне знать.

— Здесь свежо! — заметила она, делая движение плечами,— надо велеть затопить камин...

— Я пришел проститься с вами; я еду — вы знаете? — спросил он вдруг, взглянув на нее.

Она ничего.

— Куда? — спросила только.

— В деревню, к бабушке... Вам не жаль, не скучно будет без меня?

Она думала и, казалось, решала эти вопросы про себя.

— Видите, кузина, для меня и то уж счастье, что тут есть какое-то колебание, что у вас не вырвалось ни да, ни нет. Внезапное *да* — значило бы обман, любезность или уж такое счастье, какого я не заслужил; а от *нет* было бы мне больно. Но вы не знаете сами, жаль вам или нет: это уж много от вас, это половина победы...

— А вы надеетесь на полную? — спросила она с улыбкой.

— Плохой солдат, который не надеется быть генералом, сказал бы я, но не скажу: это было бы слишком... невозможно.

Он глядел на нее и хотел бы, дал бы бог знает что, даже втайне ждал, чтоб она спросила «почему?», но она не спросила, и он подавил вздох.

— Невозможно,— повторил он,— и в доказательство, что у меня нет таких колоссальных надежд, я пришел проститься с вами, может быть, надолго.

— Мне жаль вас, cousin,— вдруг сказала она тихо, мягко и почти с чувством.

Он обернулся к ней так живо, как человек, у которого болели зубы и вдруг прошла боль.

— Жаль! — повторил он,— правда ли это?

— Совершенно. Вы знаете, я никогда не лгу.

Он взял ее ладонь и с упоением целовал. Она не отнимала руки.

— Вот, вот, за это право целовать так вашу руку чего бы не сделали все эти, которые толпятся около вас!

— Стало быть, вы счастливы: вы пользуетесь этим правом свободно...

— Да, как cousin! Но чего бы не сделал я,— говорил он, глядя на нее почти пьяными глазами,— чтоб целовать эту ладонь иначе... вот так...

Он хотел опять целовать, она отняла руку.

— Не смею сомневаться, что вам немного... жаль меня,— продолжал он,— но как бы хотелось знать, отчего? Зачем бы вы желали иногда видеть меня?

— Чтоб слышать вас. Вы много, конечно, преувеличиваете, но иногда объясняете верно там, где я понимаю, но не могу сама сказать, не умею...

— А, сознались наконец! Так вот зачем я вам нужен: вы заглядываете в меня, как в арабский словарь... Незавидная роль! — прибавил он со вздохом.

— Но вы сами, cousin, сейчас сказали, что не надеетесь быть генералом и что всякий, просто за внимание мое, готов

бы... поползти куда-то... Я не требую этого, но если вы мне дадите немного...

— Дружбы? — спросил Райский.

— Да.

— Ну, так, я знал. Ох, эта дружба!

— Нет, cousin, я вижу, что вы не отказались от «генеральского чина»...

— Нет, нет, кузина, я не надеюсь и оттого, повторяю, еду. Но вы сказали мне, что вам скучно без меня, что меня вам будет недоставать, и я, как утопающий, хватаюсь за соломинку.

— И не напрасно хватаетесь. Я предлагаю вам не безделицу: дружбу. Если для одного ласкового взгляда или слова можно ползти такую даль, на край света, то для дружбы, которой я никому легко не даю...

— Дружба хороша, кузина, когда она — шаг к любви, или иначе — она просто нелепость, даже иногда оскорбление.

— Как это?

— Так. Вы мне дадите право входить без доклада к себе, и то не всегда: вот сегодня рассердились, будете гонять меня по городу с поручениями — это привилегия кузеней, даже советоваться со мной, если у меня есть вкус, как одеться; удостоите искреннего отзыва о ваших родных, знакомых и, наконец, дойдет до оскорбления... до того, что поверите мне сердечный секрет, когда влюбитесь...

У Софьи в лице показалось принуждение; она даже притворно зевнула в сторону. Он заметил.

— Не влюбились ли вы уже? — вдруг спросил он.

— А что?

— Что значит это смущение?

— Смущение? Я смутилась? — говорила она и поглядела в зеркало.— Я не смутилась, а вспомнила только, что мы условились не говорить о любви. Прошу вас, cousin,— вдруг серьезно прибавила она,— помнить уговор. Не будем, пожалуйста, говорить об этом.

Он удивился этой просьбе и задумался. Она и прежде просила, но шутя, с улыбкой. Самолюбие шепнуло было ему, что он постучался в ее сердце недаром, что оно отзывается, что смущение и внезапная, неловкая просьба не говорить о любви — есть боязнь, осторожность.

Потом он отбросил эту мысль и сам покраснел от сознания, что он фат, и искал других причин, а сердце ноет, мучится, терзается, глаза впиваются в нее с вопросами, слова кипят на языке и не сходят. Его уже гложет ревность.

«Что ж это? Ужели я, не шутя, влюблен? — думал он.— Нет, нет! И что мне за дело? ведь я не для себя хлопотал, а для нее же... для развития... «для общества». Еще последнее усилие!..»

— Последний вопрос, кузина,— сказал он вслух,—если б...— И задумался: вопрос был решителен,— если б я не принял дружбы, которую вы подносите мне, как похвальный лист за благонравие, а задался бы задачей «быть генералом»: что бы вы сказали? мог ли бы, могу ли?.. «Она не кокетка, она скажет истину!» — подумал он.

— Поддержали бы вы эту надежду, кузина?

Он дрожа выговаривал последние слова и боялся взглянуть на нее. Она засмеялась.

— У вас нет никаких надежд, cousin,— произнесла она равнодушно.

Он сделал нетерпеливое движение, как будто сомнение в этом было невозможно.

— Нет, и не может быть! — повторила она решительно.— Вы все преувеличиваете: простая любезность вам кажется каким-то entraînement [1], в обыкновенном внимании вы видите страсть и сами в каком-то бреду. Вы выходите из роли кузена и друга — позвольте напомнить вам.

— Так вы смешиваете меня с светскими любезниками, волокитами?

— Fi, quelles expressions! [2]

— Да, вот с этими, что порхают по гостиным, по ложам, с псевдо-нежными взглядами, страстно-почтительными фразами и заученным остроумием. Нет, кузина, если я говорю о себе, то говорю, что во мне есть; язык мой верно переводит голос сердца. Вот год я у вас: ухожу и уношу мысленно вас с собой, и что чувствую, то сумею выразить.

— Зачем мне это? — вдруг спросила она.

Он замолчал, озадаченный этим «зачем». Тут был весь ответ на его вопрос о надеждах на «генеральство». И довольно бы, не спрашивать бы ему дальше, а он спрашивал!

— Вы... не любите меня, кузина? — спросил он тихо и вкрадчиво.

— Очень! — весело отвечала она.

— Не шутите, ради бога! — раздражительно сказал он.

— Даю вам слово, что не шучу.

«Спросить, влюблены ли вы в меня — глупо, так глупо,— думал он,— что лучше уеду, ничего не узнав, а ни за что не спрошу... Вот, поди ж ты: «выше мира и страстей», а хитрит, вертится и ускользает, как любая кокетка! Но я узнаю! брякну неожиданно, что у меня бродит в душе...»

Во время этого мысленного монолога она с лукавой улыбкой смотрела на него и, кажется, не чужда была удовольствия помучить его и помучила бы, если б... он не «брякнул» неожиданным вопросом.

---

[1] Увлечением *(франц.)*.
[2] Фи, что за выражения! *(франц.)*

— Вы влюблены в этого итальянца, в графа Милари — да? — спросил он и погрузил в нее взгляд и чувствовал сам, что бледнеет, что одним мигом как будто взвалил тысячи пуд себе на плечи.

Улыбка, дружеский тон, свободная поза — все исчезло в ней от его вопроса. Перед ним холодная, суровая, чужая женщина. Она была так близка к нему, а теперь казалась где-то далеко, на высоте, не родня и не друг ему.

«Должно быть, это правда: я угадал!» — подумал он и разбирал, отчего угадал он, что подало повод ему к догадке? Он видел один раз Милари у ней, а только когда заговорил о нем — у ней пробежала какая-то тень по лицу, да пересела она спиной к свету.

«Боже мой! зачем я все вижу и знаю, где другие слепы и счастливы? Зачем для меня довольно шороха, ветерка, самого молчания, чтоб знать? Проклятое чутье! Вот теперь яд прососался в сердце, а из каких благ?»

Она молчала.

— Вы обиделись, кузина?

Она молчала.

— Скажите: да?

— Вы сами знаете, что может произвести подобная догадка.

— Я знаю больше, кузина: я знаю и причину, почему вы обиделись.

— Позвольте узнать.

— Потому, что это правда.

Она сделала движение и поглядела на него с изумлением, как будто говоря: «Вы еще настаиваете!»

— И этот взгляд не ваш, кузина, а заимствованный!

— Я притворяюсь! Вы приписываете себе много чести, мсьё Райский!

Он засмеялся, потом вздохнул.

— Если это неправда, то... что обидного в моей догадке? — сказал он,— а если правда, то опять-таки... что обидного в этой правде? Подумайте над этой дилеммой, кузина, и покайтесь, что вы напрасно хотели подавить достоинством вашего бедного cousin!

Она слегка пожала плечами.

— Да, это так, и все, что вы делаете в эту минуту, выражает не оскорбление, а досаду, что у вас похитили тайну... И самое оскорбление это — только маска.

— Какая тайна? Что вы! — говорила она, возвышая голос и делая большие глаза.— Вы употребляете во зло права кузена — вот в чем и вся тайна. А я неосторожна тем, что принимаю вас во всякое время, без тетушек и папá...

— Кузина, бросьте этот тон! — начал он дружески, горячо и искренно, так что она почти смягчилась и мало-помалу приняла прежнюю, свободную, доверчивую позу, как будто видела,

что тайна ее попала не в дурные руки, если только тут была тайна.

— Вот что значит Олимп! — продолжал он.— Будь вы просто женщина, не богиня, вы бы поняли мое положение, взглянули бы в мое сердце и поступили бы не сурово, а с пощадой, даже если б я был вам совсем чужой. А я вам близок. Вы говорите, что любите меня дружески, скучаете, не видя меня... Но женщина бывает сострадательна, нежна, честна, справедлива только с тем, кого любит, и безжалостна ко всему прочему. У злодея под ножом скорее допросишься пощады, нежели у женщины, когда ей нужно закрыть свою любовь и тайну.

— К чему вы это мне говорите? Со мной это вовсе не у места! А я еще просила вас оставить разговор о любви, о страстях...

— Знаю, кузина, знаю и причину: я касаюсь вашей раны. Но ужели мое дружеское прикосновение так грубо?.. Ужели я не стою доверенности?..

— Какой доверенности? Какие тайны? Ради бога, cousin...— говорила она, глядя в беспокойстве по сторонам, как будто хотела уйти, заткнуть уши, не слышать, не знать.

— Пусть я смешон с своими надеждами на «генеральство»,— продолжал он, не слушая ее, горячо и нежно,— но, однако ж, чего-нибудь да стою я в ваших глазах — не правда ли? Скажу больше: около вас, во всей вашей жизни, никогда не было и нет, может быть, и не будет человека ближе к вам. И вы сами давеча сказали то же, хотя не так ясно. У вас не было человека настоящего, живого, который бы так коротко знал людей и сердце и объяснял бы вам вас самих. Вы во мне читаете свои мысли, поверяете чувства. Я — не тетушка, не папа́, не предок ваш, не муж: никто из них не знал жизни: все они на ходулях, все замкнулись в кружок старых, скудных понятий, условного воспитания, так называемого «тона», и нищенски пробавляются ими. Я живой, свежий человек; я приношу к вам сюда незнакомые здесь понятия и чувства; я новость для вас; я занимаю... виноват... занимал вас... Правда ли это, кузина?

Она молчала.

— Теперь, конечно, другое дело: теперь вы рады, что я еду,— продолжал он,— все прочие могут остаться; вам нужно, чтоб я один уехал...

— Почему?

— Потому, что один я лишний в эту минуту, один я прочёл вашу тайну в зародыше. Но... если вы мне вверите ее, тогда я, после *него*, буду дороже для вас всех...

Она сделала движение, встала, прошлась по комнате, оглядывая стены, портреты, глядя далеко в анфиладу комнат и как будто не видя выхода из этого положения, и с нетерпением села в кресло.

— Но... начал он опять нежным, дружеским голосом,— я вас люблю, кузина (она выпрямилась), всячески люблю, и больше всего люблю за эту поразительную красоту; вы владеете мной невольно и бессознательно. Вы можете сделать из меня все — вы это знаете...

— Послушайте... Вы хотите уверить меня, что у вас... что-то вроде страсти,— сказала она, делая как будто уступку ему, чтоб отвлечь, затушевать его настойчивый анализ,— смотрите, не лжете ли вы... положим — невольно? — прибавила она, видя, что он собирается разразиться каким-нибудь монологом.— Месяц, два тому назад ничего не было, были какие-то порывы — и вдруг так скоро... вы видите, что это ненатурально, ни ваши восторги, ни мучения: извините, cousin, я им не верю, и оттого у меня нет и пощады, которой вы добиваетесь. Воля ваша, а мне придется разжаловать вас из кузеней: вы самый беспокойный cousin и друг...

— Для страсти не нужно годов, кузина: она может зародиться в одно мгновение. Но я и не уверяю вас в страсти,— уныло прибавил он,— а что я взволнован теперь — так я не лгу. Не говорю опять, что я умру с отчаяния, что это вопрос моей жизни — нет; вы мне ничего не дали, и нечего вам отнять у меня, кроме надежд, которые я сам возбудил в себе... Это ощущение: оно, конечно, скоро пройдет, я знаю. Впечатление, за недостатком пищи, не упрочилось — и слава богу!

Он вздохнул.

— Чего же вы хотите? — спросила она.

— Меня оскорбляет ваш ужас, что я заглянул к вам в сердце...

— Там ничего нет,— монотонно сказала она.

— Есть, есть, и мне тяжело, что я не выиграл даже этого доверия. Вы боитесь, что я не сумею обойтись с вашей тайной. Мне больно, что вас пугает и стыдит мой взгляд... кузина, кузина! А ведь это мое дело, моя заслуга, ведь я виноват... что вывел вас из темноты и слепоты, что этот Милари...

Она слушала довольно спокойно, но при последнем слове быстро встала.

— Если вы, cousin, дорожите немного моей дружбой,— заговорила она, и голос у ней даже немного изменился, как будто дрожал,— и если вам что-нибудь значит быть здесь... видеть меня... то... не произносите имени!

«Да, это правда, я попал: она любит его!» — решил Райский, и ему стало уже легче, боль замирала от безнадежности, оттого, что вопрос был решен и тайна объяснилась. Он уже стал смотреть на Софью, на Милари, даже на самого себя со стороны, объективно.

— Не бойтесь, кузина, ради бога, не бойтесь,— говорил он.— Хороша дружба! Бояться, как шпиона, стыдиться...

— Мне бояться и стыдиться некого и нечего!

— Как нечего, а света, а их! — указал он на портреты предков.— Вон как они вытаращили глаза! Но разве я — они? Разве я — свет?

— И правду сказать, есть чего бояться предков! — заметила совершенно свободно и покойно Софья,— если только они слышат и видят вас! Чего не было сегодня! И упреки, и déclaration [1], и ревность... Я думала, что это возможно только на сцене... Ах, cousin...— с веселым вздохом заключила она, впадая в свой слегка насмешливый и покойный тон.

В самом деле, ей нечего было ужасаться и стыдиться: граф Милари был у ней раз шесть, всегда при других, пел, слушал ее игру, и разговор никогда не выходил из пределов обыкновенной учтивости, едва заметного благоухания тонкой и покорной лести.

Другая бы сама бойко произносила имя красавца Милари, тщеславилась бы его вниманием, немного бы пококетничала с ним, а Софья запретила даже называть его имя и не знала, как зажать рот Райскому, когда он так невпопад догадался о «тайне».

Никакой тайны нет, и если она приняла эту догадку неравнодушно, так, вероятно, затем, чтоб истребить и в нем даже тень подозрения.

Она влюблена — какая нелепость, боже сохрани! Этому никто и не поверит. Она, по-прежнему, смело подняла голову и покойно глядела на него.

— Прощайте, кузина! — сказал он вяло.

— Разве вы не у нас сегодня? — отвечала она ласково.— Когда вы едете?

«Лесть, хитрость: золотит пилюлю!» — думал Райский.

— Зачем я вам? — отвечал он вопросом.

— Вижу, что дружба моя для вас — ничто! — сказала она.

— Ах, неправда, кузина! Какая дружба: вы боитесь меня!

— Слава богу, мне еще нечего бояться.

— *Еще* нечего? А если будет что-нибудь, удостоите ли вы меня вашего доверия?

— Но вы говорите, что это оскорбительно: после этого я боялась бы...

— Не бойтесь! Я сказал, что надежды могли бы разыграться от взаимности, а ее ведь... нет? — робко спросил он и пытливо взглянул на нее, чувствуя, что, при всей безнадежности, надежда еще не совсем испарилась из него, и тут же мысленно назвал себя дураком.

Она медленно и отрицательно покачала головой.

— И... быть не может? — все еще пытливо спрашивал он.

Она засмеялась.

— Вы неисправимы, cousin,— сказала она.— Всякую дру-

---

[1] Признание *(франц.)*.

гую вы поневоле заставите кокетничать с вами. Но я не хочу и прямо скажу вам: нет.

— Следовательно, вам и бояться нечеговвериться мне! — с унынием договорил он.

— Parole d'honneur [1], мне нечего вверять.

— Ах, есть, кузина!

— Что же такое хотите вы, чтоб я вверила вам, dites positivement [2].

— Хорошо: скажите, чувствуете ли вы какую-нибудь перемену с тех пор, как этот Милари...

Она сделала движение, и лицо опять менялось у нее из дружеского на принужденное и холодное.

— Нет, нет, pardon — я не назову его... с тех пор, хочу я сказать, как *он* появился, стал ездить в дом...

— Послушайте, cousin...— начала она и остановилась на минуту, затрудняясь, по-видимому, продолжать,— положим, если б... enfin si c'était vrai [3] — это быть не может,— скороговоркой, будто в скобках, прибавила она,— но что... вам... за дело после того, как...

Он вспыхнул:

— Что за дело! — вдруг горячо перебил он, делая большие глаза.— Что за дело, кузина? Вы снизойдете до какого-нибудь parvenu [4], до какого-то Милари, итальянца, вы, Пàхотина, блеск, гордость, перл нашего общества! Вы... вы! — с изумлением, почти с ужасом повторял он.

А она с изумлением смотрела на него, как он весь внезапно вспыхнул, какие яростные взгляды метал на нее.

— Но он, во-первых, граф... а не parvenu...— сказала она.

— Купленный или украденный титул! — возражал он в пылу.— Это один из тех пройдох, что, по словам Лермонтова, приезжают сюда «на ловлю счастья и чинов» [5], втираются в большие дома, ищут протекции женщин, протираются в службу и потом делаются гран-сеньорами. Берегитесь, кузина, мой долг оберечь вас! Я вам родственник!

Все это он говорил чуть не с пеной у рта.

— Никто ничего подобного не заметил за ним! — с возрастающим изумлением говорила она,— и если папá и mes tantes [6] принимают его...

— Папá и mes tantes! — с пренебрежением повторил он,— много знают они: послушайте их!

— Кого же слушать: вас?

Она улыбнулась.

---

[1] Честное слово *(франц.)*.
[2] Скажите определеннее *(франц.)*.
[3] Словом, если б это была правда *(франц.)*.
[4] Выскочка *(франц.)*.
[5] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта».
[6] Тетушки *(франц.)*.

— Да, кузина, и я вам говорю: остерегайтесь! Это опасные выходцы: может быть, под этой интересной бледностью, мягкими кошачьими манерами кроется бесстыдство, алчность и бог знает что! Он компрометирует вас...

— Но он везде принят, он очень скромен, деликатен, прекрасно воспитан...

— Все это вы видите в своем воображении, кузина,— поверьте!

— Но вы его не знаете, cousin! — возражала она с полуулыбкой, начиная наслаждаться его внезапной раздражительностью.

— Довольно мне одной минуты было, чтоб разглядеть, что это один из тех chevaliers d'industrie [1], которые сотнями бегут с голода из Италии, чтобы поживиться...

— Он артист,— защищала она,— и если он не на сцене, так потому, что он граф и богат... c'est un homme distingué[2].

— А! вы защищаете его — поздравляю! Так вот на кого упали лучи с высоты Олимпа! Кузина! кузина! на ком вы удостоили остановить взоры! Опомнитесь, ради бога! Вам ли, с вашими высокими понятиями, снизойти до какого-то безвестного выходца, может быть самозванца-графа...

Она уже окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страх и осторожность.

— А Ельнин? — вдруг спросила она.

— Что Ельнин? — спросил и он, внезапно остановленный ею.— Ельнин — Ельнин...— замялся он,— это детская шалость, институтское обожание. А здесь страсть, горячая, опасная!

— Что же: вы бредили страстью для меня — ну, вот я страстно влюблена,— смеялась она.— Разве мне не все равно идти туда (она показала на улицу), что с Ельниным, что с графом? Ведь там я должна «увидеть счастье, упиться им»!

Райский стиснул зубы, сел на кресло и злобно молчал. Она продолжала наслаждаться его положением.

— Уф! — говорил он, мучаясь, волнуясь, не оттого, что его поймали и уличили в противоречии самому себе, не оттого, что у него ускользала красавица Софья, а от подозрения только, что счастье быть любимым выпало другому. Не будь другого, он бы покойно покорился своей судьбе.

А она смотрела на него с торжеством, так ясно, покойно. Она была права, а он запутался.

— Что же, cousin, чему я должна верить: им ли? — она указала на предков,— или, бросив все, не слушая никого, вмешаться в толпу и жить «новою жизнью»?

— И тут вы остались верны себе! — возразил он вдруг с радостью, хватаясь за соломинку,— завет предков висит над

---

[1] Рыцарей наживы, проходимцев *(франц.)*.
[2] Это благовоспитанный человек *(франц.)*.

вами: ваш выбор пал все-таки на графа! Ха-ха-ха! — судорожно засмеялся он.— А остановили ли бы вы внимание на нем, если б он был не граф? Делайте, как хотите! — с досадой махнул он рукой.— Ведь... «что мне за дело?» — возразил он ее словами.— Я вижу, что он, этот homme distingué, изящным разговором, полным ума, новизны, какого-то трепета, уже тронул, пошевелил и... и... да, да?

Он принужденно засмеялся.

— Что ж, прекрасно! Италия, небо, солнце и любовь...— говорил он, качая, в волнении, ногой.

— Да, помните, в вашей программе было и это,— заметила она,— вы посылали меня в чужие края, даже в чухонскую деревню, и там, «наедине с природой»... По вашим словам, я должна быть теперь счастлива? — дразнила она его.— Ах, cousin! — прибавила она и засмеялась, потом вдруг сдержала смех.

Он исподлобья смотрел на нее. Она опять становилась задумчива и холодна; опять осторожность начала брать верх.

— Успокойтесь: ничего этого нет,— сказала она кротко,— и мне остается только поблагодарить вас за этот новый урок, за предостережение. Но я в затруднении теперь, чему следовать: тогда вы толкали туда, на улицу — теперь... боитесь за меня. Что же мне, бедной, делать?..—с комическим послушанием спросила она.

Оба молчали.

— Я возьму портрет с собой,— вдруг сказал он.

— Зачем? Вы говорили, что готовите мне подарок.

— Нет, я переделаю: я сделаю из него... грешницу...

Она опять засмеялась.

— Делайте, что хотите, cousin, бог с вами!

— И с вами тоже!.. Но... кузина...

Он остановился: у него вдруг отошло от сердца. Он засмеялся добродушно, не то над ней, не то над собой.

— Но... но... ужели мы так расстанемся: холодно, с досадой, не друзьями?..— вдруг прорвалось у него, и досада миновала. Он, встав, протянул к ней руки, и глаза опять с упоением смотрели на нее. Ему не то, чтобы хотелось дружбы, не то, чтобы сердце развернулось к прежним, добрым чувствам. А зародыш впечатления еще не совсем угас, еще искра тлела, и его влекло к ней, пока он ее видел. В голосе у него все еще слышалась робкая дрожь. Говорила вместе и доброта, прирожденная его душе, где не упрочивались никогда дурные чувства.

— Друзьями! Как вы поступили с моей дружбой?..— упрекнула она.

— Дайте, возвратите ее, кузина,— умолял он,— простите немножко... влюбленного в вас cousin, и прощайте!

Он поцеловал у ней руку.

— Разве я не увижу вас больше? — живо спросила она.

— За этот вопрос дайте еще руку. Я опять прежний Райский и опять говорю вам: любите, кузина, наслаждайтесь, помните, что я вам говорил вот здесь... Только не забывайте до конца Райского. Но зачем вы полюбили... графа? — с улыбкой, тихо прибавил он.

— Вы опять свое «любить»!..

— Полноте притворяться, полноте! Бог с вами, кузина: что мне за дело? Я закрываю глаза и уши, я слеп, глух и нем,— говорил он, закрывая глаза и уши.— Но если,— вдруг прибавил он, глядя прямо на нее,— вы почувствуете все, что я говорил, предсказывал, что, может быть, вызвал в вас... на свою шею — скажете ли вы мне?.. я стою этого.

— Вы напрашиваетесь на «оскорбление»?

— Нужды нет, я буду героем, рыцарем дружбы, первым из кузеней! Подумав, я нахожу, что дружба кузеней и кузин очень приятная дружба, и принимаю вашу.

— A la bonne heure! [1] — сказала она, протягивая ему руку,— и если я почувствую что-нибудь, что вы предсказывали, то скажу вам одним или никогда никому и ничего не скажу. Но этого никогда не будет и быть не может! — торопливо добавила она.— Довольно, cousin, вон карета подъехала: это тетушки.

Она встала, оправилась у зеркала и пошла им навстречу.

— А будете отвечать мне на письма? — спросил он, идучи за ней.

— С удовольствием: обо всем, кроме... любви!

«Неисправима! — подумал он,— но посмотрим, что будет!»

Он шел тихий, задумчивый, с блуждающим взглядом, погруженный глубоко в себя. В нем постепенно гасли боли корыстной любви и печали. Не стало страсти, не стало как будто самой Софьи, этой суетной и холодной женщины; исчезла пестрая мишура украшений; исчезли портреты предков, тетки, не было и ненавистного Милари.

Перед ним, как из тумана, возникал один строгий образ чистой женской красоты, не Софьи, а какой-то будто античной, нетленной, женской фигуры. Снилась одна только творческая мечта, развивалась грандиозной картиной, охватывала его все более и более.

Он, притаив дыхание, погрузился в артистический сон и наблюдал видение, боялся дохнуть.

Женская фигура, с лицом Софьи, рисовалась ему белой, холодной статуей, где-то в пустыне, под ясным, будто лунным небом, но без луны; в свете, но не солнечном, среди сухих нагих скал, с мертвыми деревьями, с нетекущими водами,

[1] В добрый час! *(франц.)*

с странным молчанием. Она, обратив каменное лицо к небу, положив руки на колени, полуоткрыв уста, кажется, жаждала пробуждения.

И вдруг из-за скал мелькнул яркий свет, задрожали листы на деревьях, тихо зажурчали струи вод. Кто-то встрепенулся в ветвях, кто-то пробежал по лесу; кто-то вздохнул в воздухе — и воздух заструился, и луч озолотил бледный лоб статуи; веки медленно открылись, и искра пробежала по груди, дрогнуло холодное тело, бледные щеки зардели, лучи упали на плечи.

Сзади оторвалась густая коса и рассыпалась по спине, краски облили камень, и волна жизни пробежала по бедрам, задрожали колени, из груди вырвался вздох — и статуя ожила, повела радостный взгляд вокруг...

И дальше, дальше жизнь волнами вторгалась в пробужденное сознание...

Члены стали жизненны, телесны; статуя шевелилась, широко глядела лучистыми глазами вокруг, чего-то просила, ждала, о чем-то начала тосковать. Воздух наполнился теплом; над головой распростерлись ветви; у ног явились цветы...

Райский все шел тихо, глядя душой в этот сон: статуя и все кругом постепенно оживало, делалось ярче... И когда он дошел до дома, созданная им женщина мало-помалу опять обращалась в Софью.

Пустыня исчезла; Софья, в мечте его, была уже опять в своем кабинете, затянутая в свое платье, за сонатой Бетховена, и в трепете слушала шепот бледного, страстного Милари.

Но ни ревности, ни боли он не чувствовал и только трепетал от красоты как будто перерожденной, новой для него женщины. Он любовался уже их любовью и радовался их радостью, томясь жаждой превратить и то и другое в образы и звуки. В нем умер любовник и ожил бескорыстный артист.

«Да, артист не должен пускать корней и привязываться безвозвратно,— мечтал он в забытьи, как в бреду.— Пусть он любит, страдает, платит все человеческие дани... но пусть никогда не упадет под бременем их, но расторгнет эти узы, встанет бодр, бесстрастен, силен и творит: и пустыню, и каменья, и наполнит их жизнью и покажет людям — как они живут, любят, страдают, блаженствуют и умирают... Зачем художник послан в мир!..»

Райский тщательно внес в программу будущего романа и это видение, как прежде внес разговоры с Софьей и эпизод о Наташе и многое другое, что должно поступить в лабораторию его фантазии.

«Где же тут роман? — печально думал он,— нет его! Из всего этого материала может выйти разве пролог к роману! а самый роман — впереди или вовсе не будет его! Какой роман найду я там, в глуши, в деревне! Идиллию, пожалуй, между

курами и петухами, а не роман у живых людей, с огнем, движением, страстью!»

Однако он прежде всего погрузил на дно чемодана весь свой литературный материал, потом в особый ящик поместил эскизы карандашом и кистью пейзажей, портретов и т. п., захватил краски, кисти, палитру, чтобы устроить в деревне небольшую мастерскую, на случай, если роман не пойдет на лад.

Потом уже уложил запас белья, платья и некоторые подарки бабушке, сестрам и замшевую фуфайку с панталонами Титу Никонычу, по поручению Татьяны Марковны.

— Ну, теперь — dahin! Посмотрим, что будет! — задумчиво говорил он, уезжая из Петербурга.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Тихой, сонной рысью пробирался Райский, в рогожной перекладной кибитке, на тройке тощих лошадей, по переулкам, к своей усадьбе.

Он не без смущения завидел дымок, вьющийся из труб родной кровли, раннюю, нежную зелень берез и лип, осеняющих этот приют, черепичную кровлю старого дома и блеснувшую между деревьев и опять скрывшуюся за ними серебряную полосу Волги. Оттуда, с берега, повеяла на него струя свежего, здорового воздуха, каким он давно не дышал.

Вот ближе, ближе: вон запестрели цветы в садике, вон дальше видны аллеи лип и акаций, и старый вяз, левее — яблони, вишни, груши.

Вон резвятся собаки на дворе, жмутся по углам и греются на солнце котята; вон скворечники зыблются на тонких жердях; по кровле нового дома толкутся голуби, поверх реют ласточки.

Вон за усадьбой, со стороны деревни, целая луговина покрыта разостланными на солнце полотнами.

Вон баба катит бочонок по двору, кучер рубит дрова, другой, какой-то, садится в телегу, собирается ехать со двора: всё незнакомые ему люди. А вон Яков сонно смотрит с крыльца по сторонам. Это знакомый: как постарел!

Вон другой знакомый, Егор, зубоскал, напрасно в третий раз силится вскочить верхом на лошадь, та не дается; горничные, в свою очередь, скалят над ним зубы.

Он едва узнал Егора: оставил его мальчишкой восемнадцати лет. Теперь он возмужал: усы до плеч и все тот же хохол на лбу, тот же нахальный взгляд и вечно оскаленные зубы!

Вон, кажется, еще знакомое лицо: как будто Марина или Федосья — что-то в этом роде: он смутно припомнил молодую, лет пятнадцати девушку, похожую на эту самую, которая теперь шла через двор.

И все успел зорким взглядом окинуть Райский, пробираясь пешком подле экипажа, мимо решетчатого забора, отделяющего дом, двор, цветник и сад от проезжей дороги.

Он продолжал любоваться всей этой знакомой картиной, переходя глазами с предмета на предмет, и вдруг остановил их неподвижно на неожиданном явлении.

На крыльце, вроде веранды, уставленной большими кадками с лимонными, померанцевыми деревьями, кактусами, алоэ и разными цветами, отгороженной от двора большой решеткой и обращенной к цветнику и саду, стояла девушка лет двадцати и с двух тарелок, которые держала перед ней девочка лет двенадцати, босая, в выбойчатом платье, брала горстями пшено и бросала птицам. У ног ее толпились куры, индейки, утки, голуби, наконец воробьи и галки.

— Цып, цып, ти, ти, ти! гуль, гуль, гуль,— ласковым голосом приглашала девушка птиц к завтраку.

Куры, петухи, голуби торопливо хватали, отступали, как будто опасаясь ежеминутного предательства, и опять совались. А когда тут же вертелась галка и, подскакивая боком, норовила воровски клюнуть пшена, девушка топала ногой. «Прочь, прочь; ты зачем?» — кричала она, замахиваясь, и вся пернатая толпа влет разбрасывалась по сторонам, а через минуту опять головки кучей совались жадно и торопливо клевать, как будто воруя зерна.

— Ах ты, жадный! — говорила девушка, замахиваясь на большого петуха,— никому не даешь — кому ни брошу, везде схватит!

Утреннее солнце ярко освещало суетливую группу птиц и самую девушку. Райский успел разглядеть большие темно-серые глаза, кругленькие здоровые щеки, белые тесные зубы, светлорусую, вдвое сложенную на голове косу и вполне развитую грудь, рельефно отливавшуюся в тонкой белой блузе.

На шее не было ни косынки, ни воротничка: ничто не закрывало белой шеи, с легкой тенью загара. Когда девушка замахнулась на прожорливого петуха, у ней половина косы, от этого движения, упала на шею и спину, но она, не обращая внимания, продолжала бросать зерна.

Она то смеялась, то хмурилась, глядела так свежо и бодро, как это утро, наблюдая, всем ли поровну достается, не подскакивает ли галка, не набралось ли много воробьев.

— Гусенка не видала? — спросила она у девочки грудным звонким голосом.

— Нет еще, барышня,— сказала та,— да его бы выкинуть кошкам. Афимья говорит, что околеет.

— Нет, нет, я сама посмотрю,— перебила девушка,— у Афимьи никакой жалости нет: она живого готова бросить.

Райский, не шевелясь, смотрел, никем не замечаемый, на всю эту сцену, на девушку, на птиц, на девчонку.

«Так и есть: идиллия! я знал! Это, должно быть, троюродная сестрица,— думал он,— какая она миленькая! Какая простота, какая прелесть! Но которая: Верочка или Марфенька?»

Он, не дожидаясь, пока ямщик завернет в ворота, бросился вперед, пробежал остаток решетки и вдруг очутился перед девушкой.

— Сестрица! — вскрикнул он, протягивая руки.

В одну минуту, как будто по волшебству, все исчезло. Он не успел уловить, как и куда пропали девушка и девчонка: воробьи, мимо его носа, проворно и дружно махнули на кровлю. Голуби, похлопывая крыльями, точно ладонями, врассыпную кружились над его головой, как слепые.

Куры с отчаянным кудахтаньем бросились по углам и пробовали с испугу скакать на стену. Индейский петух, подняв лапу и озираясь вокруг, неистово выругался по-своему, точно сердитый командир оборвал всю команду на ученье за беспорядок.

Все люди на дворе, опешив за работой, с разинутыми ртами глядели на Райского. Он сам почти испугался и смотрел на пустое место: перед ним на земле были только одни рассыпанные зерна.

Но в доме уже послышался шум, говор, движение, звон ключей и голос бабушки: «Где он? где?»

Она идет, торопится, лицо у ней сияет, объятия растворяются. Она прижала его к себе, и около губ ее улыбка образовала лучи.

Она хотя постарела, но постарела ровною, здоровою старостью: ни болезненных пятен, ни глубоких, нависших над глазами и ртом морщин, ни тусклого, скорбного взгляда!

Видно, что ей живется крепко, хорошо, что она, если и борется, то не дает одолевать себя жизни, а сама одолевает жизнь и тратит силы в этой борьбе скупо.

Голос у ней не так звонок, как прежде, да ходит она теперь с тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Так же она без чепца, так же острижена коротко, и тот же блещущий здоровьем и добротой взгляд озаряет все лицо, не только лицо, всю ее фигуру.

— Борюшка! друг ты мой!

Она обняла его раза три. Слезы навернулись у ней и у него. В этих объятиях, в голосе, в этой вдруг охватившей ее радости — точно как будто обдало ее солнечное сияние — было столько нежности, любви, теплоты!

Он почувствовал себя почти преступником, что, шатаясь по свету, в холостой, бесприютной жизни своей, искал привязанностей, волоча сердце и соря чувствами, гоняясь за запретными плодами, тогда как здесь сама природа уготовила ему теплый угол, симпатии и счастье.

Теперь он готов был влюбиться в бабушку. Он так и вцепился в нее: целовал ее в губы, в плечи, целовал ее седые волосы, руку. Она ему казалась совсем другой теперь, нежели пятнадцать, шестнадцать лет назад. У ней не было тогда такого значения на лице, какое он видел теперь, ума, чего-то нового.

Он удивлялся, не сообразив в эту минуту, что тогда еще он сам не был настолько мудр, чтобы уметь читать лица и угадывать по ним ум или характер.

— Где ты пропадал? Ведь я тебя целую неделю жду: спроси Марфеньку — мы не спали до полуночи, я глаза проглядела. Марфенька испугалась, как увидела тебя, и меня испугала — точно сумасшедшая прибежала. Марфенька! где ты? Поди сюда.

— Это я виноват: я перепугал ее,— сказал Райский.

— А она бежать: умна очень! А ждала со мной, не ложилась спать, ходила навстречу, на кухню бегала. Ведь каждый день твои любимые блюда готовим. Я, Василиса и Яков собираемся по утрам на совет и все припоминаем твои привычки. Другие всё почти новые люди, а эти трое, да Прохор, да Маришка, да разве Улита и Терентий помнят тебя. Всё придумываем, как тебя устроить, чем кормить, как укладывать спать, на чем тебе ездить. А всех вострее Егорка: он напоминал больше всех: я его за это в твои камердинеры пожаловала... Да что это я болтаю: соловья баснями не кормят! Василиса! Василиса! Что ж мы сидим: скорей вели собирать на стол, до обеда долго, он позавтракает. Чай, кофе давай, птичьего молока достань! — И сама засмеялась.— Дай же взглянуть на тебя.

Бабушка поглядела на него пристально, подведя его к свету.

— Какой ты нехороший стал...— сказала она, оглядывая его,— нет, ничего, живет! загорел только! Усы тебе к лицу. Зачем бороду отпускаешь! Обрей, Борюшка, я не люблю... Э, э! Кое-где седые волоски: что это, батюшка мой, рано стареться начал!

— Это не от старости, бабушка!

— Отчего же? Здоров ли ты?

— Здоров, живу — поговорим о другом. Вот вы, слава богу, такая же...

— Какая такая?

— Не стареетесь: такая же красавица! Знаете: я не видал такой старческой красоты никогда...

— Спасибо за комплимент, внучек: давно я не слыхала — какая тут красота! Вон на кого полюбуйся — на сестер! Скажу тебе на ухо,— шепотом прибавила она,— таких ни в городе, ни близко от него нет. Особенно другая... разве Настенька Мамыкина поспорит: помнишь, я писала, дочь откупщика?

Она лукаво мигнула ему.

— Что-то не помню, бабушка...

— Ну, об этом после, а теперь завтракать скорей и отдохни с дороги...

— Где же другая сестра? — спросил Райский, оглядываясь.

— Гостит у попадьи за Волгой,— сказала бабушка.— Такой грех: та нездорова сделалась и прислала за ней. Надо же в это время случиться! Сегодня же пошлю за ней лошадь...

— Нет, нет,— удержал ее Райский,— зачем для меня тревожить? Увижусь, когда воротится.

— Да как это ты подкрался: караулили, ждали и всё даром! — говорила Татьяна Марковна.— Мужики караулили у меня по ночам. Вот и теперь послала было Егорку верхом на большую дорогу, не увидит ли тебя? А Савелья в город — узнать. А ты опять — как тогда! Да дайте же завтракать! Что это не дождешься? Помещик приехал в свое родовое имение, а ничего не готово: точно на станции! Что прежде готово, то и подавайте.

— Бабушка! Ничего не надо. Я сыт по горло. На одной станции я пил чай, на другой — молоко, на третьей попал на крестьянскую свадьбу — меня вином потчевали, ел мед, пряники...

— Ты ехал к себе, в бабушкино гнездо, и не постыдился есть всякую дрянь. С утра пряники! Вот бы Марфеньку туда: и до свадьбы и до пряников охотница. Да войди сюда, не дичись! — сказала она, обращаясь к двери.— Стыдится, что ты застал ее в утреннем неглиже. Выйди, это не чужой — брат.

Принесли чай, кофе, наконец завтрак. Как ни отговаривался Райский, но должен был приняться за все: это было одно средство успокоить бабушку и не испортить ей утро.

— Я не хочу! — отговаривался он.

— Как с дороги не поесть: это уж обычай такой! — твердила она свое.— Вот бульону, вот цыпленка... Еще пирог есть...

— Не хочу, бабушка,— говорил он, но она клала ему на тарелку, не слушая его, и он ел и бульон, и цыпленка.

— Теперь индейку,— продолжала она,— принеси, Василиса, барбарису моченого.

— Как можно индейку! — говорил он, принимаясь и за индейку.

— Сыт ли, дружок? — спрашивала она.— Доволен ли?

— Еще бы! Чего же еще? Разве пирога... Там пирог какой-то, говорили вы...

— Да, пирог забыли, пирог!

Он поел и пирога — все из «обычая».

— Что же ты, Марфенька, давай свое угощенье: вот приехал брат! Выходи же.

Минут через пять тихо отворилась дверь, и медленно, с стыдливою неловкостью, с опущенными глазами, краснея, вышла Марфенька. За ней Василиса внесла целый поднос всяких сластей, варенья, печенья и прочего.

Марфенька застенчиво стояла с полуулыбкой, взглядывая, однако, на него с лукавым любопытством. На шее и руках были кружевные воротнички, волосы в туго сложенных косах плотно лежали на голове; на ней было барежевое платье, талия крепко опоясывалась голубой лентой.

Райский вскочил, бросил салфетку и остановился перед нею, любуясь ею.

— Какая прелесть! — весело сказал он,— и это моя сестра Марфа Васильевна! Рекомендуюсь! А гусенок жив?

Марфенька смутилась, неловко присела на его поклон и стыдливо села в угол.

— Вы оба с ума сошли,— сказала бабушка,— разве этак здороваются?

Райский хотел поцеловать у Марфеньки руку.

— Марфа Васильевна...— сказал он.

— Это еще что за «Васильевна» такая? Ты разве разлюбил ее? Марфенька — а не Марфа Васильевна! Этак ты и меня в Татьяны Марковны пожалуешь! Поцелуйтесь: вы брат и сестра.

— Я не хочу, бабушка: вон он дразнит меня гусенком... Подсматривать не годится!..— сказала она строго.

Все засмеялись. Райский поцеловал ее в обе щеки, взял за талию, и она одолела смущение и вдруг решительно отвечала на его поцелуй, и вся робость слетела с лица.

Видно было, что еще минута, одно слово — и из-за этой смущенной улыбки польется болтовня, смех. Она и так с трудом сдерживала себя — и от этого была неловка.

— Марфенька! помните, помнишь... как мы тут бегали, рисовали... как ты плакала?..

— Нет... ах, помню... как во сне... Бабушка, я помню или нет?..

— Где ей помнить: ей и пяти лет не было...

— Помню, бабушка, ей-богу помню, как во сне...

— Перестань, сударыня, божиться: это ты у Николая Андреича переняла!..

Едва Райский коснулся старых воспоминаний, Марфенька исчезла и скоро воротилась с тетрадями, рисунками, игрушками, подошла к нему ласково и доверчиво заговорила, потом села так близко, как не села бы чопорная девушка. Колени их почти касались между собою, но она не замечала этого.

— Вот видите, братец,— живо заговорила она, весело бегая глазами по его глазам, усам, бороде, оглядывая руки, платье, даже взглянув на сапоги,— видите, какая бабушка, говорит, что я не помню,— а я помню, вот, право, помню, как вы здесь рисовали: я тогда у вас на коленях сидела... Бабушка припрятала все ваши рисунки, портреты, тетради, все вещи — и берегла там, вот в этой темной комнате, где у ней хранится серебро, брильянты, кружева... Она недавно вынула, как

только вы написали, что приедете, и отдала мне. Вот мой портрет — какая я была смешная! а вот Верочка. А вот бабушкин портрет, вот Василисин. Вот Верочкино рисованье. А помните, как вы меня несли через воду одной рукой, а Верочку посадили на плечо?

— Ты и это помнишь? — спросила, вслушавшись, бабушка.— Какая хвастунья — не стыдно тебе! Это недавно Верочка рассказывала, а ты за свое выдаешь! Та помнит кое-что, и то мало, чуть-чуть...

— Вот теперь как я рисую! — сказала Марфенька, показывая нарисованный букет цветов.

— Это очень хорошо — браво, сестрица! с натуры?

— С натуры. Я из воску умею лепить цветы!

— А музыкой занимаешься?

— Да, играю на фортепиано.

— А Верочка: рисует, играет?

Марфенька отрицательно качала головой.

— Нет, она не любит,— сказала она.

— Что же она, рукодельем занимается?

Марфенька опять покачала головой.

— Читать любит? — допытывался Райский.

— Да, читает, только никогда не скажет что и книги не покажет, не скажет даже, откуда достала.

— Та совсем дикарка — странная такая у меня. Бог знает, в кого уродилась! — серьезно заметила Татьяна Марковна и вздохнула.— Не надоедай же пустяками брату,— обратилась она к Марфеньке,— он устал с дороги, а ты глупости ему показываешь. Дай лучше нам поговорить о серьезном, об имении.

Все время, пока Борис занят был с Марфенькой, бабушка задумчиво глядела на него, опять припоминала в нем черты матери, но заметила и перемены: убегающую молодость, признаки зрелости, ранние морщины и странный, непонятный ей взгляд, «мудреное» выражение. Прежде, бывало, она так и читала у него на лице, а теперь там было написано много такого, чего она разобрать не могла.

А у него было тепло и светло на душе. Его осенила тихая задумчивость, навеянная этими картинами и этой встречей.

«Пусть так и останется: светло и просто!» — пожелал он мысленно.

«Постараюсь ослепнуть умом, хоть на каникулы, и быть счастливым! Только ощущать жизнь, а не смотреть в нее, или смотреть затем только, чтобы срисовать сюжеты, не дотрогиваясь до них разъедающим, как уксус, анализом... А то горе! Будем же смотреть, что за сюжеты бог дал мне? Марфенька, бабушка, Верочка — на что они годятся: в роман, в драму или только в идиллию?»

II

Он зевнул широко, и, когда очнулся от задумчивости, перед ним бабушка стоит со счетами, с приходо-расходной тетрадью, с деловым выражением в лице.

— Не устал ли ты с дороги? Может быть, уснуть хочешь: вон ты зеваешь? — спросила она,— тогда оставим до утра.

— Нет, бабушка, я только и делал, что спал! Это нервическая зевота. А вы напрасно беспокоитесь: я счетов смотреть не стану...

— Как не станешь? Зачем же ты приехал, как не принять имение, не потребовать отчета?..

— Какое имение!— небрежно сказал Райский.

— Какое имение: вот посмотри, сколько тягл, земли? вот года четыре назад прикуплено,— видишь, сто двадцать четыре десятины. Вот из них под выгон отдаются...

— Право? — машинально спросил Райский,— вы прикупили?

— Не я, а ты! Не ты ли мне доверенность прислал на покупку?

— Нет, бабушка, не я. Помню, что какие-то бумаги вы присылали мне, я их передал приятелю своему, Ивану Ивановичу, а тот...

— Ты же подписал: гляди, вот копии! — показывала она.

— Может быть, я и подписал,— сказал он, не глядя,— только не помню и не знаю что.

— О чем же ты помнишь? Ведь ты читал мои счеты, ведомости, что я посылала к тебе?

— Нет, бабушка, не читал.

— Как же, там все показано, куда поступали твои доходы,— ты видел?

— Нет, не видал.

— Стало быть, ты не знаешь, куда я твои деньги тратила?

— Не знаю, бабушка, да и не желаю знать! — отвечал он, приглядываясь из окна к знакомой ему дали, к синему небу, к меловым горам за Волгой.— Представь, Марфенька: я еще помню стихи Дмитриева, что в детстве учил:

О Волга пышна, величава,
Прости, но прежде удостой
Склонить свое вниманье к лире
Певца, незнаемого в мире,
Но воспоенного тобой...

— Ты, Борюшка, прости меня: а ты, кажется, полоумный!— сказала бабушка.

— Может быть, бабушка,— равнодушно согласился он.

— Куда же ты девал ведомости об имении, что я посылала тебе? С тобой они?

Он покачал отрицательно головою.

— Где же они?

— Какие ведомости, бабушка: ей-богу, не знаю.

— Ведомости о крестьянах, об оброке, о продаже хлеба, об отдаче огородов... Помнишь ли, сколько за последние года дохода было? По тысяче четыреста двадцати пяти рублей — вот смотри...— Она хотела щелкнуть на счетах.— Ведь ты получал деньги? Последний раз тебе послано было пятьсот пятьдесят рублей ассигнациями: ты тогда писал, чтобы не посылать. Я и клала в приказ: там у тебя...

— Что мне до этого за дело, бабушка! — с нетерпением сказал он.

— Кому же дело? — с изумлением спросила она,— ты этак не думаешь ли, что я твоими деньгами пользовалась? Смотри, вот здесь отмечена всякая копейка. Гляди...— Она ему совала большую шнуровую тетрадь.

— Бабушка! я рвал все счеты и эти, ей-богу, разорву, если вы будете приставать с ними ко мне.

Он взял было счеты, но она быстро вырвала их у него.

— Разорвешь: как ты смеешь? — вспыльчиво сказала она.— Рвал счеты!

Он засмеялся и внезапно обнял ее и поцеловал в губы, как, бывало, делывал мальчиком. Она вырвалась от него и вытерла рот.

— Я тут тружусь, сижу иногда за полночь, пишу, считаю каждую копейку: а он рвал! То-то ты ни слова мне о деньгах, никакого приказа, распоряжения, ничего! Что же ты думал об имении?

— Ничего, бабушка. Я даже забывал, есть ли оно, нет ли. А если припоминал, так вот эти самые комнаты, потому что в них живет единственная женщина в мире, которая любит меня и которую я люблю... Зато только ее одну и больше никого... Да вот теперь полюблю сестер,— весело оборотился он, взяв руку Марфеньки и целуя ее,— все полюблю здесь — до последнего котенка!

— Отроду не видывала такого человека! — сказала бабушка, сняв очки и поглядев на него.— Вот только Маркушка у нас бездомный такой...

— Какой это Маркушка? Мне что-то Леонтий писал... Что Леонтий, бабушка, как поживает? Я пойду к нему...

— Что ему делается? сидит над книгами, воззрится в одно место, и не оттащишь его! Супруга воззрится в другое место... он и не видит, что под носом делается. Вот теперь с Маркушкой подружился: будет прок! Уж он приходил, жаловался, что тот книги, что ли, твои растаскал...

— Bu-ona sera! bu-ona sera! [1] — напевал Райский из «Севильского цирюльника».

---

[1] Добрый вечер! добрый вечер! *(итал.)*

— Странный, необыкновенный ты человек! — говорила с досадой бабушка.— Зачем приехал сюда: говори толком!

— Видеть вас, пожить, отдохнуть, посмотреть на Волгу, пописать, порисовать...

— А имение? Вот тебе и работа: пиши! Коли не устал, поедем в поле, озимь посмотреть.

— После, после бабушка.— Ти, ти, ти, та, та, та, ля, ля, ля...— выделывал он тщательно опять мотив из «Севильского цирюльника».

— Полно тебе: ти, ти, ти, ля, ля, ля! — передразнила она.— Хочешь смотреть и принимать имение?

— Нет, бабушка, не хочу!

— Кто же будет смотреть за ним: я стара, мне не углядеть, не управиться. Я возьму да и брошу: что тогда будешь делать?..

— Ничего не буду делать; махну рукой, да и уеду...

— Не прикажешь ли отдать в чужие руки?

— Нет, пока у вас есть охота — посмотрите, поживите.

— А когда умру?

— Тогда... оставить как есть.

— А мужики: пусть делают, что хотят?

Он кивнул головой.

— Я думал, что они и теперь делают, что хотят. Их отпустить бы на волю...— сказал он.

— На волю: около пятидесяти душ, на волю! — повторила она,— и даром, ничего с них не взять?

— Ничего!

— Чем же ты станешь жить?

— Они наймут у меня землю, будут платить мне что-нибудь.

— Что-нибудь: из милости, что вздумается! Ну, Борюшка!

Она взглянула на портрет матери Райского. Долго глядела она на ее томные глаза, на задумчивую улыбку.

— Да,— сказала потом вполголоса,— не тем будь помянута покойница, а она виновата! Она тебя держала при себе, шептала что-то, играла на клавесине да над книжками плакала. Вот что и вышло: петь да рисовать!

— Что же с домом делать? Куда серебро, белье, брильянты, посуду девать? — спросила она, помолчав.— Мужикам, что ли, отдать?

— А разве у меня есть брильянты и серебро?..— спросил он.

— Сколько я тебе лет твержу! От матери осталось: куда оно денется? На вот, постой, я тебе реестры покажу...

— Не надо, ради бога, не надо: мое, мое, верю. Стало быть, я вправе распорядиться этим по своему усмотрению?

— Ты хозяин, так как же не вправе? Гони нас вон: мы у тебя в гостях живем — только хлеба твоего не едим, извини... Вот, гляди, мои доходы, а вот расходы...

Она совала ему другие большие шнуровые тетради, но он устранил их рукой.

— Верю, верю, бабушка! Ну так вот что: пошлите за чиновником в палату и велите написать бумагу: дом, вещи, землю, все уступаю я милым моим сестрам, Верочке и Марфеньке, в приданое...

Бабушка сильно нахмурилась и с нетерпением ждала конца речи, чтобы разразиться.

— Но пока вы живы,— продолжал он,— все должно оставаться в вашем непосредственном владении и заведывании. А мужиков отпустить на волю...

— Не бывать этому! — пылко воскликнула Бережкова.— Они не нищие, у них по пятидесяти тысяч у каждой. Да после бабушки втрое, а может быть и побольше останется: это все им! Не бывать, не бывать! И бабушка твоя, слава богу, не нищая! У ней найдется угол, есть и клочок земли, и крышка, где спрятаться! Богач какой, гордец, в дар жалует! Не хотим, не хотим! Марфенька! Где ты? Иди сюда!

— Здесь, здесь, сейчас! — отозвался звонкий голос Марфеньки из другой комнаты, куда она вышла, и она впорхнула веселая, живая, резвая, с улыбкой, и вдруг остановилась. Она глядела то на бабушку, то на Райского, в недоумении. Бабушка сильно расходилась.

— Вот слышишь: братец тебе жаловать изволит дом, и серебро, и кружева. Ты ведь бесприданница, нищенка! Приседай же ниже, благодари благодетеля, поцелуй у него ручку. Что же ты?

Марфенька прижалась к печке и глядела на обоих, не зная, что ей сказать.

Бабушка отодвинула от себя все книги, счеты, гордо сложила руки на груди и стала смотреть в окно. А Райский сел возле Марфеньки, взял ее за руки.

— Скажи, Марфенька, ты бы хотела переехать отсюда в другой дом, — спросил он, — может быть, в другой город?

— Ах, сохрани боже: как это можно! Кто это выдумал такую нелепость!..

— Вон кто, бабушка! — сказал Райский, смеясь.

Марфенька сконфузилась, а бабушка, к счастью, не слыхала. Она сердито глядела в окно.

— Ведь у меня тут все: сад и грядки, цветы... А птицы? Кто же будет ходить за ними? Как можно — ни за что...

— Ну, вот бабушка хочет уехать и увезти вас обеих.

— Бабушка, душенька, куда? Зачем? Что это вы затеяли? — бросилась она ласкаться к бабушке.

— Отстань! — сердито оттолкнула ее бабушка.

— Ты не хотела бы, Марфенька, не правда ли, выпорхнуть из этого гнездышка?

— Нет, ни за что! — качая головой, решительно сказала она.— Бросить цветник, мои комнатки... как это можно!

— И Верочка тоже?

— Она еще пуще меня: она ни за что не расстанется с старым домом...

— Она любит его?

— Она там и живет, там ей только и хорошо. Она умрет, если ее увезут — мы обе умрем.

— Ну, так вы никогда не уедете отсюда,— прибавил Райский,— вы обе здесь выйдете замуж, ты, Марфенька, будешь жить в этом доме, а Верочка в старом.

— Слава богу: зачем же пугаете? А вы где сами станете жить?

— Я жить не стану, а когда приеду погостить, вот как теперь, вы мне дайте комнату в мезонине — и мы будем вместе гулять, петь, рисовать цветы, кормить птиц: ти, ти, ти, цып, цып, цып! — передразнил он ее.

— Ах, вы злой! — сказала она.— Я думала, вы не успели даже разглядеть меня, а вы все подслушали!

— Ну, так это дело решенное: вы с Верочкой принимаете от меня в подарок все это, да?

— Да... братец...— весело сказала она и потянулась было к нему.

— Не сметь! — горячо остановила бабушка, до тех пор сердито молчавшая. Марфенька села на свое место.

— Бесстыдница! — укоряла она Марфеньку.— Где ты выучилась от чужих подарки принимать? Кажется, бабушка не тому учила; век свой чужой копейкой не поживилась... А ты не успела и двух слов сказать с ним и уж подарки принимаешь. Стыдно, стыдно! Верочка ни за что бы у меня не приняла: та — гордая!

Марфенька надулась.

— Сами же давеча... сказали,— говорила она сердито,— что он нам не чужой, а брат, и велели поцеловаться с ним; а брат может все подарить.

— Это логично! Против этого спорить нельзя,— одобрял Райский.— Итак, решено: это все ваше, я у вас гость...

— Не бери! — повелительно сказала бабушка.— Скажи: не хочу, не надо, мы не нищие, у нас у самих есть имение.

— Не хочу, братец, не надо...— начала она с иронией повторять и засмеялась.— Не надо так не надо! — прибавила она и вздохнула, лукаво поглядывая на него.

— Да уж ничего этого не будет там у вас, в бабушкином имении,— продолжал Райский.— Посмотри! Какой ковер вокруг дома! Без садика что за житье?

— Я садик возьму! — шепнула она,— только бабушке не го-во-ри-те...— досказала она движениями губ, без слов.

— А кружева, белье, серебро? — говорил он вполголоса.

— Не надо! Кружева у меня есть свои, и серебро тоже! Да я люблю деревянной ложкой есть... У нас всё по-деревенски.

— А эти саксонские чашки, эти пузатые чайники? Таких теперь не делают. Ужели не возьмешь?

— Чашки возьму,— шептала она,— и чайники, еще вон этот диванчик возьму и маленькие кресельца, да эту скатерть, где вышита Диана с собаками. Еще бы мне хотелось взять мою комнатку...— со вздохом прибавила она.

— Ну, весь дом — пожалуйста, Марфенька, милая сестра...

Марфенька поглядела на бабушку, потом, украдкой, утвердительно кивнула ему.

— Ты любишь меня? да?

— Ах, очень! Как вы писали, что приедете, я всякую ночь вижу вас во сне, только совсем не таким...

— Каким же?

— Таким румяным, не задумчивым, а веселым; вы будто все шалите да бегаете...

— Я ведь такой иногда бываю.

Она недоверчиво покосилась на него и покачала головой.

— Так возьмешь домик? — спросил он.

— Возьму, только чтоб и Верочка старый дом согласилась взять. А то одной стыдно: бабушка браниться станет.

— Ну, вот и кончено! — громко и весело сказал он,— милая сестра! Ты не гордая, не в бабушку!

Он поцеловал ее в лоб.

— Что кончено? — вдруг спросила бабушка.— Ты приняла? Кто тебе позволил? Коли у самой стыда нет, так бабушка не допустит на чужой счет жить. Извольте, Борис Павлович, принять книги, счеты, реестры и все крепости на имение. Я вам не приказчица досталась.

Она выложила перед ним бумаги и книги.

— Вот четыреста шестьдесят три рубля денег — это ваши. В марте мужики принесли за хлеб. Тут по счетам увидите, сколько внесено в приказ, сколько отдано за постройку и починку служб, за новый забор, жалованье Савелью — все есть.

— Бабушка!

— Бабушки нет, а есть Татьяна Марковна Бережкова. Позвать сюда Савелья! — сказала она, отворив дверь в девичью.

Через четверть часа вошел в комнату, боком, пожилой, лет сорока пяти мужик, сложенный плотно, будто из одних широких костей, и оттого казавшийся толстым, хотя жиру у него не было ни золотника.

Он был мрачен лицом, с нависшими бровями, широкими веками, которые поднимал медленно, и даром не тратил ни взглядов, ни слов. Даже движений почти не делал. От одного разговора на другой он тоже переходил трудно и медленно.

Мысленная работа совершается у него тяжело: когда он старается выговорить свою мысль, то помогает себе бровями, складками на лбу и отчасти указательным пальцем.

Он острижен в скобку, бороду бреет редко, и у него на губах и на подбородке почти всегда торчит щетина.

— Вот помещик приехал! — сказала бабушка, указывая на Райского, который наблюдал, как Савелий вошел, как медленно поклонился, медленно поднял глаза на бабушку, потом, когда она указала на Райского, то на него, как медленно поворотился к нему и задумчиво поклонился.

— Ты теперь приходи к нему с докладом,— говорила бабушка,— он сам будет управлять имением.

Савелий опять оборотился вполовину к Райскому и исподлобья, но немного поживее, поглядел на него.

— Слушаю! — расстановочно произнес он, и брови поднялись медленно.

— Бабушка! —удерживал полушутя, полусерьезно Райский.

— Внучек! — холодно отозвалась она.

Райский вздохнул.

— Что изволите приказать? — тихо спросил Савелий, не поднимая глаз. Райский молчал и думал, что бы приказать ему.

— Чудесно! Вот что,— живо сказал он.— Ты знаешь какого-нибудь чиновника в палате, который бы мог написать бумагу о передаче имения?

— Гаврила Иванович Мешечников пишет все бумаги нам,— произнес он не вдруг, а подумавши.

— Ну, так попроси его сюда!

— Слушаю! — потупившись отвечал Савелий и медленно, задумчиво поворотившись, пошел вон.

— Какой задумчивый этот Савелий! — сказал Райский, провожая его глазами.

— Будешь задумчив, как навяжется такая супруга, как Марина Антиповна! Помнишь Антипа? ну, так его дочка! А золото-мужик, большие у меня дела делает: хлеб продает, деньги получает,— честный, распорядительный: да вот где-нибудь да подстережет судьба! У всякого свой крест! А ты что это затеял, или в самом деле с ума сошел? — спросила бабушка, помолчав.

— Ведь это мое? — сказал он, обводя рукой кругом себя,— вы не хотите ничего брать и запрещаете внукам...

— Ну, пусть и будет твое! — возразила она.— Зачем же отпускать на волю, дарить?

— Надо же что-нибудь делать! Я уеду отсюда, вы управлять не хотите: надо устроить...

— Зачем уезжать: я думала, что ты совсем приехал. Будет тебе мыкаться! Женись и живи. А то хорошо устройство: отдать тысяч на тридцать всякого добра!

Она беспокойно задумалась и, очевидно, боролась с собой.

Ей бы и в голову никогда не пришло устранить от себя управление имением, и не хотела она этого. Она бы не знала, что делать с собой. Она хотела только попугать Райского — и вдруг он принял это серьезно.

«Пожалуй, чего доброго? от него станется: вон он какой!» — думала она в страхе.

— Так и быть,— сказала она,— я буду управлять, пока силы есть. А то, пожалуй, дядюшка так управит, что под опеку попадешь! Да чем ты станешь жить? Странный ты человек!

— Мне с того имения присылают деньги: тысячи две серебром — и довольно. Да я работать стану,— добавил он,— рисовать, писать... Вот собираюсь за границу пожить: для этого то́ имение заложу или продам...

— Бог с тобой, что ты, Борюшка! Долго ли этак до сумы дойти! Рисовать, писать, имение продать! Не будешь ли по урокам бегать, школьников учить? Эх, ты! из офицеров вышел, вон теперь в короткохвостом сертучишке ходишь! Вместо того, чтобы четверкой в дормёзе прикатить, притащился на перекладной, один, без лакея, чуть не пешком пришел! А еще Райский! Загляни в старый дом, на предков: постыдись хоть их! Срам, Борюшка! То ли бы дело, с этакими эполетами, как у дяди Сергея Ивановича, приехал: с тремя тысячами душ взял бы...

Райский засмеялся.

— Что смеешься! Я дело говорю. Какая бы радость бабушке! Тогда бы не стал дарить кружев да серебра: понадобилось бы самому...

— Ну, а как я не женюсь, и кружев не надо, то решено, что это все Верочке и Марфеньке отдадим... Так или нет?

— Ты опять свое! — заговорила бабушка.

— Да, свое,— продолжал Райский,— и если вы не согласитесь, я отдам все в чужие руки: это кончено, даю вам слово...

— Вот — и слово дал! — беспокойно сказала бабушка. Она колебалась.— Имение отдает! Странный, необыкновенный человек! — повторяла она,— совсем пропащий! Да как ты жил, что делал, скажи на милость! Кто ты на сем свете есть? Все люди как люди. А ты — кто! Вон еще и бороду отпустил — сбрей, сбрей, не люблю!

— Кто я, бабушка? — повторил он вслух,— несчастнейший из смертных!

Он задумался и прилег головой к подушке дивана.

— Не говори этого никогда! — боязливо перебила бабушка,— судьба подслушает, да и накажет: будешь в самом деле несчастный! Всегда будь доволен или показывай, что доволен.

Она даже боязливо оглянулась, как будто судьба стояла у нее за плечами.

— Несчастный! а чем, позволь спросить? — заговорила она,— здоров, умен, имение есть, слава богу, вон какое! — она показала головой в окна.— Чего еще: рожна, что ли, надо?

Марфенька засмеялась, и Райский с нею.

— Что это значит, рожон?

— А то, что человек не чувствует счастья, коли нет рожна,— сказала она, глядя на него через очки.— Надо его ударить бревном по голове, тогда он и узнает, что счастье было, и какое оно плохонькое ни есть, а все лучше бревна.

«Вот что, практическая мудрость!» — подумал он.

— Бабушка! это жизненная заметка — это правда! вы философ!

— Вот ты и умный, и ученый, а не знал этого!

— Помиримтесь? — сказал он, вставши с дивана,— вы согласились опять взять в руки этот клочок...

— Имение, а не клочок! — перебила она.

— Согласитесь же отдать всю ветошь и хлам этим милым девочкам... Я бобыль, мне не надо, а они будут хозяйками. Не хотите, отдадим на школы...

— Школьникам! Не бывать этому! Чтобы этим озорникам досталось! Сколько они одних яблоков перетаскивают у нас через забор!

— Берите скорей, бабушка! Ужели вы на старости лет бросите это гнездо?..

— Ветошь, хлам! Тысяч на десять серебра, белья, хрусталя— ветошь! — твердила бабушка.

— Бабушка,— просила Марфенька,— мне цветничок и садик, да мою зеленую комнату, да вот эти саксонские чашки с пастушком, да салфетку с Дианой...

— Замолчишь ли ты, бесстыдница! Скажут, что мы попрошайки, обобрали сироту!

— Кто скажет? — спросил Райский.

— Все! Первый Нил Андреич заголосит.

— Какой Нил Андреич?

— А помнишь: председатель в палате? Мы с тобой заезжали к нему, когда ты после гимназии приехал сюда,— и не застали. А потом он в деревню уехал; ты его и не видал. Тебе надо съездить к нему: его все уважают и боятся, даром что он в отставке...

— Черт с ним! Что мне за дело до него! — сказал Райский.

— Ах, Борис, Борис,— опомнись! — сказала почти набожно бабушка.— Человек почтенный...

— Чем же он почтенный?

— Старый, серьезный человек, со звездой!

Райский засмеялся.

— Чему смеешься?

— Что значит «серьезный»? — спросил он.

— Говорит умно, учит жить, не запоет: ти, ти, ти да та, та, та. Строгий: за дурное осудит! Вот что значит серьезный.

— Все эти «серьезные» люди — или ослы великие, или лицемеры! — заметил Райский. — «Учит жить»: а сам он умеет ли жить?

— Еще бы не умел! нажил богатство, вышел в люди...

— Иной думает у нас, что вышел в люди, а в самом-то деле он вышел в свиньи...

Марфенька засмеялась.

— Не люблю, не люблю, когда ты так дерзко говоришь! — гневно возразила бабушка. — Ты во что сам вышел, сударь: ни богу свеча, ни черту кочерга! А Нил Андреич все-таки почтенный человек, что ни говори: узнает, что ты так небрежно имением распоряжаешься — осудит! И меня осудит, если я соглашусь взять: ты сирота...

— Вы мне когда-то говорили, что он племянницу обобрал, в казне воровал, — и он же осудит...

— Помолчи, помолчи об этом, — торопливо отозвалась бабушка, — помни правило: «Язык мой — враг мой, прежде ума моего родился!»

— Разве я маленький, что не вправе отдать кому хочу, еще и родственницам? Мне самому не надо, — продолжал он, — стало быть, отдать им — и разумно и справедливо.

— А если ты женишься?

— Я не женюсь.

— Почем знать? Какая-нибудь встреча... вон здесь есть богатая невеста... Я писала тебе...

— Мне не надо богатства!

— Не надо богатства: что городит! Жену ведь надо?

— И жену не надо.

— Как не надо? Как же ты проживешь? — спросила она недоверчиво.

Он засмеялся и ничего не сказал.

— Пора, Борис Павлович, — сказала она, — вон в виске седина показывается. Хочешь, посватаю? А какая красавица, как воспитана!

— Нет, бабушка, не хочу!

— Я не шучу, — заметила она, — у меня давно было в голове.

— И я не шучу, у меня никогда в голове не было.

— Ты хоть познакомься!

— И знакомиться не стану.

— Женитесь, братец, — вмешалась Марфенька, — я бы стала нянчить детей у вас... я так люблю играть с ними.

— А ты, Марфенька, думаешь выйти замуж?

Она покраснела.

— Скажи мне правду, на ухо, — говорил он.

— Да... иногда думаю.

— Когда же иногда?

— Когда детей вижу: я их больше всего люблю...

Райский засмеялся, взял ее за обе руки и прямо смотрел ей в глаза. Она покраснела, ворочалась то в одну, то в другую сторону, стараясь не смотреть на него.

— Ты послушай только: она тебе наговорит! — приговаривала бабушка, вслушавшись и убирая счеты. — Точно дитя: что на уме, то и на языке!

— Я очень люблю детей, — оправдывалась она, смущенная,— мне завидно глядеть на Надежду Никитишну: у ней семь человек... Куда ни обернись, везде дети. Как это весело! Мне бы хотелось побольше маленьких братьев и сестер или хоть чужих деточек. Я бы и птиц бросила, и цветы, музыку, все бы за ними ходила. Один шалит, его в угол надо поставить, тот просит кашки, этот кричит, третий дерется; тому оспочку надо привить, тому ушки пронимать, а этого надо учить ходить... Что может быть веселее! Дети — такие милые, грациозные от природы, смешные, добрые, хорошенькие!

— Есть и безобразные, — сказал Райский,— разве ты и их любила бы?..

— Есть больные, — строго заметила Марфенька,— а безобразных нет! Ребенок не может быть безобразен. Он еще не испорчен ничем.

Все это говорила она с жаром, почти страстно, так что ее грациозная грудь волновалась под кисеей, как будто просилась на простор.

— Какой идеал жены и матери! Милая Марфенька — сестра! Как счастлив будет муж твой!

Она стыдливо села в угол.

— Она все с детьми: когда они тут, ее не отгонишь,— заметила бабушка,— поднимут шум, гам, хоть вон беги!

— А есть у тебя кто-нибудь на примете,— продолжал Райский,— жених какой-нибудь?..

— Что это ты, мой батюшка, опомнись? Как она без бабушкина спроса будет о замужестве мечтать?

— Как, и мечтать не может без спроса?

— Конечно, не может.

— Ведь это ее дело.

— Нет, не ее, а пока бабушкино,— заметила Татьяна Марковна. — Пока я жива, она из повиновения не выйдет.

— Зачем это вам, бабушка?

— Что зачем?

— Такое повиновение: чтоб Марфенька даже полюбить без вашего позволения не смела?

— Выйдет замуж, тогда и полюбит.

— Как «выйдет замуж и полюбит»: полюбит и выйдет замуж, хотите вы сказать?

— Хорошо, хорошо, это у вас там так, — говорила бабушка, замахав рукой,— а мы здесь прежде осмотрим, узнаем, что за человек, пуд соли съедим с ним, тогда и отдаем за него.

— Так у вас еще не выходят девушки, а отдают их — бабушка! Есть ли смысл в этом...

— Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи их этим своим идеям!.. Вон, покойница мать твоя была такая же... да и сошла прежде времени в могилу!

Она вздохнула и задумалась.

«Нет, это все надо переделать! — сказал он про себя... — Не дают свободы — любить. Какая грубость! А ведь добрые, нежные люди! Какой еще туман, какое затмение в их головах!»

— Марфенька! Я тебя просвещу! — обратился он к ней. — Видите ли, бабушка: этот домик, со всем, что здесь есть, как будто для Марфеньки выстроен, — сказал Райский, — только детские надо надстроить. Люби, Марфенька, не бойся бабушки. А вы, бабушка, мешаете принять подарок!

— Ну, добро, посмотрим, посмотрим, — сказала она, — если не женишься сам, так как хочешь, на свадьбу подари им кружева, что ли: только чтобы никто не знал, пуще всего Нил Андреич... надо втихомолку...

— Свободный, разумный и справедливый поступок — втихомолку! Долго ли мы будем жить, как совы, бояться света дневного, слушать совиную мудрость Нилов Андреевичей!..

— Шш! ш, ш! — зашипела бабушка, — услыхал бы он! Человек он старый, заслуженный, а главное серьезный! Мне не сговорить с тобой — поговори с Титом Никонычем. Он обедать придет, — прибавила Татьяна Марковна.

«Странный, необыкновенный человек! — думала она. — Все ему нипочем, ничего в грош не ставит! Имение отдает, серьезные люди у него — дураки, себя несчастным называет! Погляжу еще, что будет!»

III

Райский взял фуражку и собрался идти в сад. Марфенька вызвалась показать ему все хозяйство: и свой садик, и большой сад, и огород, цветник, беседки.

— Только в лес боюсь; я не хожу с обрыва, там страшно, глухо! — говорила она. — Верочка приедет, она проводит вас туда.

Она надела на голову косынку, взяла зонтик и летала по грядкам и цветам, как сильф, блестя красками здоровья, веселостью серо-голубых глаз и летним нарядом из прозрачных тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой из этих цветов, лучей, тепла и красок весны.

Борис видел все это у себя в уме и видел себя, задумчивого, тяжелого. Ему казалось, что он портит картину, для которой ему тоже нужно быть молодому, бодрому, живому, с такими же, как у ней, налитыми жизненной влагой глазами, с такой же резвостью движений.

Ему хотелось бы рисовать ее бескорыстно, как артисту, без себя, вот как бы нарисовал он, например, бабушку. Фантазия услужливо рисовала ее во всей старческой красоте: и выходила живая фигура, которую он наблюдал покойно, объективно.

А с Марфенькой это не удавалось. И сад, казалось ему, хорош оттого, что она тут. Марфенька реяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку то у того, то у другого цветка.

— Вот этот розан вчера еще почкой был, а теперь посмотрите, как распустился,— говорила она, с торжеством показывая ему цветок.

— Как ты сама! — сказал он.

— Ну, уж хороша роза!

— Ты лучше ее!

— Понюхайте, как она пахнет!

Он нюхал цветок и шел за ней.

— А вот эти маргаритки надо полить и пионы тоже!— говорила она опять, и уже была в другом углу сада, черпала воду из бочки и с грациозным усилием несла лейку, поливала кусты и зорко осматривала, не надо ли полить другие.

— А в Петербурге еще и сирени не зацвели, — сказал он.

— Ужели? А у нас уж отцвели, теперь акации начинают цвести. Для меня праздник, когда липы зацветут,— какой запах!

— Сколько здесь птиц! — сказал он, вслушиваясь в веселое щебетанье на деревьях.

— У нас и соловьи есть — вон там, в роще! И мои птички все здесь пойманы,— говорила она.— А вот тут в огороде мои грядки: я сама работаю. Подальше — там арбузы, дыни, вот тут цветная капуста, артишоки...

— Пойдем, Марфенька, к обрыву, на Волгу смотреть.

— Пойдемте, только я близко не пойду, боюсь. У меня голова кружится. И не охотница я до этого места! Я недолго с вами пробуду! Бабушка велела об обеде позаботиться. Ведь я хозяйка здесь! У меня ключи от серебра, от кладовой. Я вам велю достать вишневого варенья: это ваше любимое, Василиса сказывала.

Он улыбкой поблагодарил ее.

— А что к обеду? — спросила она.— Бабушка намерена угостить вас на славу.

— Ведь я обедал. Разве к ужину?

— До ужина еще полдник будет: за чаем простоквашу подают; что лучше вы любите, творог со сливками... или...

— Да, я люблю творог... — рассеянно отвечал Райский.

— Или простоквашу?

— Да, хорошо простоквашу...

— Что же лучше? — спросила она и, не слыша ответа, обернулась посмотреть, что его занимает. А он пристально сле-

дил, как она, переступая через канавку, приподняла край платья и вышитой юбки и как из-под платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная, и крепкая небольшая нога, в белом чулке, с коротеньким, будто обрубленным носком, обутая в лакированный башмак, с красной сафьянной отделкой и с пряжкой.

— Ты любишь щеголять, Марфенька: лакированный башмак! — сказал он.

Он думал, что она смутится, пойманная врасплох, приготовился наслаждаться ее смущением, смотреть, как она быстро и стыдливо бросит из рук платье и юбку.

— Это мы с бабушкой на ярмарке купили,— сказала она, приподняв еще немного юбку, чтоб он лучше мог разглядеть башмак.— А у Верочки лиловые,— прибавила она. — Она любит этот цвет. Что же вам к обеду: вы еще не сказали?

Но он не слушал ее. «Милое дитя! — думал он,— тебе не надо притворяться стыдливой!»

— Я не хочу есть, Марфенька. Дай руку, пойдем к Волге.

Он прижал ее руку к груди и чувствовал, как у него бьется сердце, чуя близость... чего? наивного, милого ребенка, доброй сестры или... молодой, расцветшей красоты? Он боялся, станет ли его на то, чтоб наблюдать ее, как артисту, а не отдаться, по обыкновению, легкому впечатлению?

У него перед глазами был идеал простой, чистой натуры, и в душе созидался образ какого-то тихого, семейного романа, и в то же время он чувствовал, что роман понемногу захватывал и его самого, что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь как будто втягивает его...

— Ты поешь, Марфенька? — спросил он.

— Да... немножко,— застенчиво отвечала она.

— Что же?

— Русские романсы; начала итальянскую музыку, да учитель уехал. Я пою: «Una voce poco fa»[1], только трудно очень для меня. А вы поете?

— Диким голосом, но зато беспрестанно.

— Что же?

— Все.— И он запел из «Ломбардов», потом марш из «Семирамиды»[2] и вдруг замолк.

Он взглядывал близко ей в глаза, жал руку и соразмерял свой шаг с ее шагом.

«Ничего больше не надо для счастья,— думал он,— умей только остановиться вовремя, не заглядывать вдаль. Так бы сделал другой на моем месте. Здесь все есть для тихого счастья — но... это не мое счастье!» Он вздохнул. «Глаза привыкнут... вооб-

---

[1] «В полуночной тишине» *(итал.)* — ария Розины из оперы Россини (1792—1868) «Севильский цирюльник».

[2] «Л о м б а р д ы» — опера Верди (1813—1901); «Семирамида» — опера Россини.

ражение устанет, — и впечатление износится... иллюзия лопнет, как мыльный пузырь, едва разбудив нервы!..»

Он выпустил ее руку и задумался.

— Что ж вы молчите? — спросила она. «Ничего не говорит!» — про себя прибавила потом.

— Ты любишь читать... читаешь, Марфенька? — спросил он, очнувшись.

— Да, когда соскучусь, читаю.

— Что же?

— Что попадется: Тит Никоныч журналы носит, повести читаю. Иногда у Верочки возьму французскую книгу какую-нибудь. «Елену» недавно читала мисс Еджеворт, еще «Джен Эйр»...[1] Это очень хорошо... Я две ночи не спала: все читала, не могла оторваться.

— Что тебе больше нравится? Какой род чтения?

Она подумала немного, очевидно затрудняясь определить род.

— Да вы смеяться будете, как давеча над гусенком... — сказала она, не решаясь говорить.

— Нет, нет, Марфенька: смеяться над такой милой, хорошенькой сестрой! Ведь ты хорошенькая?

— Ну, что за хорошенькая! — небрежно сказала она, — толстая, белая! Вот Верочка так хорошенькая, прелесть!

— Что же ты любишь читать? Поэзию читаешь: стихи?

— Да, Жуковского, Пушкина недавно «Мазепу»[2] прочла.

— Что же, нравится?

Она отрицательно покачала головой.

— Отчего?

— Жалко Марию. Вот «Гулливеровы путешествия» нашла у вас в библиотеке и оставила у себя. Я их раз семь прочла. Забуду немного и опять прочту. Еще «Кота Мура», «Братья Серапионы», «Песочный человек»:[3] это больше всего люблю.

— Какие же тебе книжки еще нравятся? Читала ли ты серьезное что-нибудь?

— Серьезное? — повторила она, и лицо у ней вдруг серьезно сморщилось немного. — Да, вон у меня из ваших книг остались некоторые, да я их не могу одолеть...

— Какие же?

— Шатобриана — «Les Martyrs...»[4] Это уже очень высоко для меня!

---

[1] Роман известной английской писательницы Шарлотты Бронте (1816—1855).

[2] То есть поэму А. С. Пушкина «Полтава».

[3] «Путешествия Гулливера» — роман английского писателя-сатирика Джонатана Свифта (1667—1745); «Житейские воззрения кота Мурра», «Серапионовы братья», «Песочный человек» — произведения немецкого писателя-романтика Гофмана (1776—1822).

[4] «Мученики» *(франц.)*.

— Ну, а историю?

— Леонтий Иванович давал — Мишле, «Précis de l'histoire moderne» [1], потом Римскую историю, кажется, Жибона...

— То есть Гиббона: что же?

— Я не дочитала... слишком величественно! Это надо только учителям читать, чтоб учить...

— Ну, романы читаешь?

— Да... только такие, где кончается свадьбой.

Он засмеялся, и она за ним.

— Это глупо? да? — спросила она.

— Нет, мило. В тебе глупого не может быть.

— Я всегда прежде посмотрю, — продолжала она смелее,— и если печальный конец в книге — я не стану читать. Вон «Басурмана» [2] начала, да Верочка сказала, что жениха казнили, я и бросила.

— Стало быть, ты и «Горя от ума» не любишь? Там не свадьбой кончается.

Она потрясла головой.

— Софья Павловна гадкая,— заметила она. — а Чацкого жаль: пострадал за то, что умнее всех!

Он с улыбкой вслушивался в ее литературный лепет и с возрастающим наслаждением вглядывался ей в глаза, в беленькие тесные зубы, когда она смеялась.

— Мы будем вместе читать, — сказал он, — у тебя сбивчивые понятия, вкус не развит. Хочешь учиться? Будешь понимать, делать верно критическую оценку.

— Да, только выбирайте книжки, где веселый конец, свадьба...

— И детки чтоб были? — лукаво спросил он, — чтоб одного «кашкой кормили», другому «оспочку прививали»? Да?

— Злой, злой! ничего не стану говорить вам... Вы все замечаете, ничего не пропустите...

— Так ты не выйдешь ни за кого без бабушкина спроса?

— Не выйду!— сказала она с твердостью, даже немного хвастливо, что она не в состоянии сделать такого дурного поступка.

— Почему же так?

— А если он картежник, или пьяница, или дома никогда не сидит, или безбожник какой-нибудь, вон как Марк Иваныч... почем я знаю? А бабушка все узнает...

— А Марк Иваныч безбожник?

— Никогда в церковь не ходит.

— Ну, а если этот безбожник или картежник понравится тебе?..

— Все равно, я не выйду за него!

— А если полюбишь ты?..

---

[1] «Очерки истории нового времени» *(франц.)*.

[2] Исторический роман И. И. Лажечникова (1792—1869).

— Картежника или такого, который смеется над религией, вон как Марк Иваныч: будто это можно? Я с ним не заговорю никогда; как же полюблю?

— Так что бабушка скажет, так тому и быть?

— Да, она лучше меня знает.

— А когда же ты сама будешь знать и жить?

— Когда... буду в зрелых летах, буду своим домом жить, когда у меня будут свои...

— Дети? — подсказал Райский.

— Свои коровы, лошади, куры, много людей в доме... Да, и дети... — краснея, добавила она.

— А до тех пор все бабушка?

— Да. Она умная, добрая, она все знает. Она лучше всех здесь и в целом свете! — с одушевлением сказала она.

Он замолчал, припоминал Беловодову, разговор с ней, сходство между той и другой, и разные причины этого сходства, и причины несходства.

У него рисовались оба образа и просились во что-то: обе готовые, обе прекрасные — каждая своей красотой — обе разливали яркий свет на какую-то картину.

Что из этого будет — он не знал, и пока решил написать Марфенькин портрет масляными красками.

Они подошли к обрыву. Марфенька боязливо заглянула вниз и, вздрогнув, попятилась назад.

Райский бросил взгляд на Волгу, забыл все и замер неподвижно, воззрясь в ее задумчивое течение, глядя, как она раскидывается по лугам широкими разливами.

Полноводье еще не сбыло, и река завладела плоским прибрежьем, а у крутых берегов шумливо и кругами омывала подножия гор. В разных местах, незаметно, будто не двигаясь, плыли суда. Высоко на небе рядами висели облака.

Марфенька подошла к Райскому и смотрела равнодушно на всю картину, к которой привыкла давно.

— Вот эти суда посуду везут, — говорила она, — а это расшивы из Астрахани плывут. А вот, видите, как эти домики окружило водой? Там бурлаки живут. А вон, за этими двумя горками, дорога идет к попадье. Там теперь Верочка. Как там хорошо, на берегу! В июле мы будем ездить на остров, чай пить. Там бездна цветов.

Райский молчал.

— Там зайцы водятся, только теперь их затопило, бедных! У меня кролики есть, я вам покажу!

Он продолжал молчать.

— В конце лета суда с арбузами придут, — продолжала она, — сколько их тут столпится! Мы покупаем только мочить, а к десерту свои есть, крупные, иногда в пуд весом бывают. Прошлый год больше пуда один был, бабушка архиерею отослала.

Райский все смотрел.

«Все молчит!» — шепнула Марфенька про себя.

— Пойдем туда! — вдруг сказал он, показывая на обрыв и взяв ее за руку.

— Ах, нет, нет, боюсь! — говорила она, дрожа и пятясь.

— Со мной боишься?

— Боюсь!

— Я тебе не дам упасть. Разве ты не веришь, что я сберегу тебя?

— Верю, да боюсь. Вон Верочка не боится: одна туда ходит, даже в сумерки! Там убийца похоронен, а ей ничего!

— Ну, если б я сказал тебе: «Закрой глаза, дай руку и иди, куда я поведу тебя», — ты бы дала руку? закрыла бы глаза?

— Да... дала бы и глаза бы закрыла, только... одним глазом тихонько бы посмотрела...

— Ну, вот теперь попробуй — закрой глаза, дай руку; ты увидишь, как я тебя сведу осторожно: ты не почувствуешь страха. Давай же, вверься мне, закрой глаза.

Она закрыла глаза, но так, чтоб можно было видеть, и только он взял ее за руку и провел шаг, она вдруг увидела, что он сделал шаг вниз, а она стоит на краю обрыва, вздрогнула и вырвала у него руку.

— Ни за что не пойду, ни за что! — с хохотом и визгом говорила она, вырываясь от него.— Пойдемте, пора домой, бабушка ждет! Что же к обеду? — спрашивала она,— любите ли вы макароны? свежие грибы?

Он ничего не отвечал и любовался ею.

— Какая ты прелесть! Ты цельная, чистая натура! и как ты верна ей, — сказал он, — ты находка для художника! Сама естественность!

Он поцеловал у нее руку.

— Чего-чего не наговорили обо мне! Да куда же вы?

Ответа не было. Она подошла к обрыву шага на два, робко заглянула туда и видела, как с шумом раздавались кусты врозь и как Райский, точно по крупным уступам лестницы, прыгал по горбам и впадинам оврага.

— Страсть какая! — с дрожью сказала она и пошла домой.

IV

Райский обогнул весь город и из глубины оврага поднялся опять на гору, в противоположном конце от своей усадьбы. С вершины холма он стал спускаться в предместье. Весь город лежал перед ним как на ладони.

Он с пристрастным чувством, пробужденным старыми, почти детскими воспоминаниями, смотрел на эту кучу разнохарактерных домов, домиков, лачужек, сбившихся в кучу или

разбросанных по высотам и по ямам, ползущих по окраинам оврага, спустившихся на дно его, домиков с балконами, с маркизами, с бельведерами, с пристройками, надстройками, с венецианскими окошками или едва заметными щелями вместо окон, с голубятнями, скворечниками, с пустыми, заросшими травой, дворами. Смотрел на искривленные, бесконечные, идущие между плетнями, переулки, на пустые, без домов, улицы, с громкими надписями: «Московская улица», «Астраханская улица», «Саратовская улица», с базарами, где навалены груды лык, соленой и сушеной рыбы, кадки дегтю и калачи; на зияющие ворота постоялых дворов, с далеко разносящимся запахом навоза, и на бренчащие по улице дрожки.

Было за полдень давно. Над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше, какой бывает на море, штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не город, а кладбище, как все эти города.

Он не то умер, не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли, как разверзтые, но не говорящие уста; нет дыхания, не бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык у этого лежащего тела? Все пестро, зелено, и все молчит.

Райский вошел в переулки и улицы: даже ветер не ходит. Пыль, уже третий день нетронутая, одним узором от проехавших колес лежит по улицам; в тени забора отдыхает козел, да куры, вырыв ямки, уселись в них, а неутомимый петух ищет поживы, проворно раскапывая то одной, то другой ногой кучу пыли.

Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе, бросаясь, по временам, от праздности, с лаем на редкого прохожего, до которого им никакого дела нет.

Простор и пустота — как в пустыне. Кое-где высунется из окна голова с седой бородой, в красной рубашке, поглядит, зевая, на обе стороны, плюнет и спрячется.

В другое окно, с улицы, увидишь храпящего на кожаном диване человека, в халате: подле него на столике лежат «Ведомости», очки и стоит графин квасу.

Другой сидит по целым часам у ворот, в картузе, и в мирном бездействии смотрит на канаву с крапивой и на забор на противоположной стороне. Давно уж мнет носовой платок в руках — и все не решается высморкаться: лень.

Там кто-то бездействует у окна, с пенковой трубкой, и когда бы кто ни прошел, всегда сидит он — с довольным, ничего не желающим и нескучающим взглядом.

В другом месте видел Райский такую же, сидящую у окна, пожилую женщину, весь век проведшую в своем переулке, без суматохи, без страстей и волнений, без ежедневных встреч с бесконечно-разнообразной породой подобных себе, и не ве-

дающую скуки, которую так глубоко и тяжко ведают в больших городах, в центре дел и развлечений.

Райский, идучи из переулка в переулок, видел кое-где семью за трапезой, а там, в мещанском доме, уж подавали самовар.

В безлюдной улице за версту слышно, как разговаривают двое, трое между собой. Звонко раздаются голоса в пустоте и шаги по деревянной мостовой.

Где-то в сарае кучер рубит дрова, тут же поросенок хрюкает в навозе; в низеньком окне, в уровень с землею, отдувается коленкоровая занавеска с бахромой, путаясь в резеде, бархатцах и бальсаминах.

Там сидит, наклоненная над шитьем, бодрая, хорошенькая головка и шьет прилежно, несмотря на жар и всех одолевающую дремоту. Она одна бодрствует в доме и, может быть, сторожит знакомые шаги...

Из отворенных окон одного дома обдало его сотней звонких голосов, которые повторяли азы и делали совершенно лишнею надпись на дверях: «Школа».

Дальше набрел он на постройку дома, на кучу щепок, стружек, бревен и на кружок расположившихся около огромной деревянной чашки плотников. Большой каравай хлеба, накрошенный в квас лук да кусок красноватой соленой рыбы — был весь обед.

Мужики сидели смирно и молча, по очереди опускали ложки в чашку и опять клали их, жевали, не торопясь, не смеялись и не болтали за обедом, а прилежно, и будто набожно, исполняли трудную работу.

Райскому хотелось нарисовать эту группу усталых, серьезных, буро-желтых, как у отаитян, лиц, эти черствые, загорелые руки, с негнущимися пальцами, крепко вросшими, будто железными, ногтями, эти широко и мерно растворяющиеся рты и медленно жующие уста, и этот — поглощающий хлеб и кашу — голод.

Да, голод, а не аппетит: у мужиков не бывает аппетита. Аппетит вырабатывается праздностью, моционом и негой, голод — временем и тяжкой работой.

«Однако какая широкая картина тишины и сна! — думал он, оглядываясь вокруг, — как могила! Широкая рама для романа! Только что́ я вставлю в эту раму?»

Он мысленно снимал рисунок с домов, замечал выглядывавшие физиономии встречных, группировал лица бабушки, дворни.

Все это пока толпилось около Марфеньки. Она была центром картины. Фигура Беловодовой отступила на второй план и стояла одиноко.

Он медленно, машинально шел по улицам, мысленно разрабатывая свой новый материал. Все фигуры становились отчетливо у него в голове, всех он видел их там, как живыми.

«Что, если б на этом сонном, неподвижном фоне да легла бы картина страсти!— мечтал он.— Какая жизнь вдруг хлынула бы в эту раму! Какие краски... Да где взять красок и... страсти тоже?..»

«Страсть! — повторил он очень страстно. — Ах, если б на меня излился ее жгучий зной, сжег бы, пожрал бы артиста, чтоб я слепо утонул в ней и утопил эти свои параллельные взгляды, это пытливое, двойное зрение! Надо, чтоб я не глазами, на чужой коже, а чтоб собственными нервами, костями и мозгом костей вытерпел огонь страсти, и после — желчью, кровью и по́том написал картину ее, эту геенну людской жизни. Страсть Софьи... Нет, нет! — холодно думал он.— Она «выше мира и страстей». Страсть Марфеньки!» — он засмеялся.

Оба образа побледнели, и он печально опустил голову и равнодушно глядел по сторонам.

«Да, из них выйдет роман, — думал он, — роман, пожалуй, верный, но вялый, мелкий, — у одной с аристократическими, у другой с мещанскими подробностями. Там широкая картина холодной дремоты в мраморных саркофагах, с золотыми, шитыми на бархате, гербами на гробах; здесь — картина теплого летнего сна, на зелени, среди цветов, под чистым небом, но все сна, непробудного сна!»

Он пошел поскорее, вспомнив, что у него была цель прогулки, и поглядел вокруг, кого бы спросить, где живет учитель Леонтий Козлов. И никого на улице: ни признака жизни. Наконец он решился войти в один из деревянных домиков.

На крыльце его обдал такой крепкий запах, что он засовался в затруднении, которую из трех бывших там дверей отворить поскорее. За одной послышалось движение, и он вошел в небольшую переднюю.

— Кто там? — с изумлением спросила пожилая женщина, которая держала в объятиях самовар и готовилась нести его, по-видимому, ставить.

— Не можете ли вы мне сказать, где здесь живет учитель Леонтий Козлов? — спросил Райский.

Она с испугом продолжала глядеть на него во все глаза.

— Кто там? — послышался голос из другой комнаты, и в то же время зашаркали туфли и показался человек, лет пятидесяти, в пестром халате, с синим платком в руках.

— Вот учителя какого-то спрашивает! — сказала одурелая баба.

Господин в халате тоже воззрился с удивлением на Райского.

— Какого учителя? Здесь не живет учитель... — говорил он, продолжая с изумлением глядеть на посетителя.

— Извините, я приезжий, только сегодня утром приехал и не знаю никого: я случайно зашел в эту улицу и хотел спросить...

— Не угодно ли пожаловать в комнату? — ласково пригласил хозяин войти.

Райский последовал за ним в маленькую залу, где стояли простые, обитые кожей стулья, такое же канапе и ломберный столик под зеркалом.

— Прошу садиться! — просил он. — Вы какого учителя изволите спрашивать? — продолжал он, когда они сели.

— Леонтия Козлова.

— Есть купец Козлов, торгует в рядах... — задумчиво говорил хозяин.

— Нет, Козлов — учитель древней словесности, — повторил Райский.

— Словесности... нет, не знаю... Вам бы в гимназии спросить — она там на горе...

«Это я и сам знаю»,— подумал Райский.

— Извините, — сказал он, — я думал, что всякий его знает, так как он давно в городе.

— Позвольте... не он ли у председателя учит детей? Так он там и живет: бравый такой из себя...

— Нет, нет — этот не бравый! — с усмешкой заметил Райский, уходя.

Вышедши на улицу, он наткнулся на какого-то прохожего и спросил, не знает ли он, где живет учитель Леонтий Козлов.

Тот подумал немного, оглядел с ног до головы Райского, потом отвернулся в сторону, высморкался в пальцы и сказал, указывая в другую сторону:

— Это, должно быть, там, на выезде, за мостом: там какой-то учитель живет.

К счастию Райского, прохожий кантонист вслушался в разговор.

— Эх, ты: это садовник! — сказал он.

— Знаю, что садовник, да он учитель,— возразил первый.— К нему господа на выучку ребят присылают...

— Им не его надо,—возразил писарь, глядя на Райского,— пожалуйте за мной! — прибавил он и проворно пошел вперед.

Райский следовал за ним из улицы в улицу, и, наконец, вожатый привел его к тому дому, откуда звонко и дружно раздавались азы.

— Вот школа, вон и учитель сам сидит! — прибавил он, указывая в окно на учителя.

— Да это совсем не то! — с неудовольствием отозвался Райский, бесясь на себя, что забыл дома спросить адрес Козлова.

— А то еще на горе есть гимназия... — сказал кантонист.

— Ну, хорошо, спасибо, я найду сам! — поблагодарил Райский и вошел в школу, полагая, что учитель, верно, знает, где живет Леонтий.

Он не ошибся: учитель, загнув в книгу палец, вышел с Рай-

ским на улицу и указал, как пройти одну улицу, потом завернуть направо, потом налево.

— Там упретесь в садик,— прибавил он,— тут Козлов и живет.

«Да, долго еще до прогресса! — думал Райский, слушая раздававшиеся ему вслед детские голоса и проходя в пятый раз по одним и тем же улицам и опять не встречая живой души.— Что за фигуры, что за нравы, какие явления! Все, все годятся в роман: все эти штрихи, оттенки, обстановка — перлы для кисти! Каков-то Леонтий: изменился или все тот же ученый, но недогадливый младенец? Он — тоже находка для художника!»

И вошел в дом.

V

Леонтий принадлежал к породе тех, погруженных в книги и ничего, кроме их, не ведающих ученых, живущих прошлою или идеальною жизнию, жизнию цифр, гипотез, теорий и систем, и не замечающих настоящей, кругом текущей жизни.

Выводится и, кажется, вывелась теперь эта любопытная порода людей на белом свете. Изида сняла вуаль с лица, и жрецы ее, стыдясь, сбросили парики, мантии, длиннополые сюртуки, надели фраки, пальто и вмешались в толпу.

Редко где встретишь теперь небритых, нечесаных ученых, с неподвижным и вечно задумчивым взглядом, с одною, вертящеюся около науки речью, с односторонним, ушедшим в науку умом, иногда и здравым смыслом, неловких, стыдливых, убегающих женщин, глубокомысленных, с забавною рассеянностью и с умилительной младенческой простотой, — этих мучеников, рыцарей и жертв науки. И педант науки — теперь стал анахронизмом, потому что ею не удивишь никого.

Леонтий принадлежал еще к этой породе, с немногими смягчениями, какие сделало время. Он родился в одном городе с Райским, воспитывался в одном университете.

Глядя на него, еще на ребенка, непременно скажешь, что и ученые, по крайней мере такие, как эта порода, подобно поэтам, тоже — nascuntur [1]. Всегда, бывало, он с растрепанными волосами, с блуждающими где-то глазами, вечно копающийся в книгах или в тетрадях, как будто у него не было детства, не было нерва — шалить, резвиться.

Потешалась же над ним и молодость. То мазнет его сажей по лицу какой-нибудь шалун, Леонтий не догадается и ходит с пятном целый день, к потехе публики, да еще ему же достанется от надзирателя, зачем выпачкался.

Даст ли ему кто щелчка или дернет за волосы, ущипнет, — он сморщится, и вместо того, чтоб вскочить, броситься и до-

---

[1] Рождаются *(лат.)*.

гнать шалуна, он когда-то соберется обернуться и посмотрит рассеянно во все стороны, а тот уж за версту убежал, а он почесывает больное место, опять задумывается, пока новый щелчок или звонок к обеду не выведут его из созерцания.

Съедят ли у него из-под рук завтрак или обед, он не станет производить следствия, а возьмет книгу посерьезнее, чтобы заморить аппетит, или уснет, утомленный голодом.

Промыслить обед, стащить или просто попросить — он был еще менее способен, нежели преследовать похитителей. Зато, если ошибкой, невзначай, сам набредет на съестное, чужое ли, свое ли — то непременно, бывало, съест.

Как, однако, ни потешались товарищи над его задумчивостью и рассеянностию, но его теплое сердце, кротость, добродушие и поражавшая даже их, мальчишек в школе, простота, цельность характера, чистого и высокого — все это приобрело ему ничем не нарушимую симпатию молодой толпы. Он имел причины быть многими недоволен — им никто и никогда.

Выросши из периода шалостей, товарищи поняли его и окружили уважением и участием, потому что, кроме характера, он был авторитетом и по знаниям. Он походил на немецкого гелертера, знал древние и новые языки, хотя ни на одном не говорил, знал все литературы, был страстный библиофил.

Фактические знания его были обширны и не были стоячим болотом, не строились, как у некоторых из усидчивых семинаристов в уме строятся кладбища, где прибавляется знание за знанием, как строится памятник за памятником, и все они порастают травой и безмолвствуют.

У Леонтия, напротив, билась в знаниях своя жизнь, хотя прошлая, но живая. Он открытыми глазами смотрел в минувшее. За строкой он видел другую строку. К древнему кубку приделывал и пир, на котором из него пили, к монете — карман, в котором она лежала.

Часто с Райским уходили они в эту жизнь. Райский как дилетант — для удовлетворения мгновенной вспышки воображения, Козлов — всем существом своим; и Райский видел в нем в эти минуты то же лицо, как у Васюкова за скрипкой, и слышал живой, вдохновенный рассказ о древнем быте или, напротив, сам увлекал его своей фантазией — и они полюбили друг в друге этот живой нерв, которым каждый был по-своему связан с знанием.

Леонтий впадал в пристрастие к греческой и латинской грамоте и бывал иногда сух, казался педантичен, и это не из хвастовства, а потому, что она была ему мила, она была одеждой, сосудом, облекавшим милую, дорогую, изученную им и приветливо открывавшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей жизни.

Он любил ее, эту родоначальницу наших знаний, нашего развития, но любил слишком горячо, весь отдался ей, и от него

ушла и спряталась современная жизнь. Он был в ней как будто чужой, не свой, смешной, неловкий.

Леонтий был классик и безусловно чтил все, что истекало из классических образцов или что подходило под них. Уважал Корнеля, даже чувствовал слабость к Расину, хотя и говорил с усмешкой, что они заняли только тоги и туники, как в маскараде, для своих маркизов: но все же в них звучали древние имена дорогих ему героев и мест.

В новых литературах, там, где не было древних форм, признавал только одну высокую поэзию, а тривиального, вседневного не любил; любил Данте, Мильтона, усиливался прочесть Клопштока — и не мог. Шекспиру удивлялся, но не любил его; любил Гёте, но не романтика Гёте, а классика, наслаждался римскими элегиями и путешествиями по Италии больше, нежели Фаустом, Вильгельма Мейстера [1] не признавал, но знал почти наизусть Прометея и Тасса [2].

Он шел смотреть Рафаэля, но авторитета фламандской школы не уважал, хотя невольно улыбался, глядя на Теньера.

Он был так беден, как нельзя уже быть беднее. Жил в каком-то чуланчике, между печкой и дровами, работал при свете плошки, и если б не симпатия товарищей, он не знал бы, где взять книг, а иногда белья и платья.

Подарков он не принимал, потому что нечем было отдарить. Ему находили уроки, заказывали диссертации и дарили за это белье, платье, редко деньги, а чаще всего книги, которых от этого у него накопилось больше, нежели дров.

Все юношество кипело около него жизнью, строя великолепные планы будущего: один он не мечтал, не играл ни в полководцы, ни в сочинители, а говорил одно: «Буду учителем в провинции», — считая это скромное назначение своим призванием.

Товарищи, и между прочим Райский, старались расшевелить его самолюбие, говорили о творческой, производительной деятельности и о профессорской кафедре. Это, конечно, был маршальский жезл, венец его желаний. Но он глубоко вздыхал в ответ на эти мечты.

— Да, прекрасно,— говорил он, вдумываясь в назначение профессора,— действовать на ряды поколений живым словом, передавать все, что сам знаешь и любишь! Сколько и самому для себя занятий, сколько средств: библиотека, живые толки с собратами, можно потом за границу, в Германию, в Кембридж... в Эдинбург, — одушевляясь, прибавлял он, — познакомиться, потом переписываться... Да нет, куда мне! — прибавлял он, отрезвляясь,— профессор обязан другими должностями, он

---

[1] Фауст — герой одноименной трагедии Гёте (1749—1832); Вильгельм Мейстер — герой романов Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера» и «Годы странствия Вильгельма Мейстера».

[2] Речь идет о произведениях Гёте «Прометей» и «Тассо».

в советах, его зовут на экзамены... Речь на акте надо читать... Я потеряюсь, куда мне! нет, буду учителем в провинции! — заключал он решительно и утыкал нос в книгу или тетради.

Все более или менее обманулись в мечтах. Кто хотел воевать, истреблять род людской, не успел вернуться в деревню, как развел кучу подобных себе и осовел на месте, погрузясь в толки о долгах в опекунский совет, в карты, в обеды.

Другой мечтал добиться высокого поста в службе, на котором можно свободно действовать на широкой арене, и добился места члена в клубе, которому и посвятил свои досуги.

Вот и Райский мечтал быть артистом, и все «носит еще огонь в груди», все производит начатки, отрывки, мотивы, эскизы и широкие замыслы, а имя его еще не громко, произведения не радуют света.

Один Леонтий достиг заданной себе цели и уехал учителем в провинцию.

Пришло время расставаться, товарищи постепенно уезжали один за другим. Леонтий оглядывался с беспокойством, замечал пустоту и тосковал, не зная, по непрактичности своей, что с собой делать, куда деваться.

— И ты! — уныло говорил он, когда кто-нибудь приходил прощаться.

Редкий мог не заплакать, расставаясь с ним, и сам он задыхался от слез, не помня ни щипков, ни пинков, ни проглоченных насмешек и непроглоченных, по их милости, обедов и завтраков.

Наконец надо было и ему хлопотать о себе. Но где ему? Райский поднял на ноги все, профессора приняли участие, писали в Петербург и выхлопотали ему желанное место в желанном городе.

Там, на родине, Райский, с помощью бабушки и нескольких знакомых, устроили его на квартире, и только уладились все эти внешние обстоятельства, Леонтий принялся за свое дело, с усердием и терпением вола и осла вместе, и ушел опять в свою, или лучше сказать чужую, минувшую жизнь.

Татьяна Марковна не совсем была внимательна к богатой библиотеке, доставшейся Райскому, книги продолжали изводиться в пыли и в прахе старого дома. Из них Марфенька брала изредка кое-какие книги, без всякого выбора: как, например, Свифта, Павла и Виргинию [1], или возьмет Шатобриана, потом Расина, потом роман мадам Жанлис, и книги берегла, если не больше, то наравне с своими цветами и птицами.

Прочими книгами в старом доме одно время заведывала Вера, то есть брала, что ей нравилось, читала или не читала, и ставила опять на свое место. Но все-таки до книг дотрогивалась

---

[1] «Павел и Виргиния» — роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1734—1814).

живая рука, и они кое-как уцелели, хотя некоторые, постарее и позамасленнее, тронуты были мышами. Вера писала об этом через бабушку к Райскому, и он поручил передать книги на попечение Леонтия.

Леонтий обмер, увидя тысячи три волюмов — и старые, запыленные, заплесневелые книги получили новую жизнь, свет и употребление, пока, как видно из письма Козлова, какой-то Марк чуть было не докончил дела мышей.

VI

Леонтий был женат. Эконом какого-то казенного заведения в Москве держал, между прочим, стол для приходящих студентов, давая за рубль с четвертью медью три, а за полтинник четыре блюда. Студенты гурьбой собирались туда.

Их привлекали не одни щи, лапша, макароны, блины и т. п. из казенной капусты, крупы и муки, не дешевизна стола, а также и дочь эконома, которая управляла и отцом и студентами.

Она была очень молоденькая в ту эпоху, когда учились Райский и Козлов, но, несмотря на свои шестнадцать или семнадцать лет, чрезвычайно бойкая, всегда порхавшая, быстроглазая девушка.

У ней был прекрасный нос и грациозный рот, с хорошеньким подбородком. Особенно профиль был правилен, линия его строга и красива. Волосы рыжеватые, немного потемнее на затылке, но чем шли выше, тем светлее, и верхняя половина косы, лежавшая на маковке, была золотисто-красноватого цвета: от этого у ней на голове, на лбу, отчасти и на бровях, тоже немного рыжеватых, как будто постоянно горел луч солнца.

Около носа и на щеках роились веснушки и не совсем пропадали даже зимою. Из-под них пробивался пунцовый пламень румянца. Но веснушки скрадывали огонь и придавали лицу тень, без которой оно казалось как-то слишком ярко освещено и открыто.

Оно имело еще одну особенность: постоянно лежащий смех в чертах, когда и не было чему и не расположена она была смеяться. Но смех как будто застыл у ней в лице и шел больше к нему, нежели слезы, да едва ли кто и видал их на нем.

Студенты все влюблялись в нее, по очереди или по нескольку в одно время. Она всех водила за нос и про любовь одного рассказывала другому и смеялась над первым, потом с первым над вторым. Некоторые из-за нее перессорились.

Кто-то догадался и подарил ей парижские ботинки и серьги, она стала ласковее к нему: шепталась с ним, убегала в сад и приглашала к себе по вечерам пить чай.

Другие узнали и последовали тому же примеру: кто дарил материю на платье, под предлогом благодарности о продоволь-

ствии, кто доставал ложу, носили ей конфекты, и Уленька стала одинаково любезна почти со всеми.

Тут развернулись ее способности. Если кто, бывало, станет ревновать ее к другим, она начнет смеяться над этим, как над делом невозможным, и вместе с тем умела казаться строгой, бранила волокит за то, что завлекают и потом бросают неопытных девиц.

Она порицала и осмеивала подруг и знакомых, когда они увлекались, живо и с удовольствием расскажет всем, что сегодня на заре застали Лизу, разговаривающую с письмоводителем чрез забор в саду, или что вон к той барыне (и имя, отчество и фамилию скажет) ездит все барин в карете и выходит от нее часу во втором ночи.

Соперников она учила, что и как говорить, когда спросят о ней, когда и где были вчера, куда уходили, что шептали, зачем пошли в темную аллею или в беседку, зачем приходил вечером тот или другой — все.

Леонтий, разумеется, и не думал ходить к ней: он жил на квартире, на хозяйских однообразных харчах, то есть на щах и каше, и такой роскоши, чтоб обедать за рубль с четвертью или за полтинник, есть какие-нибудь макароны или свиные котлеты, — позволять себе не мог. И одеться ему было не во что: один вицмундир и двое брюк, из которых одни нанковые для лета, — вот весь его гардероб.

Но Райский раза три повел его туда. Леонтий не обращал внимания на Ульяну Андреевну и жадно ел, чавкая вслух и думая о другом, и потом робко уходил домой, не говоря ни с кем, кроме соседа, то есть Райского.

И некрасив он был: худ, задумчив, черты неправильные, как будто все врознь, ни румянца, ни белизны на лице: оно было какое-то бесцветное.

Только когда он углубится в длинные разговоры с Райским или слушает лекцию о древней и чужой жизни, читает старца-классика,— тогда только появлялась вдруг у него жизнь в глазах, и глаза эти бывали умны, оживлены.

Но где Уленьке было заметить такую красоту? Она заметила только, что у него то на вицмундире пуговицы нет, то панталоны разорваны или худые сапоги. Да еще странно казалось ей, что он ни разу не посмотрел на нее пристально, а глядел как на стену, на скатерть.

Этого еще никогда ни с кем не случалось, кто приходил к ней. Даже и невпечатлительные молодые люди, и те остановят глаза прежде всего на ней.

А этот ни на нее, ни на кухарку Устинью не взглянет, когда та подает блюда, меняет тарелки.

А Устинья тоже замечательна в своем роде. Она — постоянный предмет внимания и развлечения гостей. Это была нескладная баба, с таким лицом, которое как будто чему-нибудь

сильно удивилось когда-то, да так на всю жизнь и осталось с этим удивлением. Но Леонтий и ее не замечал.

Уж у Уленьки не раз скалились зубы на его фигуру и рассеянность, но товарищи, особенно Райский, так много наговорили ей хорошего о нем, что она ограничивалась только своим насмешливым наблюдением, а когда не хватало терпения, то уходила в другую комнату разразиться смехом.

— Какой смешной этот Козлов у вас! — говорила она.

— Он предобрый! — хвалил его кто-нибудь.

— Преумный, с какими познаниями: по-гречески только профессор да протопоп в соборе лучше его знают! — говорил другой. — Его адъюнктом сделают.

— Высокой нравственности! — прибавлял с увлечением третий.

Однажды — это было в пятый или шестой раз, как он пришел с Райским обедать — он, по рассеянности, пересидел за обедом всех товарищей; все ушли, он остался один и задумчиво жевал какое-то пирожное из рису.

Он не заметил, что Ульяна Андреевна подставила другую полную миску, с тем же рисом. Он продолжал машинально доставать ложкой рис и класть в рот.

Она тихонько переменила третью, подложив еще рису, и сама из-за двери другой комнаты наблюдала, как он ел, и зажимала платком рот, чтоб не расхохотаться вслух. Он все ел.

«Добрый! — думала она,— собак не бьет! Какая же это доброта, коли он ничего подарить не может! Умный! — продолжала она штудировать его,— ест третью тарелку рисовой каши и не замечает! Не видит, что все кругом смеются над ним! Высоконравственный!..»

Она подумала, подумала над этим эпитетом, почесала себе пальцем темя, осмотрела рассеянно свои ногти и зевнула.

— На нем, кажется, и рубашки нет: не видать! Хороша нравственность! — заключила она.

Он все ел.

«Эк жрет: и не взглянет!» — думала она и не выдержала, принялась хохотать.

Он услыхал смех, очнулся, растерялся и стал искать фуражку.

— Не торопитесь, доедайте, — сказала она, — хотите еще?

— Нет... нет... Я домой... — говорил он стыдливо, не глядя на нее, и совался из угла в угол, отыскивая фуражку.

А Уленька давно схватила ее с окна и надела на себя.

— Где ж она? Кто-нибудь из ваших унес,— сказала она.

— Не может быть... — говорил Леонтий, бросая туда и сюда рассеянные взгляды, — свою бы оставил, а то нет никакой...

«Везде глядит, только не на меня, — медведь!» — думала она.

— Нет ли какой-нибудь шапки? — спросил он, — тут недалеко, я дойду как-нибудь.

— Куда вы? Рано: пойдемте в сад! Может быть, фуражку сыщем, — звала она... — Не затащил ли кто-нибудь туда, в беседку?

Он машинально пошел за ней, и когда они прошли шагов десять по дорожке, он взглянул случайно на нее и увидел свою фуражку. Кроме фуражки, он опять ничего не заметил.

— Ах! — обрадовался он,— это вы...

Тут только он взглянул на нее, потом на фуражку, опять на нее и вдруг остановился с удивленным лицом, как у Устиньи, даже рот немного открыл и сосредоточил на ней испуганные глаза, как будто в первый раз увидал ее. Она засмеялась.

«Насилу разглядел!» — подумала она и надела на него фуражку.

— Что ж вы стали? Идите со мной, — сказала она.

— Мне пора! — отвечал он, не двигаясь с места.

— Куда пора? Успеете — я не пущу вас.

Она быстро опять сняла у него фуражку с головы; он машинально обеими руками взял себя за голову, как будто освидетельствовал, что фуражки опять нет, и лениво пошел за ней, по временам робко и с удивлением глядя на нее.

— Отчего вы к нам обедать не ходите? Приходите завтра,— сказала она.

— Дорого! — отвечал он.

— Дорого! Разве вы... так бедны? — с любопытством спросила она.

— Да, я очень... — отвечал он, потупясь.

Он было застыдился своей бедности, потом вдруг ему стало стыдно этой мелкой черты, которая вдруг откуда-то ошибкой закралась к нему в характер.

— Я очень беден, — сказал он, — разве вам не говорил Райский, что мне иногда за квартиру нечем заплатить: вы видите?

Он показывал ей полинявший и отчасти замаслившийся рукав вицмундира.

Она равнодушно глядела на изношенный рукав, как на дело до нее не касающееся, потом на всю фигуру его, довольно худую, на худые руки, на выпуклый лоб и бесцветные щеки. Только теперь разглядел Леонтий этот, далеко запрятанный в черты ее лица, смех.

— Вы смеетесь надо мной? — спросил он с удивлением. Так неестественно казалось ему смеяться над бедностью.

— И не думала,— равнодушно сказала она,— что за редкость — изношенный мундир? Мало ли я их вижу!

Он недоверчиво поглядел на нее; она действительно не смеялась и не хотела смеяться, только смеялось у ней лицо.

— Вон у вас пуговицы нет. Постойте, не уходите, подождите меня здесь! — заметила она, проворно побежала домой и через две минуты воротилась с ниткой, иглой, с наперстком и пуговицей.

— Стойте смирно, не шевелитесь! — сказала она, взяла в одну руку борт его сюртука, прижала пуговицу и другой рукой живо начала сновать взад и вперед иглой мимо носа Леонтья.

Щека ее была у его щеки, и ему надо было удерживать дыхание, чтоб не дышать на нее. Он устал от этого напряженного положения, и даже его немного бросило в пот. Он не спускал глаз с нее.

«Да у ней чистый римский профиль!» — с удивлением думал он.

Через две минуты она кончила, потом крепко прижалась щекой к его груди, около самого сердца, и откусила нитку. Леонтий онемел на месте и стоял растерянный, глядя на нее изумленными глазами.

Это кошачье проворство движений, рука, чуть не задевающая его по носу, наконец прижатая к груди щека кружили ему голову.

Он будто охмелел. От нее веяло на него теплом и нежным запахом каких-то цветов.

«Что это такое, что же это?.. Она, кажется, добрая,— вывел он заключение, — если б она только смеялась надо мной, то пуговицы бы не пришила. И где она взяла ее? Кто-нибудь из наших потерял!»

— Что ж стоите? Скажите *merci*, да поцелуйте ручку! Ах, какой! — сказала она повелительно и прижала крепко свою руку к его губам, все с тем же проворством, с каким пришивала пуговицу, так что поцелуй его раздался в воздухе, когда она уже отняла руку.

Леонтий взглянул на нее еще раз и потом уже никогда не забыл. В нем зажглась вдруг сильная, ровная и глубокая страсть.

— Приходите завтра обедать, — сказала она.

— Дорого! — отвечал он наивно. Но занял у Райского немного денег и пришел. Потом опять пришел.

Это заметили товарищи, и Райский стал приглашать его чаще. Леонтий понял, что над ним подтрунивают, и хотел было сразу положить этому конец, перестав ходить. Он упрямился.

— Пойдем! — звал его Райский.

— Нет, Борис, не пойду,— отговаривался он,— что мне там делать: вы все любезны, красивы, разговаривать мастера, а я! Что я ей? Она вон все смеется надо мной!

— Да, может быть, она не станет смеяться... — нерешительно говорил Райский,— когда покороче познакомится с тобой...

— Станет, как не станет! — говорил Леонтий с жалкой улыбкой, оглядывая себя с ног до головы.

Но, однако ж, пошел и ходил часто. Она не гуляла с ним по темной аллее, не пряталась в беседку, и неразговорчив он был, не дарил он ее, но и не ревновал, не делал сцен, ничего, что делали другие, по самой простой причине: он не видал, не замечал и не подозревал ничего, что делала она, что делали другие, что делалось вокруг.

Он видел только ее римский чистый профиль, когда она стояла или сидела перед ним, чувствовал веющий от нее на него жар и запах каких-то цветов да часто потрогивал себя за пришитую ею пуговицу.

Он слушал, что она говорила ему, не слыхал, что говорила другим, и верил только тому, что видел и слышал от нее.

И ей не нужно было притворяться перед ним, лгать, прикидываться. Она держала себя с ним прямо, просто, как держала себя, когда никого с ней не было.

Он так и принимал за чистую монету всякий ее взгляд, всякое слово, молчал, много ел, слушал, и только иногда воззрится в нее странными, будто испуганными глазами, и молча следит за ее проворными движениями, за резвой речью, звонким смехом, точно вчитывается в новую, незнакомую еще ему книгу, в ее немое, вечно насмешливое лицо.

— Что ты видишь в ней? — приставали товарищи.

Он смущался, уходил и сам не знал, что с ним делается. Перед выходом у всех оказалось что-нибудь: у кого колечко, у кого вышитый кисет, не говоря о тех знаках нежности, которые не оставляют следа по себе. Иные удивлялись, кто почувствительнее, ударились в слезы, а большая часть посмеялись над собой и друг над другом.

Только Леонтий продолжал смотреть на нее серьезно, задумчиво и вдруг объявил, что женится на ней, если она согласится, лишь только он получит место и устроится. Над этим много смеялись товарищи, и она также.

Она прозвала его женихом и, смеясь, обещала написать к нему, когда придет время выходить замуж. Он принял это не шутя. С тем они и расстались.

Что было с ней потом, никто не знает. Известно только, что отец у ней умер, что она куда-то уезжала из Москвы и воротилась больная, худая, жила у бедной тетки, потом, когда поправилась, написала к Леонтью, спрашивала, помнит ли он ее и свои старые намерения.

Он отвечал утвердительно и лет через пять после выпуска ездил в Москву и приехал оттуда женатым на ней.

Он любил жену свою, как любят воздух и тепло. Мало того, он, погруженный в созерцание жизни древних, в их мысль и искусство, умудрился видеть и любить в ней какой-то блеск и колорит древности, античность формы.

Вдруг иногда она мелькнет мимо него, сядет с шитьем напротив, он нечаянно из-за книги поразится лучом какого-то света, какой играет на ее профиле, на рыжих висках или на белом лбу.

Его поражала линия ее затылка и шеи. Голова ее казалась ему похожей на головы римских женщин на классических барельефах, на камеях: с строгим, чистым профилем, с такими же каменными волосами, немигающим взглядом и застывшим в чертах лица сдержанным смехом.

VII

Леонтий не узнал Райского, когда тот внезапно показался в его кабинете.

— Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить... — начал было он.

Но только Борис Павлович заговорил, он упал в его объятия.

— Жена! Уленька! Поди-ка, посмотри, кто приехал! — кричал он в садик жене.

Та бросилась и поцеловала Райского.

— Как вы возмужали и... похорошели! — сказала она, и глаза у нее загорелись от удовольствия.

Она бросила беглый взгляд на лицо, на костюм Райского, и потом лукаво и смело глядела ему прямо в глаза.

— Вы всех здесь с ума сведете, меня первую... Помните?..— начала она и глазами договорила воспоминание.

Райский немного смутился и поглядывал на Леонтия, что он, а он ничего. Потом он, не скрывая удивления, поглядел на нее, и удивление его возросло, когда он увидел, что годы так пощадили ее: в тридцать с небольшим лет она казалась если уже не прежней девочкой, то только разве расцветшей, развившейся и прекрасно сложившейся физически женщиной.

Бойкость выглядывала из ее позы, глаз, всей фигуры. А глаза по-прежнему мечут искры, тот же у ней пунцовый румянец, веснушки, тот же веселый, беспечный взгляд и, кажется, та же девическая резвость!

— Как вы... сохранились, — сказал он, — все такая же...

— Моя рыжая Клеопатра! — заметил Леонтий.— Что ей делается: детей нет, горя мало...

— Вы не забыли меня: помните? — спросила она.

— Еще бы не помнить! — отвечал за него Леонтий.— Если ее забыл, так кашу не забывают... А Уленька правду говорит: ты очень возмужал, тебя узнать нельзя: с усами, с бородой! Ну, что бабушка? Как, я думаю, обрадовалась! Не больше, впрочем, меня. Да радуйся же, Уля: что ты уставила на него глаза и ничего не скажешь?

— Что же мне сказать?

— Скажи — salve, amico... [1]

— Ну, ты свое: я и без тебя сумею поздороваться, не учи!

— Не знает, что сказать лучшему другу своего мужа! Ты вспомни, что он познакомил нас с тобой; с ним мы просиживали ночи, читывали...

— Да, если б не ты, — перебил Райский, — римские поэты и историки были бы для меня все равно, что китайские. От нашего Ивана Ивановича не много узнали...

— А в школе, — продолжал Козлов, не слушая его, — защищал от забияк и сам во все время оттаскал меня за волосы... всего два раза...

— Так было и это? — спросила жена. — Ужели вы его били?

— Вероятно, шутя...

— Ах, нет, Борис: больно! — сказал Леонтий,— иначе бы я не помнил, а то помню, и за что. Один раз я нечаянно на твоем рисунке на обороте сделал выписку откуда-то — для тебя же: ты взбесился! А в другой раз... ошибкой съел что-то у тебя...

— Не рисовую ли кашу? — спросила жена.

— Вот, она мне этой рисовой кашей житья не дает,— заметил Леонтий,— уверяет, что я незаметно съел три тарелки и что за кашей и за кашу влюбился в нее. Что я, в самом деле, урод, что ли!

— Нет, ты у меня «умный, добрый и высокой нравственности»,— сказала она, с своим застывшим смехом в лице, и похлопала мужа по лбу, потом поправила ему галстук, выправила воротнички рубашки и опять поглядела лукаво на Райского.

Он, по взглядам, какие она обращала к нему, видел, что в ней улыбаются старые воспоминания и что она не только не хоронит их в памяти, но передает глазами и ему. Но он сделал вид, что не заметил того, что в ней происходило.

Он наблюдал ее молча, и у него в голове начался новый рисунок и два новые характера, ее и Леонтья.

«Все та же; все верна себе, не изменилась,— думал он. — А Леонтий знает ли, замечает ли? Нет, по-прежнему, кажется, знает наизусть чужую жизнь и не видит своей. Как они живут между собой... Увижу, посмотрю...»

— Кстати о каше: ты с нами обедаешь, да? — спросил Леонтий.

— Как это можно! — вступилась жена, — приглашать на такой стол, как наш! Ведь вы уж не студенты: Борис Павлович в Петербурге избаловался, я думаю...

— Ты что ешь? — спросил Леонтий.

— Все,— отвечал Райский.

---

[1] Приветствую, друг... *(итал.)*

— А если все, так будешь сыт. Ну, вот, как я рад. Ах, Борис... право, и высказать не умею!

Он стал собирать со стола бумаги и книги.

— Бабушка как бы не стала ждать...— колебался Райский.

— Ну, уж ваша бабушка! — с неудовольствием заметила Ульяна Андреевна.

— А что?

— Не люблю я ее!

— За что же?

— Командовать очень любит... и осуждать тоже...

— Да, правда, она деспотка... Это от привычки владеть крепостными людьми. Старые нравы!

— Если послушать ее,— продолжала Ульяна Андреевна,— так все сиди на месте, не повороти головы, не взгляни ни направо, ни налево, ни с кем слова не смей сказать: мастерица осуждать! А сама с Титом Никонычем неразлучна: тот и днюет и ночует там...

Райский засмеялся.

— Что вы, она просто святая! — сказал он.

— Ну, уж святая: то нехорошо, другое нехорошо. Только и света, что внучки! А кто их знает, какие они будут? Марфенька только с канарейками да с цветами возится, а другая сидит, как домовой, в углу, и слова от нее не добьешься. Что будет из нее — посмотрим!

— Это Верочка? Я еще ее не видал, она за Волгой гостит...

— А кто ее знает, что она там делает за Волгой?

— Нет, я бабушку люблю, как мать,— сказал Райский,— от многого в жизни я отделался, а она все для меня авторитет. Умна, честна, справедлива, своеобычна: у ней какая-то сила есть. Она недюжинная женщина. Мне кое-что мелькнуло в ней...

— Поэтому вы поверите ей, если она...

Ульяна Андреевна отвела Райского к окну, пока муж ее собирал и прятал по ящикам разбросанные по столу бумаги и ставил на полки книги.

— Поэтому вы поверите, если она скажет вам...

— Всему,— сказал Райский.

— Не верьте, неправда,— говорила она,— я знаю, она начнет вам шептать вздор... про m-r Шарля...

— Кто это m-r Шарль?

— Это француз, учитель, товарищ мужа: они там сидят, читают вместе до глубокой ночи... Чем я тут виновата? А по городу бог знает что говорят... будто я... будто мы...

Райский молчал.

— Не верьте — это глупости, ничего нет...— Она смотрела каким-то русалочным, фальшивым взглядом на Райского, говоря это.

— Что мне за дело? — сказал Райский, порываясь от нее прочь,— я и слушать не стану...

— Когда же к нам опять придете? — спросила она.

— Не знаю, как случится...

— Приходите почаще... вы, бывало, любили...

— Вы все еще помните прошлые глупости! — сказал Райский, отодвигаясь от нее,— ведь мы были почти дети...

— Да, хороши дети! Я еще не забыла, как вы мне руку оцарапали...

— Что вы! — сказал Райский, еще отступая от нее.

— Да, да. А кто до глубокой ночи караулил у решетки?..

— Какой я дурак был, если это правда! Да нет, быть не может!

— Да, вы теперь умны стали, и тоже, я думаю, «высокой нравственности»... Шалун! — прибавила она певучим, нежным голосом.

— Полноте, полноте! — унимал он ее. Ему становилось неловко.

— Да, мое время проходит...— сказала она со вздохом, и смех на минуту пропал у нее из лица.— Немного мне осталось... Что это, как мужчины счастливы: они долго могут любить...

— Любить! — иронически, почти про себя сказал Райский.

— Вы теперь уже не влюбитесь в меня — нет? — говорила она.

— Полноте: ни в вас, ни в кого! — сказал он, — мое время уж прошло: вон седина пробивается! И что вам за любовь — у вас муж, у меня свое дело... Мне теперь предстоит одно: искусство и труд. Жизнь моя должна служить и тому и другому...

Он задумался, и Марфенька, чистая, безупречная, с свежим дыханием молодости, мелькнула у него в уме. Его тянуло домой, к ней и к бабушке, но радость свидания с старым товарищем удержала.

— Ну, уж выдумают: труд! — с досадой отозвалась Ульяна Андреевна.— Состояние есть, собой молодец: только бы жить, а они — труд! Что это, право, скоро все на Леонтья будут похожи: тот уткнет нос в книги и знать ничего не хочет. Да пусть его! Вы-то зачем туда же?.. Пойдемте в сад... Помните наш сад?..

— Да, да, пойдемте! — пристал к ним Леонтий,— там и обедать будем. Вели, Уленька, давать, что есть — скорее. Пойдем, Борис, поговорим... Да...— вдруг спохватился он,— что же ты со мной сделаешь... за библиотеку?

— За какую библиотеку? Что ты мне там писал? Я ничего не понял! Какой-то Марк книги рвал...

— Ах, Борис Павлович, ты не можешь представить, сколько он мне горя наделал, этот Марк: вот посмотри!

Он достал книги три и показал Райскому томы с вырванными страницами.

— Вот что он сделал из Вольтера: какие тоненькие томы

«Dictionnaire philosophique»[1] стали... А вот тебе Дидро, а вот перевод Бэкона, а вот Макиавелли...

— Что мне за дело? — с нетерпением сказал Райский, отталкивая книги...— Ты точно бабушка: та лезет с какими-то счетами, этот с книгами! Разве я затем приехал, чтобы вы меня со света гнали?

— Да как же, Борис: не знаю там, с какими она счетами лезла к тебе, а ведь это лучшее достояние твое, это — книги, книги... Ты посмотри!

Он с гордостью показывал ему ряды полок до потолка, кругом всего кабинета, и книги в блестящем порядке.

— Вот только на этой полке почти все попорчено: проклятый Марк! А прочие все целы! Смотри! У меня каталог составлен: полгода сидел за ним. Видишь!..

Он хвастливо показывал ему толстую писаную книгу, в переплете.

— Все своей рукой написал! — прибавил он, поднося книгу к носу Райского.

— Отстань, я тебе говорю! — с нетерпением отозвался Райский.

— Ты вот садись на кресло и читай вслух по порядку, а я влезу на лестницу и буду тебе показывать книги. Они все по нумерам...— говорил Леонтий.

— Вон что выдумал! Отстань, я есть хочу.

— Ну, так после обеда — и в самом деле теперь не успеем.

— Послушай: тебе хотелось бы иметь такую библиотеку?— спросил Райский.

— Мне? Такую библиотеку?

Ему вдруг как будто солнцем ударило в лицо: он просиял и усмехнулся во всю ширину рта, так что даже волосы на лбу зашевелились.

— Такую библиотеку,— произнес он,— ведь тут тысячи три: почти всё! Сколько мемуаров одних! Мне? — Он качал головой.— С ума сойду!

— Скажи: ты любишь меня,— спросил Райский,— по-прежнему?

— Еще бы! Из нужды выручал, оттаскал за волосы всего два раза...

— Ну, так возьми себе эти книги в вечное и потомственное владение, но на одном условии...

— Мне, взять эти книги! — Леонтий смотрел то на книги, то на Райского, потом махнул рукой и вздохнул.

— Не шути, Борис: у меня в глазах рябит... Нет, vade retro...[2] Не обольщай...

— Я не шучу.

---

[1] «Философского словаря» *(франц.)*.

[2] Отыди... *(лат.)*

— Бери, когда дают! — живо прибавила жена, которая услышала последние слова.

— Вот, она у меня всегда так! — жаловался Леонтий.— От купцов на праздники и к экзамену родители явятся с гостинцами — я вон гоню отсюда, а она их примет оттуда, со двора. Взяточница! С виду точь-в-точь Тарквиниева Лукреция [1], а любит лакомиться, не так, как та!..

Райский улыбнулся, она рассердилась.

— Поди ты с своей Лукрецией! — небрежно сказала она,— с кем он там меня не сравнивает? Я — и Клеопатра, и какая-то Постумия, и Лавиния, и Корнелия, еще матрона... Ты лучше книги бери, когда дарят! Борис Павлович подарит мне...

— Не смей просить! — повелительно крикнул Леонтий.— А мы что ему подарим? Тебя, что ли, отдам? — добавил он, нежно обняв ее рукой.

— Отдай: я пойду — возьмите меня! — сказала она, вдруг сверкнув Райскому в глаза взглядом, как будто огнем.

— Ну, если не берешь, так я отдам книги в гимназию: дай сюда каталог! Сегодня же отошлю к директору...— сказал Райский и хотел взять у Леонтия реестр книг.

— Помилуй: это значит, гимназия не увидит ни одной книги... Ты не знаешь директора? — с жаром восстал Леонтий и сжал крепко каталог в руках. — Ему столько же дела до книг, сколько мне до духов и помады... Растаскают, разорвут — хуже Марка!

— Ну, так бери!

— Да как же вдруг этакое сокровище подарить! Ее продать в хорошие, надежные руки — так... Ах, боже мой! Никогда не желал я богатства, а теперь тысяч бы пять дал... Не могу, не могу взять: ты мот, ты блудный сын — или нет, нет, ты слепой младенец, невежа...

— Покорно благодарю...

— Нет, нет — не то,— говорил, растерявшись, Леонтий.— Ты — артист: тебе картины, статуи, музыка. Тебе что книги? Ты не знаешь, что у тебя тут за сокровища! Я тебе после обеда покажу...

— А! Ты и после обеда, вместо кофе, хочешь мучить меня книгами: в гимназию!

— Ну, ну, постой: на каком условии ты хотел отдать мне библиотеку? Не хочешь ли из жалованья вычитать, я все продам, заложу себя и жену...

— Пожалуйста, только не меня...— вступилась она,— я и сама сумею заложить или продать себя, если захочу!

Райский поглядел на Леонтья, Леонтий на Райского.

— За словом в карман не пойдет!— сказал Козлов.— На каком же условии? Говори! — обратился он к Райскому.

---

[1] Римлянка, которая предпочла смерть бесчестию (VI в. до н. э.).

— Чтоб ты никогда не заикался мне о книгах, сколько бы их Марк ни рвал...

— Так ты думаешь, я Марку дам теперь близко подойти к полкам?

— Он не спросится тебя, подойдет и сам,— сказала жена,— чего он испугается, этот урод?

— Да, это правда: надо крепкие замки приделать,— заметил Леонтий.— Да и ты хороша: вот,— говорил он, обращаясь к Райскому,— любит меня, как дай бог, чтоб всякого так любила жена...

Он обнял ее за плечи: она опустила глаза, Райский тоже; смех у ней пропал из лица.

— Если б не она, ты бы не увидал на мне ни одной пуговицы,— продолжал Леонтий,— я ем, сплю покойно, хозяйство хоть и маленькое, а идет хорошо; какие мои средства, а на все хватает!

Она мало-помалу подняла глаза и смотрела прямее на них обоих, оттого, что последнее было правда.

— Только вот беда,— продолжал Леонтий,— к книгам холодна. По-французски болтает проворно, а дашь книгу, половины не понимает; по-русски о сю пору с ошибками пишет. Увидит греческую печать, говорит, что хорошо бы этакий узор на ситец, и ставит книги вверх дном, а по-латыни заглавия не разберет. Opera Horatii [1] — переводит «Горациевы оперы»!..

— Ну, не поминай же мне больше о книгах: на этом условии я только и не отдам их в гимназию,— заключил Райский.— А теперь давай обедать, или я к бабушке уйду. Мне есть хочется.

VIII

— Скажи, пожалуйста, ты так век думаешь прожить? — спросил Райский после обеда, когда они остались в беседке.

— Да, а как же? Чего же мне еще? — спросил с удивлением Леонтий.

— Ничего тебе не хочется, никуда не тянет тебя? Не просит голова свободы, простора? Не тесно тебе в этой рамке? Ведь в глазах, вблизи — все вон этот забор, вдали — вот этот купол церкви, до́ма... под носом...

— А под носом — вон что! — Леонтий указал на книги,— мало, что ли? Книги, ученики... жена в придачу,— он засмеялся,— да душевный мир... Чего больше?

— Книги! Разве это жизнь? Старые книги сделали свое дело; люди рвутся вперед, ищут улучшить себя, очистить понятия, прогнать туман, условиться поопределительнее в общественных вопросах, в правах, в нравах; наконец привести в по-

---

[1] Сочинения Горация *(лат.)*.

рядок и общественное хозяйство... А он глядит в книгу, а не в жизнь!

— Чего нет в этих книгах, того и в жизни нет или не нужно! — торжественно решил Леонтий. — Вся программа, и общественной и единичной жизни, у нас позади: все образцы даны нам. Умей напасть на свою форму, а она готова. Не отступай только — и будешь знать, что делать. Позади найдешь образцы форм и политических и общественных порядков. И лично для себя то же самое: кто ты: полководец, писатель, сенатор, консул, или невольник, или школьный мастер, или жрец? Смотри: вот они все живые здесь — в этих книгах. Учи их жизнь и живи, учи их ошибки и избегай, учи их добродетели и, если можно, подражай. Да трудно! Их лица строги, черты крупны, характеры цельны и не разбавлены мелочью! Трудно вливаться в эти величавые формы, как трудно надевать их латы, поднимать мечи, секиры! Не поднять и подвигов их! Мы и давай выдумывать какую-то свою, новую жизнь! Вот отчего мне никогда ничего и никуда дальше своего угла не хотелось: не верю я в этих нынешних великих людей...

Он говорил с жаром, и черты лица у самого у него сделались, как у тех героев, о которых он говорил.

— Стало быть, по-твоему, жизнь там и кончилась, а это все не жизнь? Ты не веришь в развитие, в прогресс?

— Как не верить, верю! Вся эта дрянь, мелочь, на которую рассыпался современный человек, исчезнет: все это приготовительная работа, сбор и смесь еще неосмысленного материала. Эти исторические крохи соберутся и сомнутся рукой судьбы опять в одну массу, и из этой массы выльются со временем опять колоссальные фигуры, опять потечет ровная, цельная жизнь, которая впоследствии образует вторую древность. Как не веровать в прогресс! Мы потеряли дорогу, отстали от великих образцов, утратили многие секреты их бытия. Наше дело теперь — понемногу опять взбираться на потерянный путь и... достигать той же крепости, того же совершенства в мысли, в науке, в правах, в нравах и в твоем «общественном хозяйстве»... цельности в добродетелях и, пожалуй, в пороках! Низость, мелочи, дрянь — все побледнеет: выправится человек и опять встанет на железные ноги... Вот и прогресс!

— Ты все тот же старый студент, Леонтий! Все нянчишься с отжившей жизнью, а о себе не подумаешь, кто ты сам?

— Кто? — повторил Козлов, — учитель латинского и греческого языков. Я так же нянчусь с этими отжившими людьми, как ты с своими никогда не жившими идеалами и образами. А ты кто? Ведь ты художник, артист? Что же ты удивляешься, что я люблю какие-нибудь образцы? Давно ли художники перестали черпать из древнего источника...

— Да, художник! — со вздохом сказал Райский, — художество мое здесь, — он указал на голову и грудь, — здесь

образы, звуки, формы, огонь, жажда творчества, и вот еще я почти не начал...

— Что же мешает? Ведь ты рисовал какую-то большую картину: ты писал, что готовишь ее на выставку...

— Черт с ними, с большими картинами! — с досадой сказал Райский,— я бросил почти живопись. В одну большую картину надо всю жизнь положить, а не выразишь и сотой доли из того живого, что проносится мимо и безвозвратно утекает. Я пишу иногда портреты...

— Что же ты делаешь теперь?

— Есть одно искусство: оно лишь может удовлетворить современного художника: искусство слова, поэзия: оно безгранично. Туда уходит и живопись, и музыка — и еще там есть то, чего не дает ни то, ни другое...

— Что ж ты, пишешь стихи?

— Нет... — с досадой сказал Райский,— стихи — это младенческий лепет. Ими споешь любовь, пир, цветы, соловья... лирическое горе, такую же радость — и больше ничего...

— А сатира? — возразил Леонтий, — вот, постой, вспомним римских старцев...

Он пошел было к шкафу, Райский остановил его.

— Сиди смирно,— сказал он. — Да, иногда можно удачно хлестнуть стихом по больному месту. Сатира — плеть: ударом обожжет, но ничего тебе не выяснит, не даст животрепещущих образов, не раскроет глубины жизни с ее тайными пружинами, не подставит зеркала... Нет, только роман может охватывать жизнь и отражать человека!

— Так ты пишешь роман... о чем же?

Райский махнул рукой.

— И сам еще не знаю!— сказал он.

— Не пиши, пожалуйста, только этой мелочи и дряни, что и без романа на всяком шагу в глаза лезет. В современной литературе всякого червяка, всякого мужика, бабу — всё в роман суют... Возьми-ка предмет из истории, воображение у тебя живое, пишешь ты бойко. Помнишь, о древней Руси ты писал?.. А то далась современная жизнь!.. муравейник, мышинная возня: дело ли это искусства?.. Это газетная литература!

— Ах ты, старовер! как ты отстал здесь! О газетах потише — это Архимедов рычаг: они ворочают миром...

— Ну, уж мир! Эти ваши Наполеоны да Пальмерстоны...

— Это современные титаны: Цесари и Антонии... — сказал Райский....

— Полно, полно!— с усмешкой остановил Леонтий,—разве титаниды, выродки старых больших людей. Вон почитай, у m-r Шарля есть книжечка. «Napoléon le petit» [1], Гюго. Он современного Цесаря представляет в настоящем виде: как этот

[1] «Наполеон Малый» *(франц.)*.

Регул [1] во фраке дал клятву почти на форуме спасать отечество, а потом...

— А твой титан — настоящий Цесарь, что: не то же ли самое хотел сделать?

— Хотел, да подле случился другой титан — и не дал!

— Ну, мы затеяли с тобой опять старый, бесконечный спор,— сказал Райский, — когда ты оседлаешь своего конька, за тобой не угоняешься: оставим это пока. Обращусь опять к своему вопросу: ужели тебе не хочется никуда отсюда, дальше этой жизни и занятий?

Козлов отрицательно покачал головой.

— Помилуй, Леонтий; ты ничего не делаешь для своего времени, ты пятишься, как рак. Оставим римлян и греков — они сделали свое. Будем же делать и мы, чтоб разбудить это (он указал вокруг на спящие улицы, сады и дома). Будем превращать эти обширные кладбища в жилые места, встряхивать спящие умы от застоя!

— Как же это сделать?

— Я буду рисовать эту жизнь, отражать, как в зеркале, а ты...

— Я... тоже кое-что делаю: несколько поколений к университету приготовил...— робко заметил Козлов и остановился, сомневаясь, заслуга ли это? — Ты думаешь,— продолжал он,—я схожу в класс, а оттуда домой, да и забыл? За водочку, потом вечером за карты или трусь у губернатора по вечерам: ни, ни! Вот моя академия,—говорил он, указывая на беседку,— вот и портик—это крыльцо, а дождь идет—в кабинете: наберется ко мне юности, облепят меня. Я с ними рассматриваю рисунки древних зданий, домов, утвари,— сам черчу, объясняю, как, бывало, тебе: что сам знаю, всем делюсь. Кто постарше, с теми вперед заглядываю, разбираю им Софокла, Аристофана. Не все конечно; нельзя всего: где наготы много, я там прималчиваю... Толкую им эту образцовую жизнь, как толкуют образцовых поэтов: разве это теперь уж не надо никому?— говорил он, глядя вопросительно на Райского.

— Хорошо, да все это не настоящая жизнь,— сказал Райский,— так жить теперь нельзя. Многое умерло из того, что было, и многое родилось, чего не ведали твои греки и римляне. Нужны образцы современной жизни, очеловечивания себя и всего около себя. Это задача каждого из нас...

— Ну, за это я не берусь: довольно с меня и того, если я дам образцы старой жизни из книг, а сам буду жить про себя и для себя. А живу я тихо, скромно, ем, как видишь, лапшу... Что же делать? — Он задумался.

---

[1] Намек на то, что Наполеон, III, как и Регул, действовал обманом для достижения своих целей. Регул — римский полководец III века до н. э. Плененный карфагенянами, Регул был послан ими в Рим для заключения мира. Обманув врагов, он добился продолжения войны.

— Жизнь «для себя и про себя» — не жизнь, а пассивное состояние: нужно слово и дело, борьба. А ты хочешь жить барашком!

— Я уж сказал тебе, что я делаю свое дело и ничего знать не хочу, никого не трогаю и меня никто не трогает!

— Ты напоминаешь мне Софью, кузину: та тоже не хочет знать жизни, зато она — великолепная кукла! Жизнь достанет везде, и тебя достанет! Что ты тогда будешь делать, неприготовленный к ней?

— Что ей меня доставать? Я такой маленький человек, что она и не заметит меня. Есть у меня книги, хотя и не мои... (он робко поглядел на Райского). Но ты оставляешь их в моем полном распоряжении. Нужды мои не велики, скуки не чувствую; есть жена: она меня любит...

Райский посмотрел в сторону.

— А я люблю ее...— добавил Леонтий тихо.— Посмотри, посмотри, — говорил он, указывая на стоявшую на крыльце жену, которая пристально глядела на улицу и стояла к ним боком,— профиль, профиль: видишь, как сзади отделился этот локон, видишь этот немигающий взгляд? Смотри, смотри: линия затылка, очерк лба, падающая на шею коса! Что, не римская голова?

Он загляделся на жену, и тайное умиление медленным лучом прошло у него по лицу и застыло в задумчивых глазах. Даже румянец пробился на щеках.

Видно было, что рядом с книгами, которыми питалась его мысль, у него горячо приютилось и сердце, и он сам не знал, чем он так крепко связан с жизнью и с книгами, не подозревал, что если б пропали книги, не пропала бы жизнь, а отними у него эту живую «римскую голову», по всей жизни его прошел бы паралич.

«Счастливое дитя! — думал Райский,— спит и в ученом сне своем не чует, что подле него эта любимая им римская голова полна тьмы, а сердце пустоты, и что одной ей бессилен он преподать «образцы древних добродетелей»!»

IX

Уж на закате вернулся Райский домой. Его встретила на крыльце Марфенька.

— Где это вы пропадали, братец? Как на вас сердится бабушка! — сказала она,— просто не глядит.

— Я у Леонтья был,— отвечал он равнодушно.

— Я так и знала; уж я уговаривала, уговаривала бабушку — и слушать не хочет, даже с Титом Никонычем не говорит. Он у нас теперь, и Полина Карповна тоже. Нил Андреич, княгиня, Василий Андреич присылали поздравить с приездом...

— Им что за дело?

— Они каждый день присылали узнавать о приезде.

— Очень нужно?

— Подите, подите к бабушке: она вам даст! — пугала Марфенька.— Вы очень боитесь? Сердце бьется?

Райский усмехнулся.

— Она очень сердита. Мы наготовили столько блюд!

— Мы ужинать будем,— сказал Райский.

— В самом деле: вы хотите, будете? Бабушка, бабушка! — говорила она радостно, вбегая в комнату.— Братец пришел: ужинать будет!

Но бабушка, насупясь, сидела и не глядела, как вошел Райский, как они обнимались с Титом Никонычем, как жеманно кланялась Полина Карповна, сорокапятилетняя разряженная женщина, в кисейном платье, с весьма открытой шеей, с плохо застегнутыми на груди крючками, с тонким кружевным носовым платком и с веером, которым она играла, то складывала, то кокетливо обмахивалась, хотя уже не было жарко.

— Каким молодцом! Как возмужали! Вас не узнаешь! — говорил Тит Никоныч, сияя добротой и удовольствием.

— Очень, очень похорошели! — протяжно говорила почти про себя Полина Карповна Крицкая, которая, к соблазну бабушки, в прошлый приезд наградила его поцелуем.

— Вы не переменились, Тит Никоныч! — заметил Райский, оглядывая его,— почти не постарели, так бодры, свежи и так же добры, любезны!

Тит Никоныч расшаркался, подняв немного одну ногу назад.

— Слава богу: только вот ревматизмы и желудок не совсем... старость!

Он взглянул на дам и конфузливо остановился.

— Ну, слава богу, вот вы и наш гость, благополучно доехали...— продолжал он.— А Татьяна Марковна опасались за вас: и овраги, и разбойники... Надолго пожаловали?

— О, верно, лето пробудете,— заметила Крицкая,— здесь природа, чистый воздух! Здесь так многие интересуются вами...

Он сбоку поглядел на нее и ничего не сказал.

— Как у предводителя все будут рады! Как вице-губернатор желает вас видеть!.. Окрестные помещики нарочно приедут в город...— приставала она.

— Они не знают меня, что им?..

— Так много слышали интересного,— говорила она, смело глядя на него.— Вы помните меня?

Бабушка отвернулась в сторону, заметив, как играла глазами Полина Карповна.

— Нет... признаюсь... забыл...

— Да, в столице все впечатления скоро проходят! — сказала она томно.— Как хорош ваш дорожный туалет! — прибавила потом, оглядывая его.

— В самом деле, я еще в дорожном пальто,— сказал Райский.— Там надо бы вынуть из чемодана все платье и белье... Надо позвать Егора.

Егор пришел, и Райский отдал ему ключ от чемодана.

— Вынь все из него и положи в моей комнате,—сказал он,— а чемодан вынеси куда-нибудь на чердак.— Вам, бабушка, и вам, милые сестры, я привез кое-какие безделицы на память... Надо бы принести их сюда...

Марфенька вся покраснела от удовольствия.

— Бабушка, где вы меня поместите? — спросил он.

— Дом твой: где хочешь,— холодно сказала она.

— Не сердитесь, бабушка, я другой раз не буду...— смеясь, сказал он.

— Смейся, смейся, Борис Павлович, а вот при гостях скажу, что не хорошо поступил: не успел носа показать и пропал из дома. Это неуважение к бабушке...

— Какое неуважение? Ведь я с вами жить стану, каждый день вместе. Я зашел к старому другу и заговорился...

— Конечно, бабушка, братец не нарочно: Леонтий Иванович такой добрый...

— Молчи ты, сударыня, когда тебя не спрашивают: рано тебе перечить бабушке! Она знает, что говорит!

Марфенька покраснела и с усмешкой села в угол.

— Ульяна Андреевна сумела лучше угостить тебя: где мне столичных франтов принимать! — продолжала свое бабушка.— Что она там тебе, каких фрикасе наставила? — отчасти с любопытством спросила Татьяна Марковна.

— Была лапша,— вспоминал Райский,— пирог с капустой и яйцами... жареная говядина с картофелем.

Бережкова иронически засмеялась.

— Лапша и говядина!

— Да, еще каша на сковороде: превкусная,— досказал Райский.

— Таких редкостей ты, я думаю, давно не пробовал в Петербурге.

— Как давно: я очень часто обедаю с художниками.

— Это вкусные блюда,— снисходительно заметил Тит Никоныч,— но тяжелы для желудка.

— И вы тоже! Ну, хорошо,— развеселясь, сказала бабушка,— завтра, Марфенька, мы им велим потрохов наготовить, студеня, пирогов с морковью, не хочешь ли еще гуся...

— Фи,— сделала Полина Карповна,— станут ли «они» кушать такие неделикатные блюда?

— Хорошо,— сказал Райский,— особенно если начинить его кашей...

— Это неудобосваримое блюдо! — заметил Тит Никоныч,— лучше всего легкий супец из крупы, котлетку, цыпленка и желе... вот настоящий обед...

— Нет, я люблю кашу, особенно ячменную или из полбы! — сказал Райский,— люблю еще деревенский студень. Велите приготовить: я давно не ел...

— Грибы, братец, любите? — спросила Марфенька,— у нас множество.

— Как не любить? Нельзя ли к ужину?..

— Прикажи, Марфенька, Петру...— сказала бабушка.

— Напрасно, матушка, напрасно! — говорил, морщась, Тит Никоныч,— тяжелое блюдо...

— Ты, не шутя, ужинать будешь? — спросила Татьяна Марковна, смягчаясь.

— И очень не шутя,— сказал Райский.— И если в погребах моего «имения» есть шампанское — прикажите подать бутылку к ужину; мы с Титом Никонычем выпьем за ваше здоровье. Так Тит Никоныч?

— Да, и поздравим вас с приездом, хотя на ночь грибы и шампанское... неудобосваримо...

— Опять за свое! Вели, Марфенька, шампанское в лед поставить...— сказала бабушка.

— Как угодно, ce que femme veut... [1] — любезно заключил Ватутин, шаркнув ножкой и спрятав ее под стул.

— Ужин ужином, а обедать следовало дома: вот ты огорчил бабушку! В первый день приезда из семьи ушел.

— Ах, Татьяна Марковна,— вступилась Крицкая,— это у нас по-мещански, а в столице...

Глаза у бабушки засверкали.

— Это не мещане, Полина Карповна! — с крепкой досадой сказала Татьяна Марковна, указывая на портреты родителей Райского, а также Веры и Марфеньки, развешанные по стенам,— и не чиновники из палаты,— прибавила она, намекая на покойного мужа Крицкой.

— Борис Павлович хотел сделать перед обедом моцион, вероятно зашел далеко и тем самым поставил себя в некоторого рода невозможность поспеть...— начал оправдывать его Тит Никоныч.

— Молчите вы с своим моционом! — добродушно крикнула на него Татьяна Марковна.— Я ждала его две недели, от окна не отходила, сколько обедов пропадало! Сегодня наготовили, вдруг приехал и пропал! На что похоже? И что скажут люди: обедал у чужих — лапшу да кашу: как будто бабушке нечем накормить.

Тит Никоныч уклончиво усмехнулся, немного склоня голову, и замолчал.

— Бабушка! заключим договор,— сказал Райский,— предоставим полную свободу друг другу и не будем взыскательны! Вы делайте, как хотите, и я буду делать, что и как вздумаю...

---

[1] Чего хочет женщина... *(франц.)*

Обед я ваш съем сегодня за ужином, вино выпью и ночь всю пробуду до утра, по крайней мере сегодня. А куда завтра денусь, где буду обедать и где ночую — не знаю!

— Браво, браво!—с детской резвостью восклицала Крицкая.

— Что же это такое? Цыган, что ли, ты? — с удивлением сказала бабушка.

— М-сье Райский поэт, а поэты свободны, как ветер! — заметила Полина Карповна, опять играя глазами, шевеля носком башмака и всячески стараясь задеть чем-нибудь внимание Райского.

Но чем она больше хлопотала, тем он был холоднее. Его уж давно коробило от ее присутствия. Только Марфенька, глядя на нее, исподтишка посмеивалась. Бабушка не обратила внимания на ее замечание.

— Два своих дома, земля, крестьяне, сколько серебра, хрусталя — а он будет из угла в угол шататься... как окаянный, как Маркушка бездомный!

— Опять Маркушка! Надо его увидать и познакомиться с ним!

— Нет, ты не огорчай бабушку, не делай этого! — повелительно сказала бабушка.— Где завидишь его, беги!

— Почему же?

— Он тебя с пути собьет!

— Нужды нет, а любопытно: он, должно быть, замечательный человек. Правда, Тит Никоныч?

Ватутин усмехнулся.

— Он, так сказать, загадка для всех,— отвечал он.— Должно быть, сбился в ранней молодости с прямого пути... Но, кажется, с большими дарованиями и сведениями: мог бы быть полезен...

— Груб, невежа! — сказала с достоинством Крицкая, глядя в сторону. Она немного пришепетывала.

— Да, с дарованиями: тремястами рублей поплатились вы за его дарования! Отдал ли он вам? — спросила Татьяна Марковна.

— Я... не спрашивал! — сказал Тит Никоныч,— впрочем, он со мной... почти вежлив.

— Не бьет при встрече, не стрелял еще в вас? Чуть Нила Андреевича не застрелил,— сказала она Райскому.

— Собаки его мне шлейф разорвали! — жаловалась Крицкая.

— Не приходил опять обедать к вам «без церемонии»? — спросила опять бабушка Ватутина.

— Нет, вам не угодно, чтоб я его принимал, я и отказываю,— сказал Ватутин.— Он однажды пришел ко мне с охоты ночью и попросил кушать: сутки не кушал,— сказал Тит Никоныч, обращаясь к Райскому,— я накормил его, и мы приятно провели время...

— Приятно! — возразила бабушка,— слушать тошно!

Пришел бы ко мне об эту пору: я бы ему дала обед! Нет, Борис Павлович: ты живи, как люди живут, побудь с нами дома, кушай, гуляй, с подозрительными людьми не водись, смотри, как я распоряжаюсь имением, побрани, если что-нибудь не так...

— Все это, бабушка, скучно: будем жить, как кому вздумается...

— Обедать, где попало, лапшу, кашу? не прийти домой... так, что ли? Хорошо же: вот я буду уезжать в Новоселово, свою деревушку, или соберусь гостить к Анне Ивановне Тушиной, за Волгу: она давно зовет, и возьму все ключи, не велю готовить, а ты вдруг придешь к обеду: что ты скажешь?

— Ничего не скажу.

— Не удивит и не огорчит это тебя?

— Нисколько.

— Куда же ты денешься?

— В трактир пойду.

— В трактир! — с ужасом сказала бабушка. И Тит Никоныч сделал движение.

— Кто же вас пустит в трактир? — возразил он,— мой дом, кухня, люди, я сам — к вашим услугам,— я за честь поставлю...

— Разве ты ходишь по трактирам? — строго спросила бабушка.

— Я всегда в трактире обедаю.

— Не играешь ли на бильярде, или не куришь ли?

— Охотник играть и курю. Надо достать сигары. Я вас отличными попотчую, Тит Никоныч.

— Покорнейше благодарю: я не курю. Никотин очень вредно действует на легкие и на желудок: осадок делает и насильственно ускоряет пищеварение. Притом... неприятно дамам.

— Странный, необыкновенный человек! — сказала бабушка.

— Нет, бабушка: вы необыкновенная женщина.

— Чем же я необыкновенная?

— Как же: ешь дома, не ходи туда, спи, когда не хочется,— зачем стеснять себя?

— Чтоб угодить бабушке.

— О деспотка, вы, бабушка, эгоистка! Угодить вам — не угодить себе; угодить себе — не угодить вам: нет ли выхода из этой крайности? Отчего же вы не хотите угодить внуку?

— Слышите: бабушка угождай внуку! Да я тебя маленького на руках носила!

— Если вы будете очень стары, я вас на себе повезу!

— Разве я не угождаю тебе? Кого я ждала неделю, почти не спала? Заботилась готовить, что ты любишь, хлопотала, красила, убирала комнаты и новые рамы вставила, занавески купила шелковые...

— Это все вы угождали себе, а не мне!

— Себе! — с изумлением повторила она.

— Да, вам эти хлопоты приятны, они занимают вас; признай-

тесь, вам бы без них и делать нечего было? Обедом вы хотели похвастаться, вы добрая, радушная хозяйка. Приди Маркушка к вам, вы бы и ему наготовили всего...

— Правда, правда, братец: непременно бы наготовила,— сказала Марфенька,— бабушка предобрая, только притворяется...

— Молчи ты, тебя не спрашивают! — опять остановила ее Татьяна Марковна,— все переговаривает бабушку! Это она при тебе такая стала; она смирная, а тут вдруг! Чего не выдумает: Маркушку угощать!

— Да, да, следовательно вы делали, что вам нравилось. А вот, как я вздумал захотеть, что мне нравится, это расстроило ваши распоряжения, оскорбило ваш деспотизм. Так, бабушка, да? Ну, поцелуйте же меня и дадим друг другу волю...

— Какой странный человек! Слышите, Тит Никоныч, что он говорит! — обратилась бабушка к Ватутину, отталкивая Райского.

— Приятно слушать: очень, очень умно — я ловлю каждое слово! — сказала Крицкая, которая все ловила взгляд Райского, но напрасно.

Тит Никоныч потупился, потом дружески улыбнулся Райскому.

— И я не выжила из ума! — отозвалась сердито бабушка на замечание гостьи.

— Видно, что Борис Павлович читал много новых, хороших книг...— уклончиво произнес Ватутин.— Слог прекрасный! Однако, матушка, сюда самовар несут, я боюсь... угара...

— Пойдемте на крыльцо, в садик, чай пить! — сказала Татьяна Марковна.

— Не сыро ли будет там? — заметил Ватутин.

В тот же вечер бабушка и Райский заключили если не мир, то перемирие.

Бабушка убедилась, что внук любит и уважает ее: и как мало надо было, чтобы убедиться в этом!

Райский разобрал чемодан и вынул подарки: бабушке он привез несколько фунтов отличного чаю, до которого она была большая охотница, потом нового изобретения кофейник с машинкой и шелковое платье темно-коричневого цвета. Сестрам по браслету, с вырезанными шифрами. Титу Никонычу замшевую фуфайку и панталоны, как просила бабушка, и кусок морского каната класть в уши, как просил он.

Бабушка была тронута до слез.

— Меня, старуху, вспомнил! — говорила она, севши подле него и трепля его по плечу.

— Кого же мне вспомнить: вы у меня одни, бабушка!

— Да как же это,— говорила она,— счеты рвал, на письма не отвечал, имение бросил, а тут вспомнил, что я люблю иногда рано утром одна напиться кофе: кофейник привез, не забыл,

что чай люблю, и чаю привез, да еще платье! Баловник, мот! Ах, Борюшка, Борюшка, ну, не странный ли ты человек!

Марфенька так покраснела от удовольствия, что щеки у ней во все время, пока рассматривали подарки и говорили о них, оставались красны.

Она, как случается с детьми, от сильной радости, забыла поблагодарить Райского.

— А ты и не благодаришь — хороша! Как обрадовалась! — сказала Татьяна Марковна.

Марфенька сконфузилась и присела. Райский засмеялся.

— Какая я дура — приседаю! — сказала она.

Она подошла и обняла его.

Тит Никоныч смутился, растерялся в шарканье и благодарственных приветствиях.

Райский тоже, увидя свою комнату, следя за бабушкой, как она чуть не сама делала ему постель, как опускала занавески, чтоб утром не беспокоило его солнце, как заботливо расспрашивала, в котором часу его будить, что̀ приготовить — чаю или кофе поутру, масла или яиц, сливок или варенья, — убедился, что бабушка не все угождает себе этим, особенно когда она попробовала рукой, мягка ли перина, сама поправила подушки повыше и велела поставить графин с водой на столик, а потом раза три заглянула, спит ли он, не беспокойно ли ему, не нужно ли чего-нибудь.

Тит Никоныч и Крицкая ушли. Последняя затруднялась, как ей одной идти домой. Она говорила, что не велела приехать за собой, надеясь, что ее проводит кто-нибудь. Она взглянула на Райского. Тит Никоныч сейчас же вызвался, к крайнему неудовольствию бабушки.

— Егорка бы проводил! — шептала она, — сидела бы дома — кто просил!

— Благодарю вас, благодарю... — сказала Полина Карповна мимоходом Райскому.

— За что? — спросил он с удивлением.

— За приятный, умный разговор — хотя не со мной... но я много унесла из него...

— Разговор больше практический, — сказал он, — о каше, о гусе, потом ссорились с бабушкой...

— Не говорите, я знаю... — говорила она нежно, — я заметила два взгляда, два только... они принадлежали мне, да, признайтесь? О, я чего-то жду и надеюсь...

С этим она ушла. Райский обратился к Марфеньке, взглядом спрашивая, что̀ это такое.

— Какие это два взгляда? — сказал он.

Марфенька засмеялась.

— Она всегда такая у нас! — заметила она.

— Что она там тебе шептала? Не слушай ее! — сказала бабушка, — она все еще о победах мечтает.

Райский сбросил было долой гору наложенных одна на другую мягких подушек и взял с дивана одну жесткую, потом прогнал Егорку, посланного бабушкой раздевать его. Но бабушка переделала опять по-своему: велела положить на свое место подушки и воротила Егора в спальню Райского.

— Какая настойчивая деспотка! — говорил Райский, терпеливо снося, как Егорка снимал сапоги, расстегнул ему платье, даже хотел было снять чулки. Райский утонул в мягких подушках.

Через полчаса бабушка заглянула к нему в комнату.

— Что вы? — спросил он.

— Я пришла посмотреть, горит ли у тебя свечка: что ты не погасишь? — заметила она.

Он засмеялся.

— Покурить хочется, да сигары забыл у вас на столе,— сказал он.

Она принесла сигары.

— На, вот, кури, скорей, а то я не лягу, боюсь,— говорила она.

— Ну, так я не стану курить.

— Кури, говорят тебе! — приказывала она.

Но он потушил свечку.

«Какой своеобычный: даже бабушки не слушает! Странный человек!» — думала Татьяна Марковна, ложась.

Райский прожил этот день, как давно не жил, и заснул таким вольным, здоровым сном, каким, казалось ему, не спал с тех пор, как оставил этот кров.

X

Райский провел уже несколько таких дней и ночей, и еще больше предстояло ему провести их под этой кровлей, между огородом, цветником, старым, запущенным садом и рощей, между новым, полным жизни, уютным домиком и старым, полинявшим, частию с обвалившейся штукатуркой домом, в полях, на берегах, над Волгой, между бабушкой и двумя девочками, между Леонтьем и Титом Никонычем.

Он невольно пропитывался окружавшим его воздухом, не мог отмахаться от впечатлений, которые клала на него окружающая природа, люди, их речи, весь склад и оборот этой жизни.

Он на каждом шагу становился в разлад с ними, но пока не страдал еще от этого разлада, а снисходительно улыбался, поддавался кротости, простоте этой жизни, как, ложась спать, поддался деспотизму бабушки и утонул в мягких подушках.

Если он зевал, то пока не от скуки, а от пищеварения или от здоровой усталости.

Жилось ему сносно: здесь не было ни в ком претензии казаться чем-нибудь другим, лучше, выше, умнее, нравствен-

нее; а между тем на самом деле оно было выше, нравственнее, нежели казалось, и едва ли не умнее. Там, в куче людей с развитыми понятиями, бьются из того, чтобы быть проще, и не умеют; здесь, не думая о том, все просты, никто не лез из кожи подделаться под простоту.

Бабушка была по-прежнему хлопотлива, любила повелевать, распоряжаться, действовать, ей нужна была роль. Она век свой делала дело, и если не было, так выдумывала его.

По-прежнему у ней не было позыва идти вникать в жизнь дальше стен, садов, огородов «имения» и, наконец, города. Этим замыкался весь мир.

Она говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости, ссорится за них с Райским, и весь наружный обряд жизни отправляется у ней по затверженным правилам.

Но когда Райский пригляделся попристальнее, то увидел, что в тех случаях, которые не могли почему-нибудь подойти под готовые правила, у бабушки вдруг выступали собственные силы, и она действовала своеобразно.

Сквозь обветшавшую и никогда никуда не пригодную мудрость у нее пробивалась живая струя здравого практического смысла, собственных идей, взглядов и понятий. Только когда она пускала в ход собственные силы, то сама будто пугалась немного и беспокойно искала подкрепить их каким-нибудь бывшим примером.

Райскому нравилась эта простота форм жизни, эта определенная, тесная рама, в которой приютился человек и пятьдесят—шестьдесят лет живет повторениями, не замечая их, и все ожидая, что завтра, послезавтра, на следующий год случится что-нибудь другое, чего еще не было, любопытное, радостное.

«Как это они живут?» — думал он, глядя, что ни бабушке, ни Марфеньке, ни Леонтью никуда не хочется, и не смотрят они на дно жизни, что лежит на нем, и не уносятся течением этой реки вперед, к устью, чтоб остановиться и подумать, что это за океан, куда вынесут струи? Нет! «Что бог даст!» — говорит бабушка.

Рассуждает она о людях, ей знакомых, очень метко, рассуждает правильно о том, что делалось вчера, что будет делаться завтра, никогда не ошибается; горизонт ее кончается —с одной стороны полями, с другой Волгой и ее горами, с третьей городом, а с четвертой — дорогой в мир, до которого ей дела нет.

Желает она в конце зимы, чтоб весна скорей наступила, чтоб река прошла к такому-то дню, чтоб лето было теплое и урожайное, чтоб хлеб был в цене, а сахар дешев, чтоб, если можно, купцы давали его даром, так же как и вино, кофе и прочее.

Любила, чтоб к ней губернатор изредка заехал с визитом, чтобы приезжее из Петербурга важное или замечательное

лицо непременно побывало у ней, и вице-губернаторша подошла, а не она к ней, после обедни в церкви поздороваться, чтоб, когда едет по городу, ни один встречный не проехал и не прошел, не поклонясь ей, чтобы купцы засуетились и бросили прочих покупателей, когда она явится в лавку, чтоб никогда никто не сказал о ней дурного слова, чтобы дома все ее слушались, до того чтоб кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на сеновале, и чтоб Тараска не напивался пьян, даже когда они могли бы делать это так, чтоб она не узнала.

Любила она, чтобы всякий день кто-нибудь завернул к ней, а в именины ее все, начиная с архиерея, губернатора и до последнего повытчика в палате, чтобы три дня город поминал ее роскошный завтрак, нужды нет, что ни губернатор, ни повытчики не пользовались ее искренним расположением. Но если бы не пришел в этот день m-r Шарль, которого она терпеть не могла, или Полина Карповна, она бы искренно обиделась.

В этот день она, по всей вероятности, втайне желала, чтобы зашел на пирог даже Маркушка.

До приезда Райского жизнь ее покоилась на этих простых и прочных основах, и ей в голову не приходило, чтобы тут было что-нибудь не так, чтобы она весь век жила в какой-то «борьбе с противоречиями», как говорил Райский.

Если когда-нибудь и случалось противоречие, какой-нибудь разлад, то она приписывала его никак не себе, а другому лицу, с кем имела дело, а если никого не было, так судьбе. А когда явился Райский и соединил в себе и это другое лицо и судьбу, она удивилась, отнесла это к непослушанию внука и к его странностям.

Она горячо защищалась, сначала преданиями, сентенциями и пословицами, но когда эта мертвая сила, от первого прикосновения живой силы анализа, разлеталась в прах, она сейчас хваталась за свою природную логику.

Этого только и ждал Райский, зная, что она сейчас очутится между двух огней: между стариной и новизной, между преданиями и здравым смыслом — и тогда ей надо было или согласиться с ним, или отступить от старины.

Но бабушка триумфа ему никогда не давала, она сдаваться не любила и кончала спор, опираясь деспотически на авторитет уже не мудрости, а родства и своих лет.

Райский, не уступая ей на почве логики, спускал флаг перед ее симпатией и, смеясь, становился перед ней на колени и целовал у ней руку.

Он удивлялся, как могло все это уживаться в ней и как бабушка, не замечая вечного разлада старых и новых понятий, ладила с жизнью и переваривала все это вместе и была так бодра, свежа, не знала скуки, любила жизнь, веровала, не охлаждаясь ни к чему, и всякий день был для нее как будто новым, свежим цветком, от которого назавтра она ожидала плодов.

Бабушка, Марфенька, даже Леонтий — а он мыслящий, ученый, читающий — все нашли свою точку опоры в жизни, стали на нее и счастливы.

Бабушка добыла себе, как будто купила на вес, жизненной мудрости, пробавляется ею и знать не хочет того, чего с ней не было, чего она не видала своими глазами, и не заботится, есть ли там еще что-нибудь, или нет.

От этого она открыла большие глаза на его «мудреные», казавшиеся ей иногда шальными, слова, «цыганские» поступки, споры.

— Странный, своеобычный человек,— говорила она и надивиться не могла, как это он не слушается ее и не делает, что она указывает. Разве можно жить иначе? Тит Никоныч в восхищении от нее, сам Нил Андреич отзывается одобрительно, весь город тоже уважает ее, только Маркушка зубы скалит, когда увидит ее,— но он пропащий человек.

А тут внук, свой человек, которого она мальчишкой воспитывала, «от рук отбился», смеет оправдываться, защищаться, да еще спорить с ней, обвиняет ее, что она не так живет, не то делает, что нужно!

А она, кажется, всю жизнь, как по пальцам, знает: ни купцы, ни дворня ее не обманут, в городе всякого насквозь видит, и в жизни своей, и вверенных ее попечению девочек, и крестьян, и в кругу знакомых — никаких ошибок не делает, знает, как где ступить, что сказать, как и своим и чужим добром распорядиться! Словом, как по нотам играет!

А он не слушается и еще осуждает ее!

Она сделала из наблюдений и опыта мудрый вывод, что всякому дается известная линия в жизни, по которой можно и должно достигать известного значения, выгод, и что всякому дана возможность сделаться (относительно) важным или богатым, а кто прозевает время и удобный случай, пренебрежет данными судьбой средствами, тот и пеняй на себя!

— Всякому,— говорила она,— судьба дает какой-нибудь дар: одному, например, дано много ума или какой-нибудь «остроты» и уменья (под этим она разумела талант, способности), — зато богатства не дала,— и сейчас пример приводила: или архитектора, или лекаря, или Степку, мужика. Дурак-дураком, трех перечесть не может, лба не умеет перекрестить, едва знает, где право, где лево, ни за сохой, ни в саду: а посуду, чашки, ложки или крестики точит, детские кораблики, игрушки — точно из меди льет! И сколько на ярмарке продаст! Другой красив: картинка — зато петый дурак! Вон Балакин: ни одна умная девушка нейдет за него, а загляденье! Не зевай, и он будет счастлив. «Бог дурака, поваля, кормит!» — приводила она и пословицу в подкрепление,— найдет дуру с богатством! А есть и такие, что ни «остроты» судьба не дала, ни богатства, зато дала трудолюбие: этим берут! Ну, а кто лежебокой был или прозевал,

загубил дар судьбы — сам виноват! Оттого много на свете погибших: праздных, пьяниц с разодранными локтями, одна нога в туфле, другая в калоше, нос красный, губы растрескались, винищем разит!

Райский расхохотался, слушая однажды такое рассуждение, и особенно характеристический очерк пьяницы, самого противного и погибшего существа, в глазах бабушки, до того, что хотя она не заметила ни малейшей наклонности к вину в Райском, но всегда с беспокойством смотрела, когда он вздумает выпить стакан, а не рюмку вина или рюмку водки.

— Хорошо ли тебе, не много ли? — говорила она, морщась и качая головой.

К пьянице и пьянству у ней было физиологическое отвращение.

— Да, да, смейся! — говорила она,— а это правда!

— Можно ведь, бабушка, погибнуть и по чужой вине,— возражал Райский, желая проследить за развитием ее житейских понятий,— есть между людей вражда, страсти. Чем виноват человек, когда ему подставляют ногу, опутывают его интригой, крадут, убивают?.. Мало ли что!

— Виноват, виноват! — решала она, не слушая апелляции.— Уж если кто несчастен, погибает, свихнулся, впал в нищету, в крайность, как-нибудь обижен, опорочен и поправиться не может, значит — сам виноват. Какой-нибудь грех да был за ним или есть: если не порок, так тяжкая ошибка! Вражда, страсти!.. все один и тот же враг стережет нас всех!.. Бог накажет иногда, да и простит, коли человек смирится и опять пойдет по хорошему пути. А кто все спотыкается, падает и лежит в грязи, значит не прощен, а не прощен потому, что не одолеет себя, не сладит с вином, с картами, или украл, да не отдает краденого, или горд, обидчик, зол не в меру, грязен, обманщик, предатель... Мало ли зла: что-нибудь да есть! А хочет, так выползет опять на дорогу. А если просто слаб, силенки нет, значит веры нет: когда есть вера, есть и сила. Да, да, уж это так, не говори, не говори, смейся, а молчи! — прибавила она, заметив, что он хочет возразить.— Может ли быть, чтоб человек так пропал, из-за других, потому что захотели погубить? Не зевай, смотри за собой: упал, так вставай на ноги да смотри, нет ли лукавства за самим? А нет, так помолись — и поправишься. Вон Алексея Петровича три губернатора гнали, именье было в опеке, дошло до того, что никто взаймы не давал, хоть по миру ступай: а теперь выждал, вытерпел, раскаялся — какие были грехи — и вышел в люди...

— Ну, хорошо, бабушка: а помните, был какой-то буян, полицмейстер или исправник: у вас крышу велел разломать, постой вам поставил против правил, забор сломал и чего-чего не делал!

— Да, правда: он злой, негодный человек, враг мой был, не

любила я его! Чем же кончилось? Приехал новый губернатор, узнал все его плутни и прогнал! Он смотался, спился, своя же крепостная девка завладела им — и пикнуть не смел. Умер — никто и не пожалел!

— Ну, вот видите! Что же вы сделали: вы ли виноваты?

— Я! — сказала бабушка,— я наказана недаром. Даром судьба не наказывает...

— В самом деле! что же такое?

— Что? — повторила она,— молод ты, чтоб знать бабушкины проступки. Уж так и быть, изволь, скажу: тогда откупа пошли, а я вздумала велеть пиво варить для людей, водку гнали дома, не много, для гостей и для дворни, а все же запрещено было; мостов не чинила... От меня взятки-то гладки, он и озлобился, видишь! Уж коли кто несчастлив, так, значит, поделом. Проси скорее прощения, а то пропадешь, пойдет все хуже... и...

— И потом «красный нос, растрескавшиеся губы, одна нога в туфле, другая в калоше!» — договорил Райский смеясь.— Ах, бабушка, чего я не захочу, что принудит меня? или если скажу себе, что непременно поступлю так, вооружусь волей...

— Никогда не говори: «непременно»,— живо перебила Татьяна Марковна,— боже сохрани!

— Отчего? вот еще новости! — сказал Райский.— Марфенька! я непременно сделаю твой портрет, непременно напишу роман, непременно познакомлюсь с Маркушкой, непременно проживу лето с вами и непременно воспитаю вас всех трех, бабушку, тебя и... Верочку.

Марфенька засмеялась, а Татьяна Марковна посмотрела на него через очки.

— Ты никак с ума сошел: поучись-ка у бабушки жить. Самонадеян очень. Даст тебе когда-нибудь судьба за это «непременно»! Не говори этого! А прибавляй всегда: «хотелось бы», «бог даст, будем живы да здоровы...» А то судьба накажет за самонадеянность: никогда не выйдет по-твоему...

— У вас, бабушка, о судьбе такое же понятие, как у древнего грека о фатуме: как о личности какой-нибудь, как будто воплощенная судьба тут стоит да слушает...

— Да, да,— говорила бабушка, как будто озираясь,— кто-то стоит да слушает! Ты только не остерегись, забудь, что можно упасть — и упадешь. Понадейся без оглядки, судьба и обманет, вырвет из рук, к чему протягивал их! Где меньше всего ждешь, тут и оплеуха...

— Ну, когда же счастье? Ужели всё оплеухи?

— Нет, не всё: когда ждешь скромно, сомневаешься, не забываешься, оно и упадет. Пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся: ну, и дастся. Судьба любит осторожность, оттого и говорят: «Береженого бог бережет». И тут не пересаливай: кто слишком трусливо пятится, она тоже не любит и подстережет. Кто воды боится, весь век бегает реки, в лодку

не сядет, судьба подкараулит: когда-нибудь да сядет; тут и бултыхнется в воду.

Райский засмеялся.

— О, судьба-проказница! — продолжала она. — Когда ищешь в кошельке гривенника, попадают всё двугривенные, а гривенник после всех придет; ждешь кого-нибудь: приходят, да не те, кого ждешь, а дверь, как на смех, хлопает да хлопает, а кровь у тебя кипит да кипит. Пропадет вещь: весь дом перероешь, а она у тебя под носом — вот что!

— Какое рабство! — сказал Райский.— И так всю жизнь прожить, растеряться в мелочах! Зачем же, для какой цели эти штуки, бабушка, делает кто-то, по вашему мнению, с умыслом? Нет, я отчаиваюсь воспитать вас... Вы испорчены!

— Для какой цели? — повторила она,— а для такой, чтоб человек не засыпал и не забывался, а помнил, что над ним кто-нибудь да есть; чтобы он шевелился, оглядывался, думал да заботился. Судьба учит его терпению, делает ему характер, чтоб поворачивался живо, оглядывался на все зорким глазом, не лежал на боку и делал, что каждому определил господь...

— То есть вы думаете, что к человеку приставлен какой-то невидимый квартальный надзиратель, чтоб будить его?

— Шути, а шутя правду сказал,— заметила бабушка.

— Как жизнь-то эластична! — задумчиво произнес Райский.

— Что?

— Я думаю,— говорил он не то Марфеньке, не то про себя,— во что хочешь веруй: в божество, в математику или в философию, жизнь поддается всему. Ты, Марфенька, где училась?

— В пансионе у m-me Meyer.

— По тысяче двести рублей ассигнациями платила за каждую,— сказала бабушка,— обе пять лет были там.

— Ты помнишь Птоломееву систему мира?

— Птоломей... ведь это царь был...— сказала Марфенька, немного покраснев оттого, что не помнила никакой системы.

— Да, царь и ученый: ты знаешь, что прежде в центре мира полагали землю, и все обращалось вокруг нее, потом Галилей, Коперник — нашли, что все обращается вокруг солнца, а теперь открыли, что и солнце обращается вокруг другого солнца Проходили века — и явления физического мира поддавались всякой из этих теорий. Так и жизнь: подводили ее под фатум, потом под разум, под случай — подходит ко всему. У бабушки есть какой-то домовой...

— Не домовой, а бог и судьба,— сказала она.

— Следовательно, двое, и вот шестьдесят лет, со всеми маленькими явлениями, улеглись в эту теорию. И как ловко пришлось! А тут мучаешься, бьешься... из чего?

Он мысленно проводил параллель между собой и бабушкой.

«Я бьюсь,— размышлял он, — чтобы быть гуманным и добрым: бабушка не подумала об этом никогда, а гуманна и добра.

Я недоверчив, холоден к людям и горяч только к созданиям своей фантазии, бабушка горяча к ближнему и верит во все. Я вижу, где обман, знаю, что все — иллюзия, и не могу ни к чему привязаться, не нахожу ни в чем примирения: бабушка не подозревает обмана ни в чем и ни в ком, кроме купцов, и любовь ее, снисхождение, доброта покоятся на теплом доверии к добру и людям, а если я... бываю снисходителен, так это из холодного сознания принципа, у бабушки принцип весь в чувстве, в симпатии, в ее натуре! Я ничего не делаю, она весь век трудится...»

XI

Он задумался, и от бабушки перенес глаза на Марфеньку и с нежностью остановил их на ней.

«А что,— думалось ему,— не уверовать ли и мне в бабушкину судьбу: здесь всему верится,— и не смириться ли, не склонить ли голову под иго этого кроткого быта, не стать ли героем тихого романа? Судьба пошлет и мне долю, удачу, счастье. Право, не жениться ли?..»

Он потянулся и зевнул, глядя на Марфеньку, любуясь нежной белизной ее лба, мягкостью и здоровым цветом щек и рук.

Как он ни разглядывал ее, как ни пытал, с какой стороны ни заходил, а все видел пока только, что Марфенька была свежая, белокурая, здоровая, склонная к полноте девушка, живая и веселая.

Она прилежна, любит шить, рисует. Если сядет за шитье, то углубится серьезно и молча, долго может просидеть; сядет за фортепиано, непременно проиграет все до конца, что предположит; книгу прочтет всю и долго рассказывает о том, что читала, если ей понравится. Поет, ходит за цветами, за птичками, любит домашние заботы, охотница до лакомств.

У ней есть шкафик, где всегда спрятан изюм, чернослив, конфекты. Она разливает чай и вообще присматривает за хозяйством.

Она любит воздух; ей нужды нет загореть: она любит, как ящерица, зной.

Желания у ней вращаются в кругу ее быта: она любит, чтобы святая неделя была сухая, любит святки, сильный мороз, чтобы сани скрипели и за нос щипало. Любит катанье и танцы, толпу, праздники, приезд гостей и выезды с визитами — до страсти. Охотница до нарядов, украшений, мелких безделок на столе, на этажерках.

Но, несмотря на страсть к танцам, ждет с нетерпением лета, поры плодов, любит, чтобы много вишен уродилось и арбузы вышли большие, а яблоков народилось бы столько, как ни у кого в садах.

Марфеньку всегда слышно и видно в доме. Она то смеется,

то говорит громко. Голос у ней приятный, грудной, звонкий, в саду слышно, как она песенку поет наверху, а через минуту слышишь уж ее говор на другом конце двора, или раздается смех по всему саду.

Еще в детстве, бывало, узнает она, что у мужика пала корова или лошадь, она влезет на колени к бабушке и выпросит лошадь и корову. Изба ветха или строение на дворе, она попросит леску.

Умер у бабы сын, мать отстала от работы, сидела в углу, как убитая, Марфенька каждый день ходила к ней и сидела часа по два, глядя на нее, и приходила домой с распухшими от слез глазами.

Коли мужик заболевал трудно, она приласкается к Ивану Богдановичу, лекарю, и сама вскочит к нему на дрожки и повезет в деревню.

То и дело просит у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чаю, мыла. Девкам дает старые платья, велит держать себя чисто. К слепому старику носит чего-нибудь лакомого поесть или даст немного денег. Знает всех баб, даже ребятишек по именам, последним покупает башмаки, шьет рубашонки и крестит почти всех новорожденных.

Если случится свадьба, Марфенька не знает предела щедрости: с трудом ее ограничивает бабушка. Она даст белье, обувь, придумает какой-нибудь затейливый сарафан, истратит все свои карманные деньги и долго после того экономничает.

Только пьяниц, как бабушка же, не любила и однажды даже замахнулась зонтиком на мужика, когда он, пьяный, хотел ударить при ней жену.

Когда идет по деревне, дети от нее без ума: они, завидя ее, бегут к ней толпой, она раздает им пряники, орехи, иного приведет к себе, умоет, возится с ними.

Все собаки в деревне знают и любят ее; у ней есть любимые коровы и овцы.

Она никогда не задумывалась, а смотрела на все бодро, зорко.

Когда не было никого в комнате, ей становилось скучно, и она шла туда, где кто-нибудь есть. Если разговор на минуту смолкнет, ей уж неловко станет, она зевнет и уйдет или сама заговорит.

В будни она ходила в простом шерстяном или холстинковом платье, в простых воротничках, а в воскресенье непременно нарядится, зимой в шерстяное или шелковое, летом в кисейное платье, и держит себя немного важнее, особенно до обедни, не сядет где попало, не примется ни за домашнее дело, ни за рисование, разве после обедни поиграет на фортепиано.

«Счастливое дитя! — думал Райский, любуясь ею,— проснешься ли ты, или проиграешь и пропоешь жизнь под защитой бабушкиной «судьбы»? Попробовать разбудить этот сон... что будет?..»

— Пойдем, Марфенька, гулять,— сказал он однажды вскоре после приезда.— Покажи мне свою комнату и комнату Верочки, потом хозяйство, познакомь с дворней. Я еще не огляделся.

Он ничем не мог сделать ей больше удовольствия. Она весело побежала вперед, отворяя ему двери, обращая его внимание на каждую мелочь, болтая, прыгая, напевая.

В ее комнате было все уютно, миниатюрно и весело. Цветы на окнах, птицы, маленький киот над постелью, множество разных коробочек, ларчиков, где напрятано было всякого добра, лоскутков, ниток, шелков, вышиванья: она славно шила шелком и шерстью по канве.

В ящиках лежали ладонки, двойные сросшиеся орешки, восковые огарочки, в папках насушено было множество цветов, на окнах лежали найденные на Волге в песке цветные камешки, раковинки.

Стену занимал большой шкаф с платьями — и все в порядке, все чисто прибрано, уложено, завешано. Постель была маленькая, но заваленная подушками, с узорчатым шелковым на вате одеялом, обшитым кисейной бахромой.

По стенам висели английские и французские гравюры, взятые из старого дома и изображающие семейные сцены: то старика, уснувшего у камина, и старушку, читающую библию, то мать и кучу детей около стола, то снимки с теньеровских картин, наконец голову собаки и множество вырезанных из книжек картин с животными, даже несколько картинок мод.

Она отворила шкаф, откуда пахнуло запахом сластей.

— Не хотите ли миндалю? — спросила она.

— Нет, не хочу.

— Ну, изюму? Это кишмиш, мелкий, сладкий такой.

Она разгрызла орех и взяла в рот две изюминки.

— Пойдем в комнату Веры: я хочу видеть! —сказал Райский.

— Надо сходить за ключом от старого дома.

Райский подождал на дворе. Яков принес ключ, и Марфенька с братом поднялись на лестницу, прошли большую переднюю, коридор, взошли во второй этаж и остановились у двери комнаты Веры.

Райский уже нарисовал себе мысленно эту комнату: представил себе мебель, убранство, гравюры, мелочи, почему-то все не так, как у Марфеньки, а иначе.

Он с любопытством переступил порог, оглядел комнату и — обманулся в ожидании: там ничего не было!

«Вот бабушка сказала бы,— подумал он,— что судьба подшутила: ожидаешь одного, не оглянешься, не усумнишься, забудешься — и обманет».

Простая кровать с большим занавесом, тонкое бумажное одеяло и одна подушка. Потом диван, ковер на полу, круглый стол перед диваном, другой маленький письменный у окна, по-

крытый клеенкой, на котором, однако же, не было признаков письма, небольшое старинное зеркало и простой шкаф с платьями.

И все тут. Ни гравюры, ни книги, никакой мелочи, по чему бы можно было узнать вкус и склонности хозяйки.

— Где же у ней все? — спросил Райский.

— У ней ничего нет.

— Как ничего? Где чернильница, бумаги?..

— Это все в столе — и ключ у ней.

Райский подошел сначала к одному, потом к другому окну. Из окон открывались виды на поля, деревню с одной стороны, на сад, обрыв и новый дом с другой.

— Пойдемте, братец, отсюда: здесь пустотой пахнет,— сказала Марфенька,— как ей не страшно одной: я бы умерла! А она еще не любит, когда к ней сюда придешь. Бесстрашная такая! Пожалуй, на кладбище одна ночью пойдет, вон туда: видите?

Она указала ему из окна на кучу крестов, сжавшихся тесно на холме, поодаль от крестьянских дворов.

— А ты не ходишь? — спросил он.

— Я днем хожу туда, и то с Агафьей или мальчишку из деревни возьму. А то так на похороны, если мужичок умрет. У нас, слава богу, редко мрут.

Райский опять поглядел на пустую комнату, старался припомнить черты маленькой Веры и припоминал только тоненькую, черненькую девочку с темно-карими глазками, с беленькими зубками и часто с замаранными ручонками.

«Какая же она теперь? Хорошенькая, говорит Марфенька и бабушка тоже: увидим!» — думал он, а теперь пока шел следом за Марфенькой.

XII

Они вышли на другой двор, где были разные службы, кладовые, людские, погреба и конюшни.

На дворе все суетилось, в кухне трещал огонь, в людской обедали люди, в сарае Тарас возился около экипажей, Прохор вел поить лошадей.

За столом в людской слышался разговор. До Райского и Марфеньки долетал грубый говор, грубый смех, смешанные голоса, внезапно приутихшие, как скоро люди из окон заметили барина и барышню.

Однако до них успел долететь маленький отрывок из дружелюбной беседы.

— А что, Мотька: ведь ты скоро умрешь! — говорил не то Егорка, не то Васька.

— Полно тебе, не греши! — унимал его задумчивый и набожный Яков.

— Право, ребята, помяните мое слово,— продолжал первый голос,— у кого грудь ввалилась, волосы из дымчатых сделались красными, глаза ушли в лоб,— тот беспременно умрет... Прощай, Мотенька: мы тебе гробок сколотим да поленцо в голову положим...

— Нет, погоди: я тебя еще вздую...— отозвался голос, должно быть Мотьки.

— На ладан дышишь, а задоришься! Поцелуйте его, Матрена Фаддеевна, вон он какой красавец: лучше покойника не найдешь!.. И пятна желтые на щеках: прощай, Мотя...

— Полно бога гневить! — строго унимал Яков.

Девки тоже вступились за больного и напали на озорника.

Вдруг этот разговор нарушен был чьим-то воплем с другой стороны. Из дверей другой людской вырвалась Марина и быстро, почти не перебирая ногами, промчалась через двор. За ней вслед вылетело полено, очевидно направленное в нее, но благодаря ее увертливости пролетевшее мимо. У ней, однако ж, были растрепаны волосы, в руке она держала гребенку и выла.

— Что такое? — не успел спросить Райский, как она очутилась возле них.

— Что это, барин! — вопила она с плачущим, искаженным лицом, остановясь перед ним и указывая на дверь, из которой выбежала.— Что это такое, барышня! — обратилась она, увидевши Марфеньку,— житья нет!

Тут же, увидев выглядывавшие на нее из кухни лица дворни, она вдруг сквозь слезы засмеялась и показала ряд белых блестящих зубов, потом опять быстро смех сменился плачущей миной.

— Я к барыне пойду: он убьет меня! — говорила она и пронеслась в дом.

— Что такое? — спрашивал Райский у людей.

Егорка скалил зубы, у иных женщин был тоже смех на лице, прочие опустили головы и молчали.

— Что такое? — повторил Райский, обращаясь к Марфеньке.

Из дома слышались жалобы Марины, прерываемые выговорами Татьяны Марковны.

Райский вошел в комнату.

— Вот посмотри, каково ее муж отделал! — обратилась бабушка к Райскому.— А за дело, негодяйка, за дело!

— Понапрасну, барыня, все понапрасну. Пес его знает, что померещилось ему, чтоб сгинуть ему, проклятому! Я ходила в кусты, сучьев наломать, тут встретился графский садовник: дай, говорит, я тебе помогу, и дотащил сучья до калитки, а Савелий выдумал...

— Врешь, врешь, негодяйка! — строго говорила барыня,— недаром, недаром!

— Вот сквозь землю провалиться! Дай бог до утра не дожить...

— Перестань клясться! На той неделе ты выпросилась ко всенощной, а тебя видели в слободке с фельдшером...

— Не я, барыня, дай бог околеть мне на этом месте...

— Как же Яков тебя видел? Он лгать не станет!

— Не я, барыня, должно быть, черт был во образе моем...

— Прочь с глаз моих! Позвать ко мне Савелья! — заключила бабушка.— Борис Павлыч, ты барин, разбери их!

— Я ничего не понимаю! — сказал он.

Савелий встретился с Мариной на дворе. До ушей Райского долетел звук глухого удара, как будто кулаком по спине или по шее, потом опять визг, плач.

Марина рванулась, быстро пробежала через двор и скрылась в людскую, где ее встретил хохот, на который и она, отирая передником слезы и втыкая гребень в растрепанные волосы, отвечала хохотом же. Потом опять боль напомнила о себе.

— Дьявол, леший, чтоб ему издохнуть! — говорила она то плача, то отвечая на злой хохот дворни хохотом.

Савелий, с опущенными глазами, неловко и тяжело переступил порог комнаты и стал в углу.

— Что это ты не уймешься, Савелий? — начала бабушка выговаривать ему.— Долго ли до греха? Ведь ты так когда-нибудь ударишь, что и дух вон, а проку все не будет.

— Собаке собачья и смерть! — мрачно проговорил Савелий, глядя в землю.

На лбу у него собрались крупные складки; он был бледен.

— Ну, как хочешь, а я держать тебя не стану, я не хочу уголовного дела в доме. Шутка ли, что попадется под руку, тем сплеча и бьет! Ведь я говорила тебе: не женись, а ты все свое, не послушал — и вот!

— Это точно что...— проговорил он тихо, опуская голову.

— Это в последний раз! — заметила бабушка.— Если еще раз случится, я ее отправлю в Новоселово.

— Что ж с ней делать? — тихо спросил Савелий.

— А что ты сделаешь дракой? Уймется, что ли, она?

— Все-таки... острастка...— сказал Савелий, глядя в землю.

— Ступай, да чтоб этого не было, слышишь?

Он медленно взглянул исподлобья, сначала на барыню, потом на Райского, и, медленно обернувшись, задумчиво прошел двор, отворил дверь и боком перешагнул порог своей комнаты. А Егорка, пока Савелий шел по двору, скаля зубы, показывал на него сзади пальцем дворне и толкал Марину к окну, чтобы она взглянула на своего супруга.

— Отстань ты, черт этакой!

И она с досадой замахнулась на него, потом широко улыбнулась, показывая зубы.

— Что это такое, бабушка? — спросил Райский.

Бабушка объяснила ему это явление. В дворню из деревни была взята Марина девчонкой шестнадцати лет. Проворством и способностями она превзошла всех и каждого, и превзошла ожидания бабушки.

Не было дела, которого бы она не разумела, где другому надо час, ей не нужно и пяти минут.

Другой только еще выслушает приказание, почешет голову, спину, а она уж на другом конце двора, уж сделала дело, и всегда отлично, и воротилась.

Позовут ли ее одеть барышень, гладить, сбегать куда-нибудь, убрать, приготовить, купить, на кухне ли помочь: в нее всю как будто вложена какая-то молния, рукам дана цепкость, глазу верность. Она все заметит, угадает, сообразит и сделает в одну и ту же минуту.

Она вечно двигалась, делала что-нибудь, и когда остановится без дела, то руки хранят прием, по которому видно, что она только что делала что-нибудь или собирается делать.

И чиста она была на руку: ничего не стащит, не спрячет, не присвоит, не корыстна и не жадна: не съест тихонько. Даже немного ела, все на ходу; моет посуду и съест что-нибудь с собранных с господского стола тарелок, какой-нибудь огурец, или хлебнет стоя щей ложки две, отщипнет кусочек хлеба и уж опять бежит.

Татьяна Марковна не знала ей цены и сначала взяла ее в комнаты, потом, по просьбе Верочки, отдала ей в горничные. В этом звании Марине мало было дела, и она продолжала делать все и за всех в доме. Верочка как-то полюбила ее, и она полюбила Верочку и умела угадывать по глазам, что ей нужно, что нравилось, что нет.

Но... несмотря на все это, бабушка разжаловала ее из камерфрейлин в дворовые девки, потом обрекла на черную работу, мыть посуду, белье, полы и т. п.

Только ради ее проворства и способностей она оставлена была при старом доме и продолжала пользоваться доверенностью Веры, и та употребляла ее по своим особым поручениям.

Марина потеряла милости барыни за то, что познала «любовь и ее тревоги» в лице Никиты, потом Петра, потом Терентья и так далее, и так далее.

Не было лакея в дворне, видного парня в деревне, на котором бы она не остановила благосклонного взгляда. Границ и пределов ее любвям не было.

Будь она в Москве, в Петербурге или другом городе и положении,— там опасение, страх лишиться хлеба, места положили бы какую-нибудь узду на ее склонности. Но в ее обеспеченном состоянии крепостной дворовой девки узды не существовало.

Ее не прогонят, куска хлеба не лишат, а к стыду можно притерпеться, как скоро однажды навсегда узнает все тесный кру-

жок лиц, с которыми она более или менее состояла в родстве, кумовстве или нежных отношениях.

Марина была не то что хороша собой, а было в ней что-то втягивающее, раздражающее, нельзя назвать, что именно, что привлекало к ней многочисленных поклонников: не то скользящий быстро по предметам, ни на чем не останавливающийся взгляд этих изжелта-серых, лукавых и бесстыжих глаз, не то какая-то нервная дрожь плеч и бедр и подвижность, игра во всей фигуре, в щеках и в губах, в руках; легкий, будто летучий, шаг, широкая ли, внезапно все лицо и ряд белых зубов освещавшая улыбка, как будто к нему вдруг поднесут в темноте фонарь, так же внезапно пропадающая и уступающая место слезам, даже, когда нужно, воплям — бог знает что!

Только кто с ней поговорит, поглядит на нее, а она на него, даже кто просто встретит ее, тот поворотит с своей дороги и пойдет за ней.

Она даже не радела слишком о своем туалете, особенно когда разжаловали ее в чернорабочие: платье на ней толстое, рукава засучены, шея и руки по локоть грубы от загара и от работы; но сейчас же, за чертой загара, начиналась белая мягкая кожа.

Сложена она была хорошо: талия ее, без корсета и кринолина, тонко и стройно покачивалась над грязной юбкой, когда она неслась по двору, будто летела.

С Савельем случилось то же, что с другими: то есть он поглядел на нее раза два исподлобья, и хотя был некрасив, но удостоился ее благосклонного внимания, ни более ни менее, как прочие. Потом пошел к барыне просить позволения жениться на Марине.

— Ты с ума сошел! — в изумлении сказала Татьяна Марковна.

— Я выкуп дам,— произнес в ответ на это Савелий.

— Не надо мне выкупа, а ты знаешь ее: как же ты будешь жить?..

— Это мое дело,— промолвил Савелий.

Бережкова дала ему сроку две недели, и через две недели ровно он пришел в комнаты и стал в углу.

— Что ты?

— Позвольте повенчаться,— был ответ.

— Да ведь она не уймется!

— Уймется, не будет!

— Ну, смотри, пеняй на себя! Я напишу к Борису Павловичу, Марина не моя, а его, — как он хочет.

Бабушка написала, Райский ничего не отвечал, и Савелий женился.

Марина не думала меняться и о супружестве имела темное понятие. Не прошло двух недель, как Савелий застал у себя в

гостях гарнизонного унтер-офицера, который быстро ускользнул из дверей и перелез через забор.

Савелий побледнел и вопросительно взглянул на жену; та истощила весь запас клятв: ничего не помогло.

Он подумал немного, потупившись, крупные складки показались у него на лбу, потом запер дверь, медленно засучил рукава и, взяв старую вожжу, из висевших на гвозде, начал отвешивать медленные, но тяжелые удары по чему ни попало.

Марина выказала всю данную ей природой ловкость, извиваясь, как змея, бросаясь из угла в угол, прыгая на лавки, на столы, металась к окнам, на печь, даже пробовала в печь: вожжа следовала за ней и доставала повсюду, пока, наконец, Марина не попала случайно на дверь.

Она откинула крючок с петли и, избитая, растрепанная, с плачем и воплем, вырвалась на двор.

Дворня с ужасом внимала этому истязанию, вопли дошли до слуха барыни. Она с тревогой вышла на балкон: тут жертва супружеского гнева предстала перед ней с теми же воплями, жалобами и клятвами, каких был свидетелем Райский.

Но этот урок не повел ни к чему. Марина была все та же, опять претерпевала истязание и бежала к барыне или ускользала от мужа и пряталась дня три на чердаках, по сараям, пока не проходил первый пыл.

Она была живуча, как кошка, и быстро оправлялась от побоев, сама дружно и бесстыдно разделяла смех дворни над ревностью мужа, над его стараниями исправить ее и даже над побоями.

Но Савелий менялся, стал худеть, реже показывался в людской, среди дворни, и сильно задумывался.

На жену он и прежде смотрел исподлобья, а потом почти вовсе не глядел, но всегда знал, в какую минуту где она, что делает.

Этому она сама надивиться не могла: уж она ли не проворна, она ли не мастерица скользнуть, как тень, из одной двери в другую, из переулка в слободку, из сада в лес,— нет, увидит, узнает, точно чутьем, и явится, как тут, и почти всегда с вожжой! Это составляло зрелище, потеху дворни.

Савелий падал духом, молился богу, сидел молча, как бирюк, у себя в клетушке, тяжело покрякивая.

Между тем он же впадал в странное противоречие: на ярмарке он все деньги истратит на жену, купит ей платье, платков, башмаков, серьги какие-нибудь. На святую неделю, молча, поведет ее под качели и столько накупит и, молча же, насует ей в руки орехов, пряников, черных стручьев, моченых груш, что она употчует всю дворню.

— Что ты скажешь? — спросила Татьяна Марковна, сообщив все эти подробности внуку.

— Это прелесть! — сказал он.— Это целая драма!

И сейчас в голове у него быстро возник очерк народной драмы. Как этот угрюмый, сосредоточенный характер мужика мог сложиться в цельную, оригинальную и сильную фигуру? Как устояла страсть среди этого омута разврата?

Он надивиться не мог и дал себе слово глубже вникнуть в источник этого характера. И Марина улыбалась ему в художественном очерке. Он видел в ней не просто распущенную дворовую женщину вроде горьких, безнадежных пьяниц между мужчинами, а бескорыстную жрицу культа, «матерь наслаждений»...

— Что же с ними делать? — спросила бабушка,— надумался ли ты? Не сослать ли их?..

— Ах, нет, не трогайте, не мешайте! — с испугом вступился он.— Вы мне испортите эту живую натуральную драму...

— Ну, скажите на милость: не трогать! Он убьет ее.

— Так что же! У нас нет жизни, нет драм вовсе: убивают в драке, пьяные, как дикари! А тут в кои-то веки завязался настоящий человеческий интерес, сложился в драму, а вы — мешать!.. Оставьте, ради бога! Посмотрим, чем разрешится... кровью, или...

— Вот что я сделаю,— сказала Татьяна Марковна,— попрошу священника, чтоб он поговорил с Савельем; да кстати, Борюшка, и тебя надо отчитать. Радуется, что беда над головой!

— Скажите, бабушка: Марина одна такая у нас, или...

Бабушка сердито махнула рукой на дворню.

— Все в родстве! — с омерзением сказала она.— Матрешка неразлучна с Егоркой, Машка — помнишь, за детьми ходила девчонка? — у Прохора в сарае живмя живет. Акулина с Никиткой, Татьяна с Васькой... Только Василиса да Яков и есть порядочные! Но те все прячутся, стыд еще есть: а Марина!..

Она плюнула, а Райский засмеялся.

— Сейчас же пойду, непременно набросаю очерк...— сказал он,— слава богу, страсть! Прошу покорно — Савелий!

— Опять «непременно»! — заметила бабушка.

Он живо вскочил и только хотел бежать к себе, как и бабушка, и он, оба увидали Полину Карповну Крицкую, которая входила на крыльцо и уже отворяла дверь. Спрятаться и отказать не было возможности: поздно.

— Вот тебе и «непременно»! — шепнула Татьяна Марковна,— видишь! Теперь пойдет таскаться, не отучишь ее! Принесла нелегкая! Сто́ит Марины! Что это, по-твоему: тоже драма?

— Нет, это, кажется... комедия! — сказал Райский и поневоле стал всматриваться в это явление.

— Bon*jur*, bon*jur*![1] — нежно пришепетывала Полина Карповна,— как я рада, что вы дома; вы не хотите посетить меня, я сама опять пришла. Здравствуйте, Татьяна Марковна!

---

[1] Здравствуйте, здравствуйте! *(франц.)*

— Здравствуйте, Полина Карповна! — живо заговорила бабушка, переходя внезапно в радушный тон, — милости просим, садитесь сюда, на диван! Василиса, кофе, завтрак чтоб был готов!

— Нет, merci, я пила.

— Помилуйте, как можно, теперь рано: до обеда долго.

— Нет, я ничего не хочу, благодарю вас.

— Нельзя же: от вас далеко...

И бабушка настояла, чтоб подали кофе. Райский с любопытством глядел на барыню, набеленную пудрой, в локонах, с розовыми лентами на шляпке и на груди, значительно открытой, и в ботинке пятилетнего ребенка, так что кровь от этого прилила ей в голову. Перчатки были новые, желтые, лайковые, но они лопнули по швам, потому что были меньше руки.

За ней шел только что выпущенный кадет, с чуть-чуть пробивающимся пушком на бороде. Он держал на руке шаль Полины Карповны, зонтик и веер. Он, вытянув шею, стоял, почти не дыша, за нею.

— Вот, позвольте познакомить вас: Michel Рамин, в отпуску здесь... Татьяна Марковна уже знакома с ним.

Юноша, вместо поклона, болтнулся всей фигурой, густо покраснел и опять окоченел на месте.

— Dites quelque chose, Michel! [1] — сказала вполголоса Крицкая.

Но Мишель покраснел еще гуще и остался на месте.

— Asseyez-vous donc[2], — сказала она и сама села.

— Нынче *жярко*: très *cheux!*[3] — продолжала она, — где мой веер? Дайте его сюда, Michel!

Она начала обмахиваться, глядя на Райского.

— Не хотели посетить меня! — повторила она.

— Я нигде не был, — сказал Райский.

— Не говорите, не оправдывайтесь; я знаю причину: боялись...

— Чего?

— Ah, le monde est si méchant![4]

«Черт знает что такое!» — думал Райский, глядя на нее во все глаза.

— Так? Угадала? — говорила она. — Я еще в первый раз заметила, que nous nous entendons! [5] Эти два взгляда — помните? Voilà, voilà, tenez...[6] этот самый! о, я угадываю его...

Он засмеялся.

---

[1] Скажите что-нибудь, Мишель! *(франц.)*
[2] Садитесь же *(франц.)*.
[3] Очень жарко! (искаженное *франц.*: «chaud».)
[4] Свет так злоречив! *(франц.)*
[5] Что мы понимаем друг друга! *(франц.)*
[6] Вот, вот... *(франц.)*

— Да, да; правда? Oh, nous nous convenons![1] Что касается до меня, я умею презирать свет и его мнения. Не правда ли, это заслуживает презрения? Там, где есть искренность, симпатия, где люди понимают друг друга, иногда без слов, по одному такому взгляду...

— Кофейку, Полина Карповна! — прервала ее Татьяна Марковна, подвигая к ней чашку.— Не слушай ее! — шепнула она, косясь на полуоткрытую грудь Крицкой,— все врет, бесстыжая! Возьмите вашу чашку,— прибавила она, обратясь к юноше,— вот и булки!

— Débarassez-vous de tout cela[2],— сказала ему Крицкая и взяла у него зонтик из рук.

— Я, признаться, уж пил...— под нос себе произнес кадет, однако взял чашку, выбрал побольше булку и откусил половину ее, точно отрезал, опять густо покраснев.

Полина Карповна вдова. Она все вздыхает, вспоминая «несчастное супружество», хотя все говорят, что муж у ней был добрый, смирный человек и в ее дела никогда не вмешивался. А она называет его «тираном», говорит, что молодость ее прошла бесплодно, что она не жила любовью и счастьем, и верит, что «час ее пробьет, что она полюбит и будет любить идеально».

Татьяна Марковна не совсем была права, сравнив ее с Мариной. Полина Карповна была покойного темперамента: она не искала так называемого «падения», и измены своим обязанностям на совести не имела.

Не была она тоже сентиментальна, и если вздыхала, возводила глаза к небу, разливалась в нежных речах, то делала это притворно, прибегая к этому, как к условным приемам кокетства.

Но ей до смерти хотелось, чтоб кто-нибудь был всегда в нее влюблен, чтобы об этом знали и говорили все в городе, в домах, на улице, в церкви, то есть что кто-нибудь по ней «страдает», плачет, не спит, не ест, пусть бы даже это была неправда.

В городе ее уже знают, и она теперь старается заманивать новичков, заезжих студентов, прапорщиков, молодых чиновников.

Она ласкает их, кормит, лакомит, раздражает их самолюбие. Они адски едят, пьют, накурят и уйдут. А она под рукой распускает слух, что тот или другой «страдает» по ней.

— Pauvre garçon![3] — говорит она с жалостью.

Теперь при ней состоял заезжий юноша, Michel Рамин, приехавший прямо с школьной скамьи в отпуск. Он держал себя прямо, мундир у него с иголочки: он всегда застегнут на все пуговицы, густо краснеет, на вопросы сиплым, робким басом говорит *да-с* или *нет-с*.

[1] О, как мы подходим друг к другу! *(франц.)*
[2] Освободитесь от всего этого *(франц.)*.
[3] Бедный мальчик! *(франц.)*

У него были такие большие руки, с такими длинными и красными пальцами, что ни в какие перчатки, кроме замшевых, не входили. Он был одержим кадетским аппетитом и институтскою робостью.

Полина Карповна стала было угощать и его конфектами, но он съедал фунта по три в один присест. Теперь он сопровождает барыню везде, таская шаль, мантилью и веер за ней.

— Je veux former le jeune homme, ce pauvre enfant![1]— так объясняет она официально свои отношения к нему.

— Что вы намерены сегодня делать? Я обедаю у вас: ce projet vous sourit-il?[2]— обратилась она к Райскому.

У бабушки внутри прошла судорога, но она и вида не подала, даже выказала радость.

— Милости просим. Марфенька, Марфенька!

Вошла Марфенька. Крицкая весело поздоровалась с ней, а юноша густо покраснел. Марфенька, поглядев на туалет Полины Карповны, хотела засмеяться, но удержалась. При взгляде на ее спутника лицо у ней наполнилось еще больше смехом.

— Марфа Васильевна! — неожиданно, басом, сказал юноша,— у вас коза в огород зашла — я видел! Как бы в сад не забралась!

— Покорно благодарю, я сейчас велю выгнать. Это Машка,— заметила Марфенька,— она меня ищет. Я хлебца ей дам.

Бабушка пошептала ей на ухо, что приготовить для неожиданных гостей к обеду, и Марфенька вышла.

— В городе все говорят о вас и все в претензии, что вы до сих пор ни у кого не были, ни у губернатора, ни у архиерея, ни у предводителя,— обратилась Крицкая к Райскому.

— И я ему тоже говорила! — заметила Татьяна Марковна,— да нынче бабушек не слушают. Нехорошо, Борис Павлович, ты бы съездил хоть к Нилу Андреичу: уважил бы старика. А то он не простит. Я велю вычистить и вымыть коляску...

— Я не поеду ни к кому, бабушка,— зевая, сказал Райский.

— А ко мне? — спросила Крицкая.

Он, глядя на нее, учтиво молчал.

— Не принуждайте себя: de grâce, faites ce qu'il vous plaira[3]. Теперь я знаю ваш образ мыслей, я уверена (она сделала ударение на этих словах), что вы хотите... и только свет... и злые языки...

Он засмеялся.

— Ну, да — да. Я вижу, я угадала! О, мы будем счастливы! Enfin!..[4]—будто про себя шепнула она, но так, что он слышал.

---

[1] Я хочу сделать из этого бедного ребенка светского молодого человека! *(франц.)*

[2] Нравится вам этот проект? *(франц.)*

[3] О, пожалуйста, поступайте, как вам будет угодно *(франц.)*.

[4] Наконец-то!.. *(франц.)*

«Ужели она часто будет душить меня? — думал Райский, с ужасом глядя на нее.— Куда спастись от нее? А она не годится и в роман: слишком карикатурна! Никто не поверит...»

XIII

Тихо тянулись дни, тихо вставало горячее солнце и обтекало синее небо, распростершееся над Волгой и ее прибрежьем. Медленно ползли снегообразные облака в полдень и иногда, сжавшись в кучу, потемняли лазурь и рассыпались веселым дождем на поля и сады, охлаждали воздух и уходили дальше, дав простор тихому и теплому вечеру.

Если же вдруг останавливалась над городом и Малиновкой (так звали деревушку Райского) черная туча и разрешалась продолжительной, почти тропической грозой — все робело, смущалось, весь дом принимал, как будто перед нашествием неприятеля, оборонительное положение. Татьяна Марковна походила на капитана корабля во время шторма.

— Гасить огни, закрывать трубы, окна, запирать двери!— слышалась ее команда.— Поди, Василиса, посмотри, не курят ли трубок? Нет ли где сквозного ветра? Отойди, Марфенька, от окна!

Пока ветер качал и гнул к земле деревья, столбами нес пыль, метя поля, пока молнии жгли воздух и гром тяжело, как хохот, катался в небе, бабушка не смыкала глаз, не раздевалась, ходила из комнаты в комнату, заглядывала, что делают Марфенька и Верочка, крестила их и крестилась сама, и тогда только успокоивалась, когда туча, истратив весь пламень и треск, бледнела и уходила вдаль.

Утром восходило опять радостное солнце и играло в каждой повисшей на листьях капельке, в каждой луже, заглядывало в каждое окно и било в стекла и щели счастливого приюта.

Таким же монотонным узором тянулась и жизнь в Малиновке. Райский почти не чувствовал, что живет.

Он кончил портрет Марфеньки и исправил литературный эскиз Наташи, предполагая вставить его в роман впоследствии, когда раскинется и округлится у него в голове весь роман, когда явится «цель и необходимость» создания, когда все лица выльются каждое в свою форму, как живые, дохнут, окрасятся колоритом жизни и все свяжутся между собою этою «необходимостью и целью» — так что, читая роман, всякий скажет, что он был нужен, что его недоставало в литературе.

Он решил писать его эпизодами, набрасывая фигуру, какая его займет, сцену, которая его увлечет или поразит, вставляя себя везде, куда его повлечет ощущение, впечатление, наконец чувство и страсть, особенно страсть!

— Ах, дай бог, страсть!—молил он иногда, томимый скукой.

Он бы уже соскучился в своей Малиновке, уехал бы искать в другом месте «жизни», радостно захлебываться ею под дыханием страсти или не находить по обыкновению ни в чем примирения с своими идеалами, страдать от уродливостей и томиться мертвым равнодушием ко всему на свете.

Все это часто повторялось с ним, повторилось бы и теперь: он ждал и боялся этого. Но еще в нем не изжили пока свой срок впечатления наивной среды, куда он попал. Ему еще пока приятен был ласковый луч солнца, добрый взгляд бабушки, радушная услужливость дворни, рождающаяся нежная симпатия Марфеньки — особенно последнее.

Он по утрам с удовольствием ждал, когда она, в холстинковой блузе, без воротничков и нарукавников, еще с томными, не совсем прозревшими глазами, не остывшая от сна, привставши на цыпочки, положит ему руку на плечо, чтоб разменяться поцелуем, и угощает его чаем, глядя ему в глаза, угадывая желания и бросаясь исполнять их. А потом наденет соломенную шляпу с широкими полями, ходит около него или под руку с ним по полю, по садам — и у него кровь бежит быстрее, ему пока не скучно.

Ему любо было пока возиться и с бабушкой: отдавать свою волю в ее опеку и с улыбкой смотреть и слушать, как она учила его уму-разуму, порядку, остерегала от пороков и соблазнов, старалась свести его с его «цыганских» понятий о жизни на свою крепкую, житейскую мудрость.

Нравился ему и Тит Никоныч, остаток прошлого века, живущий под знаменем вечной учтивости, приличного тона, уклончивости, изящного смирения и таковых же манер, все всем прощающий, ничем не оскорбляющийся и берегущий свое драгоценное здоровье, всеми любимый и всех любящий.

Иногда, в добрую минуту, его даже забавляла эксцентрическая барыня, Полина Карповна. Она умела заманить его к себе обедать и уверяла, что «он или неравнодушен к ней, но скрывает, или sur le point de l'être[1], но противится и немного остерегается, mais que tôt ou tard cela finira par là et comme elle sera contente, heureuse! etc.»[2]

Он убаюкивался этою тихой жизнью, по временам записывая кое-что в роман: черту, сцену, лицо, записал бабушку, Марфеньку, Леонтья с женой, Савелья и Марину, потом смотрел на Волгу, на ее течение, слушал тишину и глядел на сон этих рассыпанных по прибрежью сел и деревень, ловил в этом океане молчания какие-то одному ему слышимые звуки и шел играть и петь их, и упивался, прислушиваясь к созданным им мотивам, бросал их на бумагу и прятал в портфель, чтоб, «со временем», обработать — ведь времени много впереди, а дел у него нет.

---

[1] Близок к тому *(франц.)*.

[2] Но что рано или поздно все этим кончится, и как она будет тогда довольна, счастлива! и т. д. *(франц.)*

Глядел и на ту картину, которую до того верно нарисовал Беловодовой, что она, по ее словам, «дурно спала ночь»: на тупую задумчивость мужика, на грубую, медленную и тяжелую его работу — как он тянет ременную лямку, таща барку, или, затерявшись в бороздах нивы, шагает медленно, весь в поту, будто несет на руках и соху и лошадь вместе — или как беременная баба, спаленная зноем, возится с серпом во ржи.

Он рисует эти загорелые лица, их избы, утварь, ловит воздух, то есть набросает слегка эскиз и спрячет в портфель, опять «до времени».

«Ну, что ж я выражу этим, если изображу эту природу, этих людей: где же смысл, ключ к этому созданию?»

«В самом создании!» — говорил художнический инстинкт: и он оставлял перо и шел на Волгу обдумывать, что такое создание, почему оно само по себе имеет смысл, если оно — создание, и когда именно оно создание?

Потом перед ним вырастали трудности: постепенность развития, полнота и законченность характеров, связь между ними, а там, сквозь художественную форму, пробивался анализ и охлаждал...

— Une mer à boire[1],— говорил он со вздохом, складывал листки в портфель и звал Марфеньку в сад.

Он дал себе слово объяснить, при первом удобном случае, окончательно вопрос, не о том, что такое Марфенька: это было слишком очевидно, а что из нее будет,— и потом уже поступить в отношении к ней, смотря по тому, что окажется после объяснения. Способна ли она к дальнейшему развитию, или уже дошла до своих геркулесовых столпов?

И если, «паче чаяния», в ней откроется ему внезапный золотоносный прииск, с богатыми залогами, —в женщинах не редки такие неожиданности,— тогда, конечно, он поставит здесь свой домашний жертвенник и посвятит себя развитию милого существа: она и искусство будут его кумирами. Тогда и эти эпизоды, эскизы, сцены — все пойдет в дело. Ему не над чем будет разбрасываться, жизнь его сосредоточится и определится.

Но опыты над Марфенькой пока еще не подвигались вперед, и не будь она такая хорошенькая, он бы устал давно от бесплодной работы над ее развитием.

Как он ни затрогивает ее ум, самолюбие, ту или другую сторону сердца — никак не может вывести ее из круга ранних, девических понятий, теплых, домашних чувств, логики преданий и преподанных бабушкой уроков.

Она все девочка, и ни разу не высказалась в ней даже девица. Быть «девой», по своей здоровой натуре и по простому, почти животному, воспитанию, она решительно не обещала.

---

[1] Грандиозная задача *(франц.)*.

Но ведь все-таки она грядущая женщина: какая же она будет, какою быть должна?

Он смотрел мысленно и на себя, как это у него делалось невольно, само собой, без его ведома («и как делалось у всех,— думал он,— непременно, только эти все не наблюдают за собой или не сознаются в этой, врожденной человеку, черте: одни — только казаться, а другие и быть и казаться как можно лучше— одни, натуры мелкие — только наружно, то есть рисоваться, натуры глубокие, серьезные, искренние — и внутренно, что в сущности и значит работать над собой, улучшаться»), и вдумывался, какая роль достается ему в этой встрече: таков ли он, каков должен быть, и каков именно должен он быть? Брат, нежный покровитель и руководитель ее юности — или в самом деле будущий ее муж?

Едва он остановился на этой последней роли, как вздохнул глубоко, заранее предвидя, что или он, или она не продержатся до свадьбы на высоте идеала, поэзия улетучится или рассыплется в мелкий дождь мещанской комедии! И он холодеет, зевает, чувствует уже симптомы скуки.

Волноваться так, без цели, и волновать ее — безнравственно. Что же делать: как держать себя с ней?

Просто быть братом невозможно, надо бежать: она слишком мила, тепла, нежна, прикосновение ее греет, жжет, шевелит нервы. Он же приходится ей брат в третьем колене, то есть не брат, и близость такой сестры опасна...

А между тем он поддавался неге ее ласк, и ответные его ласки были не ласки брата, а нежнее; в поцелуй прокрадывался какой-то страстный змей...

«Еще опыт,— думал он,— один разговор, и я буду ее мужем, или... Диоген искал с фонарем «человека»—я ищу женщины: вот ключ к моим поискам! А если не найду в ней, и боюсь, что не найду, я, разумеется, не затушу фонаря, пойду дальше... Но боже мой! где кончится это мое странствие?»

Он зевнул.

«Уеду отсюда и напишу роман: картину вялого сна, вялой жизни...»

Он еще пуще зевнул.

— Скажи, Марфенька,— начал он однажды, сидя с нею в сумерки на дерновом диване, под акациями,— не скучно тебе здесь? Не надоели тебе: бабушка, Тит Никоныч, сад, цветы, песенки, книжки с веселым окончанием?..

— Нет,— сказала она, удивляясь этим вопросам,— чего же мне еще нужно?

— Не кажется тебе иногда это... однообразно, пошло, скучно?

— Пошло, скучно! —повторяла она задумчиво,— нет! Разве здесь скучно?

— Все это ребячество, Марфенька: цветы, песенки, а ты уж

взрослая девушка,— он бросил беглый взгляд на ее плечи и бюст, —ужели тебе не приходит в голову что-нибудь другое, серьезное? Разве тебя ничто больше не занимает?

Она задумалась, потупив глаза. Ей было немного стыдно и неловко, что ее считают еще ребенком.

«А ведь я давно не ребенок: мне идет четырнадцать аршин материи на платье: столько же, сколько бабушке — нет, больше: бабушка не носит широких юбок,— успела она в это время подумать.— Но боже мой! что это за вздор у меня в голове? Что я ему скажу? Пусть бы Верочка поскорей приехала на подмогу...»

Она не знала, что ей надо делать, чтоб быть не ребенком, чтоб на нее смотрели, как на взрослую, уважали, боялись ее. Она беспокойно оглядывалась вокруг, тиранила пальцами кончик передника, смотрела себе под ноги.

У ней многое проносилось в голове, росли мысли, являлись вопросы, но так туманно, бледно, что она не успевала вслушиваться в них, как они исчезали, и не умела высказать.

— Послушайте, братец,— отвечала она,— вы не думайте, что я дитя, потому что люблю птиц, цветы: я и дело делаю. Бабушка часто велит мне записывать приход и расход. Я знаю, сколько засевается ржи, овса, когда что поспевает, куда и когда сплавляют хлеб, знаю, сколько лесу надо мужику, чтоб избу построить...— Она смелее поглядела на него.— Я бы могла и за полевыми работами смотреть, да бабушка не пускает. Что же еще? — прибавила она, глядя на него во все глаза и думая, выросла ли она хоть немного в его глазах?

— Да, это все, конечно, хорошо, и со временем из тебя может выйти такая же бабушка. Разве ты хотела бы быть такою?

— Ах, дай бог: да где мне!

— А другою тебе не хочется быть?

— Зачем? Ведь если б я была другою, я бы здесь была не на месте...

— Так, умно сказано, Марфенька: да зачем же здесь? Ты слыхала про Москву, про Петербург, про Париж, Лондон: разве тебе не хотелось бы побывать везде?

— Зачем мне?

— Как зачем! Ты читаешь книги, там говорится, как живут другие женщины: вон хоть бы эта Елена, у мисс Эджеворт. Разве тебя не тянет, не хочется тебе испытать этой другой жизни?..

Она медленно и задумчиво качала головой.

— Нет,— сказала она,— чего не знаешь, так и не хочется. Вон Верочка, той все скучно, она часто грустит, сидит, как каменная, все ей будто чужое здесь! Ей бы надо куда-нибудь уехать, она не здешняя.— А я — ах, как мне здесь хорошо: в поле, с цветами, с птицами, как дышится легко! Как весело, когда съедутся знакомые!.. Нет, нет, я здешняя, я вся вот из этого

песочку, из этой травки! не хочу никуда. Что бы я одна делала там в Петербурге, за границей? Я бы умерла с тоски...

— Ты бы не одна была.

— С кем же? Бабушка никогда не выедет из деревни.

— Зачем тебе бабушка? Со мной... с мужем. Поехала бы со мной?

Она покачала отрицательно головой.

— Отчего?

— Я боялась бы, что вам скучно со мной...

— Ты привыкла бы ко мне.

— Нет, не привыкла бы... Вот другая неделя, как вы здесь... а я боюсь вас.

— Чего же? кажется, я такой простой: сижу, гуляю, рисую с тобой...

— Нет, вы не простой. Иногда у вас что-то такое в глазах... Нет, я не привыкну к вам...

— Но ведь это скучно: век свой с бабушкой и ни шагу без нее...

— Да я сама бы ничего не выдумала: что бы я стала делать без нее?

Она беспокойно глядела по сторонам и опять встревожилась тем, что нечего ей больше сказать в ответ.

«Ах, боже мой! Он сочтет меня дурочкой... Что бы сказать мне ему такое... самое умное? Господи, помоги!» — молилась она про себя.

Но ничего «умного» не приходило ей в голову, и она в тоске теребила свои пальцы.

— Не мучаешься ты ничем внутренно? Нет ничего у тебя на душе?.. — приставал он.

Она глубоко вздохнула.

«Бабушка велела, чтоб ужин был хороший — вот что у меня на душе: как я ему скажу это!..» — подумала она.

— Как не быть? Я взрослая, не девочка! — с печальной важностью сказала она, помолчав.

— А! грешки есть: ну, слава богу! А я уже было отчаивался в тебе! Говори же, говори, что?

Он подвинулся к ней, взял ее за руки.

— Что! — повторила она задумчиво, не отнимая руки,— а совесть?

— Совесть! О-го! это большими грехами пахнет!

Он засмеялся было, а потом вдруг подумал, не кроется ли под этой наивностью какой-нибудь крупный грешок, не притворная ли она смиренница?

— Что же может быть у тебя на совести? Доверься мне, и разберем вместе. Не пригожусь ли я тебе на какую-нибудь услугу?

— То, что я думаю, у всякого есть...

— Например?

— Послушайте-ка проповеди отца Василья о том, как надо жить, что надо делать! А как мы живем: делаем ли хоть половину того, что он велит? — внушительно говорила она.— Хоть бы один день прожить так... и то не удается! Отречься от себя, быть всем слугой, отдавать все бедным, любить всех больше себя, даже тех, кто нас обижает, не сердиться, трудиться, не думать слишком о нарядах и о пустяках, не болтать... ужас, ужас! Всего не вспомнишь! Я как стану думать, так и растеряюсь: страшно станет. Не достанет всей жизни, чтоб сделать это! Вон бабушка: есть ли умнее и добрее ее на свете! а и она... грешит...— шепотом произнесла Марфенька,— сердится напрасно, терпеть не может Анну Петровну Токееву: даже не похристосовалась с ней! Полину Карповну не любит. На людей часто сердится; не все прощает им; баб притворщицами считает, когда они жалуются на нужду... Деньги очень бережет...— еще тише шепнула Марфенька.— А когда ошибется в чем-нибудь, никогда не сознается: гордая бабушка! Она лучше всех здесь: какие же мы с Верочкой! и какой надо быть, чтоб...

—Такой, как ты есть,— сказал Райский.

— Нет...— Она задумчиво покачала головой.— Я многого не понимаю и оттого не знаю, как мне иногда надо поступить. Вон Верочка знает, и если не делает, так не хочет, а я не умею...

— И ты часто мучаешься этим?

— Нет: иногда, как заговорят об этом, бабушка побранит... Заплáчу, и пройдет, и опять делаюсь весела, и все, что говорит отец Василий,— будто не мое дело! Вот что худо!

— И больше нет у тебя заботы, счастливое дитя?

— Как будто этого мало! Разве вы никогда не думаете об этом? — с удивлением спросила она.

— Нет, душенька: ведь я не слыхал отца Василья.

— Как же вы живете: ведь есть и у вас что-нибудь на душе?

— Вот теперь ты!

— Я! Обо мне бабушка заботится, пока жива...

— А как она умрет?

— Бабушка? Боже сохрани! — торопливо прибавила она, крестясь.

— Должно же это случиться...

— Бог с вами: что за мысли, что за разговор у вас такой!..

Она старалась не слушать его.

— Неужели ты думаешь, что она вечно будет жить?..

— Перестаньте, ради бога: я и слушать не хочу!

— Ну, а если?

— Тогда и мы с Верочкой умрем, потому что без бабушки...

Она тяжело вздохнула.

— От этого и надо думать, что птичек, цветов и всей этой мелочи не станет, чтоб прожить ею целую жизнь. Нужны другие интересы, другие связи, симпатии...

— Что же мне делать? — почти в отчаянии сказала она.

— Надо любить кого-нибудь, мужчину...— помолчав, говорил он, наклоняя ее лоб к своим губам.

— Выйти замуж? Да, вы мне говорили, и бабушка часто намекает на то же, но...

— Но... что же?

— Где его взять? — стыдливо сказала она.

— Разве тебе не нравится никто? Не заметила ты между молодыми людьми...

— Уж хороши здесь молодые люди! Вон у Бочкова три сына: всё собирают мужчин к себе по вечерам, таких же как сами, пьют да в карты играют. А наутро глаза у всех красные. У Ченина сын приехал в отпуск и с самого начала объявил, что ему надо приданое во сто тысяч, а сам хуже Мотьки: маленький, кривоногий и все курит! Нет, нет... Вот Николай Андреич — хорошенький, веселый и добрый, да...

— Да что?

— Молод: ему всего двадцать три года!

— Кто это такой?

— Викентьев: их усадьба за Волгой, недалеко отсюда. Колчино — их деревня, тут только сто душ. У них в Казани еще триста душ. Маменька его звала нас с Верочкой гостить, да бабушка одних не пускает. Мы однажды только на один день ездили... А Николай Андреич один сын у нее — больше детей нет. Он учился в Казани, в университете, служит здесь у губернатора, по особым поручениям.

Она проговорила это живо, с веселым лицом и скороговоркой.

— А! так вот кто тебе нравится: Викентьев! — говорил он и, прижав ее руку к левому своему боку, сидел не шевелясь, любовался, как беспечно Марфенька принимала и возвращала ласки, почти не замечала их, и ничего, кажется, не чувствовала.

«Может быть, одна искра,— думал он,— одно жаркое пожатие руки вдруг пробудят ее от детского сна, откроют ей глаза, и она внезапно вступит в другую пору жизни...»

А она щебетала беспечно, как птичка.

— Что вы: Викентьев! — сказала она задумчиво, как будто справляясь сама с собою, нравится ли он ей.

— Теперь темно, а то, верно, ты покраснела! — поддразнивал ее Райский, глядя ей в лицо и пожимая руку.

— Вовсе нет! Отчего мне краснеть? Вот его две недели не видать совсем, мне и нужды нет...

— Скажи, он нравится тебе?

Она молчала.

— Что: угадал?

— Что вы! Я только говорю, что он лучше всех здесь: это все скажут... Губернатор его очень любит и никогда не посылает на следствия: «Что, говорит, ему грязниться там, разбирать убийства да воровства — нравственность испортится!

Пусть, говорит, побудет при мне!» Он теперь при нем, и когда не у нас, там обедает, танцует, играет...

— Одним словом, служит! — сказал Райский.

— У него уж крестик есть! Маленький такой! — с удовольствием прибавила Марфенька.

— Бывает он здесь?

— Очень часто: вот что-то теперь пропал. Не уехал ли в Колчино, к maman? Надо его побранить, что, не сказавшись, уехал. Бабушка выговор ему сделает: он боится ее... А когда он здесь — не посидит смирно: бегает, поет. Ах, какой он шалун! И как много кушает! Недавно большую, пребольшую сковороду грибов съел! Сколько булочек скушает за чаем! Что ни дай, все скушает. Бабушка очень любит его за это. Я тоже его...

— Любишь? — живо спросил Райский, наклоняясь и глядя ей в глаза.

— Нет, нет! — Она закачала головой.— Нет, не люблю, а только он... славный! Лучше всех здесь: держит себя хорошо, не ходит по трактирам, не играет на бильярде, вина никакого не пьет...

— Славный! — повторил Райский, приглаживая ей волосы на висках,— и ты славная! Как жаль, что я стар, Марфенька: как бы я любил тебя! — тихо прибавил он, притянув ее немного к себе.

— Что вы за стары: нет еще! — снисходительно заметила она, поддаваясь его ласке.— Вот только у вас в бороде есть немного белых волос, а то ведь вы иногда бываете прехорошенький... когда смеетесь или что-нибудь живо рассказываете. А вот когда нахмуритесь или смотрите как-то особенно... тогда вам точно восемьдесят лет...

— В самом деле, я тебе не кажусь страшен и стар?

— Вовсе нет.

— И тебе приятно... поцеловать меня?

— Очень.

— Ну, поцелуй.

Она привстала немного, оперлась коленкой на его ногу и звучно поцеловала его и хотела сесть, но он удержал ее.

Она попробовала освободиться, ей было неловко так стоять, наконец села, раскрасневшись от усилия, и стала поправлять сдвинувшуюся с места косу.

Он, напротив, был бледен, сидел, закинув голову назад, опираясь затылком о дерево, с закрытыми глазами, и почти бессознательно держал ее крепко за руку.

Она хотела привстать, чтоб половчее сесть, но он держал крепко, так что она должна была опираться рукой ему на плечо.

— Пустите, вам тяжело,— сказала она,— я ведь толстая— вон какая рука — троньте!

— Нет, не тяжело...— тихо отвечал он, наклоняя опять ее голову к своему лицу и оставаясь так неподвижно.

— Тебе хорошо так?

— Хорошо, только жарко, у меня щеки и уши горят, посмотрите: я думаю, красные! У меня много крови: дотроньтесь пальцем до руки, сейчас белое пятно выступит и пропадет.

Он молчал и все сидел с закрытыми глазами. А она продолжала говорить обо всем, что приходило в голову, глядела по сторонам, чертила носком ботинки по песку.

— Обрейте бороду! — сказала она,— вы будете еще лучше. Кто это выдумал такую нелепую моду — бороды носить? У мужиков переняли! Ужели в Петербурге все с бородами ходят?

Он машинально кивнул головой.

— Вы обреетесь, да? А то Нил Андреич увидит — рассердится. Он терпеть не может бороды: говорит, что только революционеры носят ее.

— Все сделаю, что хочешь,— нежно сказал он.— Зачем только ты любишь Викентьева?

— Опять! Вот вы какие: сами затеяли разговор, а теперь выдумали, что люблю. Уж и люблю! Он и мечтать не смеет! Любить — как это можно! Что еще бабушка скажет? — прибавила она, рассеянно играя бородой Райского и не подозревая, что пальцы ее, как змеи, ползали по его нервам, поднимали в нем тревогу, зажигали огонь в крови, туманили рассудок. Он пьянел с каждым движением пальцев.

— Люби меня, Марфенька: друг мой, сестра!..— бредил он, сжимая крепко ее талию.

— Ох, больно, братец, пустите, ей-богу, задохнусь! — говорила она, невольно падая ему на грудь.

Он опять прижал ее щеку к своей и опять шептал:

— Хорошо тебе?

— Неловко ногам.

Он отпустил ее, она поправила ноги и села подле него.

— Зачем ты любишь цветы, котят, птиц?

— Кого же мне любить?

— Меня, меня!

— Ведь я люблю.

— Не так, иначе! — говорил он, положив ей руки на плеча.

— Вон одна звездочка, вон другая, вон третья: как много! — говорила Марфенька, глядя на небо.— Ужели это правда, что там, на звездах, тоже живут люди? Может быть, не такие, как мы... Ах, молния! Нет, это зарница играет за Волгой: я боюсь грозы... Верочка отворит окно и сядет смотреть грозу, а я всегда спрячусь в постель, задерну занавески, и если молния очень блестит, то положу большую подушку на голову, а уши заткну и ничего не вижу, не слышу... Вон звездочка покатилась! Скоро ужинать! — прибавила потом, помолчав.— Если б вас не

было, мы бы рано ужинали, а в одиннадцать часов спать; когда гостей нет, мы рано ложимся.

Он молчал, положил щеку ей на плечо.

— Вы спите? — спросила она.

Он отрицательно покачал головой.

— Ну, дремлете: вон у вас и глаза закрыты. Я тоже, как лягу, сейчас засну, даже иногда не успею чулок снять, так и повалюсь. Верочка долго не спит: бабушка бранит ее, называет полунощницей. А в Петербурге рано ложатся?

Он молчал.

— Братец!

Он все молчал.

— Что вы молчите?

Он пошевелился было и опять онемел, мечтая о возможности постоянного счастья, держа это счастье в руках и не желая выпустить.

Она зевнула до слез.

— Как тепло! — сказала она.— Я прошусь иногда у бабушки спать в беседку — не пускает. Даже и в комнате велит окошко запирать.

Он ни слова.

«Все молчит: как привыкнешь к нему?» — подумала она и беспечно опять склонилась головой к его голове, рассеянно пробегая усталым взглядом по небу, по сверкавшим сквозь ветви звездам, глядела на темную массу леса, слушала шум листьев и задумалась, наблюдая, от нечего делать, как под рукой у нее бьется в левом боку у Райского.

«Как странно! — думала она,— отчего это у него так бьется? А у меня? — и приложила руку к своему боку,— нет, не бьется!»

Потом хотела привстать, но почувствовала, что он держит ее крепко. Ей стало неловко.

— Пустите, братец! — шепотом, будто стыдливо, сказала она.— Пора домой!

Ему все жаль было выпустить ее, как будто он расставался с ней навсегда.

— Больно, пустите...— говорила Марфенька, с возрастающей тоской, напрасно порываясь прочь,— ах, как неловко!

Наконец она наклонилась и вынырнула из-под рук.

Он тяжело вздохнул.

— Что с вами? — раздался ее детский, покойный голос над ним.

Он поглядел на нее, вокруг себя и опять вздохнул, как будто просыпаясь.

— Что с вами? — повторила она,— какие вы странные!

Он вдруг отрезвился, взглянул с удивлением на Марфеньку, что она тут, осмотрелся кругом и быстро встал со скамейки. У него вырвался отчаянный: «Ах!»

Она положила было руку ему на плечо, другой рукой поправила ему всклокочившиеся волосы и хотела опять сесть рядом.

— Нет, пойдем отсюда, Марфенька! — в волнении сказал он, устраняя ее.

— Какие вы странные: на себя не похожи! Не болит ли голова?

Она дотронулась рукой до его лба.

— Не подходи близко, не ласкай меня! Милая сестра! — сказал он, целуя у нее руку.

— Как же не ласкать, когда вы сами так ласковы! Вы такой добрый, так любите нас. Дом, садик подарили, а я что за статуя такая!..

— И будь статуей! Не отвечай никогда на мои ласки, как сегодня...

— Отчего?

— Так; у меня иногда бывают припадки... тогда уйди от меня.

— Не дать ли вам чего-нибудь выпить? У бабушки гофманские капли есть. Я бы сбегала: хотите?

— Нет, не надо. Но ради бога, если я когда-нибудь буду слишком ласков или другой также, этот Викентьев, например...

— Смел бы он! — с удивлением сказала Марфенька.— Когда мы в горелки играем, так он не смеет взять меня за руку, а ловит всегда за рукав! Что выдумали: Викентьев! Позволила бы я ему!

— Ни ему, ни мне, никому на свете... помни, Марфенька, это: люби, кто понравится, но прячь это глубоко в душе своей, не давай воли ни себе, ни ему, пока... позволит бабушка и отец Василий. Помни проповедь его...

Она молча слушала и задумчиво шла подле него, удивляясь его припадку, вспоминая, что он перед тем за час говорил другое, и не знала, что подумать.

— Вот видите, а вы говорили... что...— начала она.

— Я ошибся: не про тебя то, что говорил я. Да, Марфенька, ты права: грех хотеть того, чего не дано, желать жить, как живут эти барыни, о которых в книгах пишут. Боже тебя сохрани меняться, быть другою! Люби цветы, птиц, занимайся хозяйством, ищи веселого окончания и в книжках, и в своей жизни...

— Это не глупо... любить птиц: вы не смеетесь, вы это правду говорите? — робко спрашивала она.

— Нет, нет, ты перл, ангел чистоты... ты светла, чиста, прозрачна...

— Прозрачна? — смеялась она,— насквозь видно!

— Ты... ты...

Он в припадке восторга не знал, как назвать ее.

— Ты вся — солнечный луч! — сказал он,— и пусть будет проклят, кто захочет бросить нечистое зерно в твою душу! Прощай! Никогда не подходи близко ко мне, а если я подойду— уйди!

Он подошел к обрыву.

— Куда же вы? Пойдемте ужинать! Скоро и спать...

— Я не хочу ни ужинать, ни спать.

— Опять вы от ужина уходите: смотрите, бабушка...

Она не кончила фразы, как Райский бросился с обрыва и исчез в кустах.

«Боже мой! — думал он, внутренно содрогаясь,— полчаса назад я был честен, чист, горд; полчаса позже этот святой ребенок превратился бы в жалкое создание, а «честный и гордый» человек в величайшего негодяя! Гордый дух уступил бы всемогущей плоти; кровь и нервы посмеялись бы над философией, нравственностью, развитием! Однако дух устоял, кровь и нервы не одолели: честь, честность спасены...»

«Чем? — спросил он себя, останавливаясь над рытвиной.— Прежде всего... силой моей воли, сознанием безобразия...— начал было он говорить, выпрямляясь,— нет, нет,— должен был сейчас же сознаться,— это пришло после всего, а прежде чем? Ангел-хранитель невидимо ограждал? бабушкина судьба берегла ее? или... что?» Что бы ни было, а он этому загадочному «или» обязан тем, что остался честным человеком. Таилось ли это «или» в ее святом, стыдливом неведении, в послушании проповеди отца Василья или, наконец, в лимфатическом темпераменте — все же оно было в ней, а не в нем...

— О, как скверно! как скверно! — твердил он, перескочив рытвину и продираясь между кустов на приволжский песок.

Марфенька долго смотрела вслед ему, потом тихо, задумчиво пошла домой, срывая машинально листья с кустов и трогая по временам себя за щеки и уши.

— Как разгорелись, я думаю, красные! — шептала она.— Отчего он не велел подходить близко, ведь он не чужой? А сам так ласков... Вон как горят щеки!

Она прикладывала руку то к одной, то к другой щеке.

Бабушка начала ворчать, что Райский ушел от ужина. Молча, втроем, с Титом Никонычем, отужинали и разошлись.

Марфенька, обыкновенно все рассказывавшая бабушке, колебалась, рассказать ли ей, или нет о том, что брат навсегда отказался от ее ласк, и кончила тем, что ушла спать, не рассказавши. Собиралась не раз, да не знала, с чего начать. Не сказала также ничего и о припадке «братца», легла пораньше, но не могла заснуть скоро: щеки и уши все горели.

Наконец, пролежав напрасно, без сна, с час в постели, она встала, вытерла лицо огуречным рассолом, что делала обыкновенно от загара, потом перекрестилась и заснула.

XIV

Райский нижним берегом выбрался на гору и дошел до домика Козлова. Завидя свет в окне, он пошел было к калитке, как вдруг заметил, что кто-то перелезает через забор, с переулка в садик.

Райский подождал в тени забора, пока тот перескочил совсем. Он колебался, на что ему решиться, потому что не знал, вор ли это, или обожатель Ульяны Андреевны, какой-нибудь m-r Шарль,— и потому боялся поднять тревогу.

Подумав, он, однако, счел нужным следить за незнакомцем: для этого последовал его примеру и также тихо перелез через забор.

Тот прокрадывался к окнам, Райский шел за ним и остановился в нескольких шагах. Незнакомец приподнялся до окна Леонтья и вдруг забарабанил, что есть мочи, в стекло.

«Это не вор... это, должно быть,— Марк!» — подумал Райский и не ошибся.

— Философ! отворяй! Слышишь ли ты, Платон? — говорил голос.— Отворяй же скорей!

— Обойди с крыльца! — глухо, из-за стекла, отозвался голос Козлова.

— Куда еще пойду я на крыльцо, собак будить? Отворяй!

— Ну, постой; экой какой! — говорил Леонтий, отворяя окно.

Марк влез в комнату.

— Это кто еще за тобой лезет? Кого ты привел? — с испугом спросил Козлов, пятясь от окна.

— Никого я не привел — что тебе чудится... Ах, в самом деле, лезет кто-то...

Райский в это время вскочил в комнату.

— Борис, и ты? — сказал с изумлением Леонтий.— Как вы это вместе сошлись?

Марк мельком взглянул на Райского и обратился к Леонтью.

— Дай мне скорее другие панталоны, да нет ли вина? — сказал он.

— Что это, откуда ты? — с изумлением говорил Леонтий, теперь только заметивший, что Марк почти по пояс был выпачкан в грязи, сапоги и панталоны промокли насквозь.

— Ну, давай скорей, нечего разговаривать! — нетерпеливо отозвался Марк.

— Вина нет; у нас Шарль обедал, мы все выпили, водка, я думаю, есть...

— Ну, где твое платье лежит?

— Жена спит, а я не знаю где: надо у Авдотьи спросить...

— Урод! Пусти, я сам найду.

Он взял свечу и скрылся в другую комнату.

— Вот — видишь какой! — сказал Леонтий Райскому. Через десять минут Марк пришел с панталонами в руках.

— Где это ты вымочился так? — спросил Леонтий.

— Через Волгу переезжал в рыбачьей лодке, да у острова дурачина рыбак сослепа в тину попал: надо было выскочить и стащить лодку.

Он, не обращая на Райского внимания, переменил панталоны и сел в большом кресле, с ногами, так что коленки пришлись вровень с лицом. Он положил на них бороду.

Райский молча рассматривал его. Марк был лет двадцати семи, сложенный крепко, точно из металла, и пропорционально. Он был не блондин, а бледный лицом, и волосы, бледно-русые, закинутые густой гривой на уши и на затылок, открывали большой выпуклый лоб. Усы и борода жидкие, светлее волос на голове.

Открытое, как будто дерзкое лицо далеко выходило вперед. Черты лица не совсем правильные, довольно крупные, лицо скорее худощавое, нежели полное. Улыбка, мелькавшая по временам на лице, выражала не то досаду, не то насмешку, но не удовольствие.

Руки у него длинные, кисти рук большие, правильные и цепкие. Взгляд серых глаз был или смелый, вызывающий, или по большей части холодный и ко всему небрежный.

Сжавшись в комок, он сидел неподвижен: ноги, руки не шевелились, точно замерли, глаза смотрели на все покойно или холодно.

Но под этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая заметна иногда в лежащей, по-видимому покойно и беззаботно, собаке. Лапы сложены вместе, на лапах покоится спящая морда, хребет согнулся в тяжелое, ленивое кольцо: спит совсем, только одно веко все дрожит, и из-за него чуть-чуть сквозит черный глаз. А пошевелись кто-нибудь около, дунь ветерок, хлопни дверь, покажись чужое лицо — эти беспечно разбросанные члены мгновенно сжимаются, вся фигура полна огня, бодрости, лает, скачет...

Посидев немного с зажмуренными глазами, он вдруг открыл их и обратился к Райскому.

— Вы, верно, привезли хороших сигар из Петербурга: дайте мне одну,— сказал он без церемонии.

Райский подал ему сигарочницу.

— Леонтий! Ты нас и не представил друг другу! — упрекнул его Райский.

— Да чего представлять: вы оба пришли одной дорогой и оба знаете, кто вы! — отвечал тот.

— Как это ты обмолвился умным словом, а еще ученый! — сказал Марк.

— Это тот самый... Марк... что... Я писал тебе: помнишь... — начал было Козлов.

— Постой! Я сам представлюсь! — сказал Марк, вскочил с кресел и, став в церемонную позу, расшаркался перед Райским.— Честь имею рекомендоваться: Марк Волохов, пятнадцатого класса, состоящий под надзором полиции чиновник, невольный здешнего города гражданин!

Потом откусил кончик сигары, закурил ее и опять свернулся в комок на креслах.

— Что же вы здесь делаете? — спросил Райский.

— Да то же, я думаю, что и вы...

— Разве вы... любите искусство: артист, может быть?

— А вы... артист?

— Как же! — вмешался Леонтий,— я тебе говорил: живописец, музыкант... Теперь роман пишет: смотри, брат, как раз тебя туда упечет.— Что ты: уж далеко? — обратился он к Райскому.

Райский сделал ему знак рукой молчать.

— Да, я артист,— отвечал Марк на вопрос Райского.— Только в другом роде. Я такой артист, что купцы называют «художник». Бабушка ваша, я думаю, вам говорила о моих произведениях!

— Она слышать о вас не может.

— Ну, вот видите! А я у ней пока всего сотню какую-нибудь яблок сорвал через забор!

— Яблоки мои: я вам позволяю, сколько хотите...

— Благодарю: не надо; привык уж все в жизни без позволения делать, так и яблоки буду брать без спросу: слаще так!

— Я очень хотел видеть вас: мне так много со всех сторон наговорили...— сказал Райский.

— Что же вам наговорили?

— Мало хорошего...

— Вероятно, вам сказали, что я разбойник, изверг, ужас здешних мест!

— Почти...

— Что же вас так позывало видеть меня после этих отзывов? Вам надо тоже пристать к общему хору: я у вас книги рвал. Вот он, я думаю, сказывал...

— Да, да: вот он налицо: я рад, что он сам заговорил! — вмешался Леонтий.— Так бы и надо было сначала отрекомендовать тебя...

— Делайте с книгами, что хотите, я позволяю! — сказал Райский.

— Опять! Кто просит вашего позволения? Теперь не стану брать и рвать: можешь, Леонтий, спать покойно.

— А ведь в сущности предобрый! — заметил Леонтий про Марка,— когда прихворнешь, ходит как нянька, за лекарством бегает в аптеку... И чего не знает? Все! Только ничего не делает, да вот покою никому не дает: шалунище непроходимый...

— Полно врать, Козлов! — перебил Марк.

— Впрочем, не все бранят вас,— вмешался Райский,— Ватутин отзывается или по крайней мере старается отзываться хорошо.

— Неужели! Этот сахарный маркиз! Кажется, я ему оставил кое-какие сувениры: ночью будил не раз, окна отворял у него в спальне. Он все, видите, нездоров, а как приехал сюда, лет сорок назад, никто не помнит, чтоб он был болен. Деньги, что занял у него, не отдам никогда. Что же ему еще? А хвалит!

— Так вот вы какой артист! — весело заметил Райский.

— А вы какой? Расскажите теперь! — просил Марк.

— Я... так себе, художник — плохой, конечно: люблю красоту и поклоняюсь ей; люблю искусство, рисую, играю... Вот хочу писать — большую вещь, роман...

— Да, да, вижу: такой же художник, как все у нас...

— Все?

— Ведь у нас все артисты: одни лепят, рисуют, бренчат, сочиняют — как вы и подобные вам. Другие ездят в палаты, в правления — по утрам, третьи сидят у своих лавок и играют в шашки, четвертые живут по поместьям и проделывают другие штуки — везде искусство!

— У вас нет охоты пристать к которому-нибудь разряду?— улыбаясь, спросил Райский.

— Пробовал, да не умею. А вы зачем сюда приехали? — спросил он в свою очередь.

— Сам не знаю,— сказал Райский,— мне все равно, куда ни ехать... Подвернулось письмо бабушки, она звала сюда, я и приехал.

Марк погрузился в себя и не занимался больше Райским, а Райский, напротив, вглядывался в него, изучал выражение лица, следил за движениями, стараясь помочь фантазии, которая по обыкновению рисовала портрет за портретом с этой новой личности.

«Слава богу! — думал он,— кажется, не я один такой праздный, не определившийся, ни на чем не остановившийся человек. Вот что-то похожее: бродит, не примиряется с судьбой, ничего не делает (я хоть рисую и хочу писать роман), по лицу видно, что ничем и никем не доволен... Что же он такое? Такая же жертва разлада, как я? Вечно в борьбе, между двух огней? С одной стороны, фантазия обольщает, возводит все в идеал: людей, природу, всю жизнь, все явления, а с другой — холодный анализ разрушает все — и не дает забываться, жить: оттуда вечное недовольство, холод... То ли он, или другое что-нибудь?..»

Он вглядывался в дремлющего Марка, у Леонтья тоже слипались глаза.

— Пора домой,— сказал Райский.— Прощай, Леонтий!

— Куда же я его дену? — спросил Козлов, указывая на Марка.

— Оставь его тут.

— Да, оставь козла в огороде! А книги-то? Если б можно было передвинуть его с креслом сюда, в темненькую комнату, да запереть! — мечтал Козлов, но тотчас же отказался от этой мечты.— С ним после и не разделаешься! — сказал он,— да еще, пожалуй, проснется ночью, кровлю с дома снесет!

Марк вдруг засмеялся, услыхав последние слова, и быстро вскочил на ноги.

— И я с вами пойду,— сказал он Райскому и, надевши фуражку, в одно мгновение выскочил из окна, но прежде задул свечку у Леонтья, сказав: — Тебе спать пора: не сиди по ночам. Смотри, у тебя опять рожа желтая и глаза ввалились!

Райский последовал, хотя не так проворно, его примеру, и оба тем же путем, через садик, и перелезши опять через забор, вышли на улицу.

— Послушайте,— сказал Марк,— мне есть хочется: у Леонтья ничего нет. Не поможете ли вы мне осадить какой-нибудь трактир?

— Пожалуй, но это можно сделать и без осады...

— Нет, теперь поздно, так не дадут — особенно когда узнают, что я тут: надо взять с бою. Закричим: «Пожар!», тогда отворят, а мы и войдем.

— Потом выгонят.

— Нет, уже это напрасно: не впустить меня еще можно, а когда я войду, так уж не выгонишь!

— Осадить! Ночной шум — как это можно? — сказал Райский.

— А! испугались полиции: что сделает губернатор, что скажет Нил Андреич, как примет это общество, дамы? — смеялся Марк.— Ну, прощайте, я есть хочу и один сделаю приступ...

— Постойте, у меня другая мысль, забавнее этой. Моя бабушка — я говорил вам, не может слышать вашего имени и еще недавно спорила, что ни за что и никогда не накормит вас...

— Ну, так что же?

— Пойдемте ужинать к ней: да кстати уж и ночуйте у меня! Я не знаю, что она сделает и скажет, знаю только, что будет смешно.

— Идея недурна: пойдемте. Да только уверены ли вы, что мы достанем у ней ужин? Я очень голоден.

— Достанем ли ужин у Татьяны Марковны? Наверное можно накормить роту солдат.

Они молча шли дорогой. Марк курил сигару и шел, уткнувши нос в бороду, глядя под ноги и поплевывая.

Они пришли в Малиновку и продолжали молча идти мимо забора, почти ощупью в темноте прошли ворота и подошли к плетню, чтоб перелезть через него в огород.

— Вон там подальше лучше бы: от фруктового сада или с обрыва,— сказал Марк.— Там деревья, не видать, а здесь, пожалуй, собак встревожишь, да далеко обходить! Я все там хожу...

— Вы ходите... сюда, в сад? Зачем?

— А за яблоками! Я вон их там в прошлом году рвал, с поля, близ старого дома. И в нынешнем августе надеюсь, если... вы позволите...

— С удовольствием: лишь бы не поймала Татьяна Марковна!

— Нет, не поймает. А вот не поймаем ли мы кого-нибудь? Смотрите, кто-то перескочил через плетень: по-нашему! Э, э, постой, не спрячешься. Кто тут? Стой! Райский, спешите сюда, на помощь!

Он бросился вперед шагов на десять и схватил кого-то.

— Что за кошачьи глаза у вас: я ничего не вижу! — говорил Райский и поспешил на голос.

Марк уже держал кого-то: этот кто-то барахтался у него в руках, наконец упал наземь, прижавшись к плетню.

— Ловите, держите там: кто-то еще через плетень пробирается в огород! — кричал опять Марк.

Райский увидел еще фигуру, которая уже влезла на плетень и вытянула ноги, чтоб соскочить в огород. Он крепко схватил ее за руку.

— Кто тут? Кто ты? Зачем? Говори! — спрашивал он.

— Барин! пустите, не губите меня! — жалобно шептал женский голос.

— Это ты, Марина! — сказал Райский, узнав ее по голосу,— зачем ты здесь?

— Тише, барин, не зовите меня по имени: Савелий узнает, больно прибьет!

— Ну, ступай, иди же скорей... Нет, постой! кстати попалась: не можешь ли ты принести ко мне в комнату поужинать что-нибудь?

— Все могу, барин: только не губите, Христа ради!

— Не бойся, не погублю! Есть ли что-нибудь на кухне?

— Все есть: как не быть! целый ужин! Без вас не хотели кушать, мало кушали. Заливные стерляди есть, индейка, я все убрала на ледник...

— Ну, неси. А вино есть ли?

— Осталась бутылка в буфете, и наливка у Марфы Васильевны в комнате...

— Как же достать: разбудишь ее?

— Нет, Марфа Васильевна не проснется: люта спать! Пустите, барин — муж услышит...

— Ну, беги же, «Земфира», да не попадись ему, смотри!

— Нет, теперь ничего не возьмет, если и встретит: скажу на вас, что вы велели...

Она засмеялась своей широкой улыбкой во весь рот, глаза блеснули, как у кошки, и она, далеко вскинув ноги, перескочила через плетень, юбка задела за сучок. Она рванула ее, засмеялась опять и, нагнувшись, по-кошачьи, промчалась между двумя рядами капусты.

А Марк в это время все допытывался, кто прячется под плетнем. Он вытащил оттуда незнакомца, поставил на ноги и, всматривался в него, тот прятался и не давался узнавать себя.

— Савелий Ильич! — заискивающим голосом говорил он,— ничего такого... вы не деритесь: я сам сдачи сдам...

— Что-то лицо твое мне знакомо! — сказал Марк,— какая темнота!

— Ах,— это не Савелий Ильич, ну, слава-те господи! — радостно сказал, отряхиваясь, незнакомый.— Я, сударь, садовник! Вон оттуда...

Он показал на сад вдали.

— Что ты тут делаешь?

— Да... пришел послушать, как соборный колокол ударит... а не то чтоб пустым делом заниматься... У нас часы остановились...

— Ну тебя к черту! — сказал Марк, оттолкнув его.

Тот перескочил через канаву и пропал в темноте.

Райский между тем воротился к главным воротам: он старался отворить калитку, но не хотел стучаться, чтоб не разбудить бабушку.

Он услышал чьи-то шаги по двору.

— Марина, Марина! — звал он вполголоса, думая, что она несет ему ужин,— отвори!

С той стороны отодвинули задвижку; Райский толкнул калитку ногой, и она отворилась. Перед ним стоял Савелий: он бросился на Райского и схватил его за грудь...

— А, постой, голубчик, я поквитаюсь с тобой — вместо Марины! — злобно говорил он,— смотри, пожалуй, в калитку лезет: а я там, как пень, караулю у плетня!..

Он припер спиной калитку, чтоб посетитель не ушел.

— Это я, Савелий! — сказал Райский.— Пусти.

— Кто это? — никак барин! — в недоумении произнес Савелий и остановился, как вкопанный.

— Как же вы изволили звать Марину! — медленно произнес он, помолчав,— нешто вы ее видели?

— Да, я еще с вечера просил ее оставить мне ужинать,— солгал он в пользу преступной жены,— и отпереть калитку. Она уж слышала, что я пришел... Пропусти гостя за мной, запри калитку и ступай спать.

— Слушаю-с! — медленно сказал он. Потом долго стоял на месте, глядя вслед Райскому и Марку.— Вот что! — расстановисто произнес он и тихо пошел домой.

На дороге он встретил Марину.

— Что тебе, леший, не спится? — сказала она и, согнув одно бедро, скользнула проворно мимо его,— бродит по ночам! Ты бы хоть лошадям гривы заплетал, благо нет домового! Срамит меня только перед господами!..— ворчала она, несясь, как сильф, мимо его, с тарелками, блюдами, салфетками и хлеба-

ми в обеих руках, выше головы, но так, что ни одна тарелка не звенела, ни ложка, ни стакан не шевелились у ней.

Савелий, не глядя на нее, в ответ на ее воззвание, молча погрозил ей вожжой.

XV

Марк в самом деле был голоден: в пять, шесть приемов ножом и вилкой стерлядей как не бывало; но и Райский не отставал от него. Марина пришла убрать и унесла остов индейки.

— Хорошо бы чего-нибудь сладкого! — сказал Борис Павлович.

— Пирожного не осталось,— отвечала Марина,— есть варенье, да ключи от подвала у Василисы.

— Что за пирожное! — отозвался Марк,— нельзя ли сделать жжёнку? Есть ли ром?

Райский вопросительно взглянул на Марину.

— Должно быть, есть: барышня на «пудень» выдавали повару на завтра: я посмотрю в буфете...

— А сахар есть?

— У барышни в комнате, я достану,— сказала Марина и исчезла.

— И лимон! — крикнул ей вслед Марк.

Марина принесла бутылку рому, лимон, сахар, и жжёнка запылала. Свечи потушили, и синее пламя зловещим блеском озарило комнату. Марк изредка мешал ложкой ром; растопленный на двух вилках сахар, шипя, капал в чашку. Марк время от времени пробовал, готова ли жжёнка, и опять мешал ложкой.

— Итак...— сказал, помолчав, Райский и остановился.

— Итак?..— повторил Марк вопросительно.

— Давно ли вы здесь в городе?

— Года два...

— Верно, скучаете.

— Я стараюсь развлекаться...

— Извините... я...

— Пожалуйста, без извинений! спрашивайте напрямик. В чем вы извиняетесь?

— В том, что не верю вам...

— В чем?

— В этих развлечениях... в этой роли, которую вы... или виноват...

— Опять «виноват»?

— Которую вам приписывают.

— У меня нет никакой роли: вот мне и приписывают какую-то.

Он налил рюмку жжёнки и выпил.

— Выпейте: готова! — сказал он, наливая рюмку и под-

вигая к Райскому. Тот выпил ее медленно, без удовольствия, чтоб только сделать компанию собеседнику.

— Приписывают,— начал Райский,— стало быть, это не настоящая ваша роль?

— Экие вы? я вам говорю, что у меня нет роли: ужели нельзя без роли прожить?..

— Но ведь в нас есть потребность что-нибудь делать: а вы, кажется, ничего...

— А вы что делаете?

— Я... говорил вам, что я художник...

— Покажите же мне образчики вашего искусства...

— Теперь ничего нет: вот, впрочем — безделка: еще не совсем кончено...

Он встал с дивана, снял холстину с портрета Марфеньки и зажег свечу.

— Да, похож! — сказал Марк,— хорошо!.. «У него талант!» — сверкнуло у Марка в голове.— Очень хорошо бы... да... голова велика, плечи немного широки...

«У него верен глаз!».— подумал Райский.

— Лучше всего этот светлый фон в воздухе и в аксессуарах. Вся фигура от этого легка, воздушна, прозрачна: вы поймали тайну фигуры Марфеньки. К цвету ее лица и волос идет этот легкий колорит...

«У него есть и вкус и понимание! — думал опять Райский,— уж не артист ли он, да притаился?»

— А вы знаете Марфеньку? — спросил он.

— Знаю.

— А Веру?

— И Веру знаю.

— Где же вы их видали? Вы в доме не бываете.

— В церкви.

— В церкви? Как же говорят, что вы не заглядываете в церковь?

— Не помню, впрочем, где видел: в деревне, в поле встречал...

Он выпил еще рюмку жжёнки.

— Не хотите ли? — прибавил он, наливая Райскому.

— Нет — я не пью почти: это так только, для компании. У меня и так в голову бросилось.

— И у меня тоже, да ничего: выпейте. Если б в голову не бросалось, так и пить не нужно..

— Зачем же, если не хочется?

— И то правда, ну, так я за вас!

Он выпил и его рюмку.

«Не пьяница ли он?» — подумал Райский, боязливо глядя, с каким удовольствием он выпил еще рюмку.

— Вам странно смотреть, что я пью,— сказал Марк, угадавший его мысли,— это от скуки и праздности... делать нечего!

Он опять налил, но поставил рюмку подле себя и попросил сигару. Райский подвинул ему ящик.

«У него глаза покраснели,— думал он,— напрасно я зазвал его — видно, бабушка правду говорит: как бы он чего-нибудь...»

— Праздность! ведь это...

— Мать всех пороков, хотите вы сказать,— перебил Марк,— запишите это в свой роман и продайте... И ново, и умно...

— Я хочу сказать,— продолжал Райский,— что от нас зависит быть праздным и не быть...

— Когда вы давеча перелезли через забор к Леонтью,— перебил опять Марк,— я думал, что вы порядочный человек, а вы, кажется, в полку Нила Андреича служите, читаете мораль...

— Вот видите, я и прав, что извинялся перед вами: надо быть осторожным на словах...— заметил Райский.

— Зачем? Не надо. Говорите, что вздумается, и мне не мешайте отвечать, как вздумаю. Ведь я не спросил у вас позволения обругать вас Нилом Андреичем — а уж чего хуже?

— Правда ли, что вы стреляли по нем? — спросил Райский с любопытством.

— Вздор: я стрелял вон там на выезде по голубям, чтоб ружье разрядить: я возвращался с охоты. А он там гулял, увидал, что я стреляю, и начал кричать, чтоб я перестал, что это грех, и тому подобные глупости. Если б только одно это, я бы назвал его дураком — и дело с концом, а он затопал ногами, грозил пальцем, стучал палкой: «Я тебя, говорит, мальчишку, в острог: я тебя туда, куда ворон костей не заносил; в двадцать четыре часа в мелкий порошок изотру, в бараний рог согну, на поселение сошлю!» Я дал ему истощить весь словарь этих нежностей, выслушал хладнокровно, а потом прицелился в него.

— Что же он?

— Ну, начал приседать, растерял палку, калоши, потом сел наземь и попросил извинения. А я выстрелил на воздух и опустил ружье — вот и все.

— Это... развлечение?— спросил с мягкой иронией Райский.

— Нет,— серьезно отвечал Марк,— важное дело, урок старому ребенку.

— Что же после?

— Ничего: он ездил к губернатору жаловаться и солгал, что я стрелял в него, да не попал. Если б я был мирный гражданин города, меня бы сейчас на съезжую посадили, а так как я вне закона, на особенном счету, то губернатор разузнал, как было дело, и посоветовал Нилу Андреичу умолчать, «чтоб до Петербурга никаких историй не доходило»: этого он, как огня, боится.

«Кажется, он хвастается удалью!— подумал Райский, вгля-

дываясь в него.— Не провинциальный ли это фанфарон низшего разряда?»

— Я не хотел читать вам морали,— сказал он вслух,— говоря о праздности, я только удивился, что с вашим умом, образованием и способностями...

— Почем вы знаете мой ум, образование и способности?

— Я вижу...

— Что же вы видите? Что я умею лазить через заборы, стреляю в дураков, ем много, пью... видите!..

Он еще выпил. Райский с беспокойством смотрел на эти возлияния и подумывал, чем это все кончится. Он внутренно раскаивался в своей затее подразнить бабушку.

— Вы морщитесь: не бойтесь,— сказал Марк,— я не сожгу дома и не зарежу никого. Сегодня я особенно пью, потому что устал и озяб. Я не пьяница.

Он вылил остатки рома из бутылки в чашку и зажег опять ром. Потом, положив оба локтя на стол, небрежно глядел на Райского.

В манерах его, и без того развязных, стала появляться и та обыкновенная за бутылкой свобода, от которой всегда неловко становится трезвому собеседнику.

Разговор тоже принимал оборот фамильярности. Райского, несмотря на уверение собеседника, не покидало беспокойство, что это перейдет границы.

— Вы тоже, может быть, умны...— говорил Марк, не то серьезно, не то иронически и бесцеремонно глядя на Райского,— я еще не знаю, а может быть, и нет, а что способны, даже талантливы,— это я вижу,— следовательно, больше вас имею права спросить, отчего же вы ничего не делаете?

— Я... все-таки...

— Портрет написали? — перебил он.— Да вы портретист, что ли?

— Да, я писал иногда...

— Ну, *иногда* — это не дело. Иногда и я делал кое-что.

Он помешал новую жжёнку и хлебнул. Райский и желал и боялся наводить его на дальнейший разговор, чтоб вино не оказало полного действия.

— Вы говорите,— начал, однако, он,— что у меня есть талант: и другие тоже говорят, даже находят во мне таланты. Я, может быть, и художник в душе, искренний художник,— но я не готовился к этому поприщу...

— Почему же?

— Да как вам сказать: у нас нет этой арены, оттого нет и приготовления к ней.

— Вот видите,— заметил Марк,— однако вас учили, нельзя прямо сесть за фортепиано да заиграть. Плечо у вас на портрете и криво, голова велика, а все же надо выучиться держать кисть в руке.

— Да, если хотите, учили, «чтоб иметь в обществе приятные таланты», как говаривал мой опекун: рисовать в альбомы, петь романсы в салоне. Я и достиг этого уменья очень быстро. А когда подрос, узнал, что значит призвание — хотел одного искусства и больше ничего,— мне показали, в каких черных руках оно держится. Заезжие певцы и певицы давали концерты, на них смотрели свысока. Учитель рисованья сидел без хлеба. Бабушка руками всплеснула, когда узнала, какое поприще выбираю себе. У меня вон предки есть: с историческими именами, в мундирах, лентах и звездах: ну, и меня толкали в камер-юнкеры, соблазняли гусарским мундиром. Я был мальчик, соблазнился и пошел в гусары.

— Ну, а потом? Там в Петербурге есть академия...

— Потом...

— Что потом? — перебил Марк и засмеялся.

— Известно что... поздно было: какая академия после чада петербургской жизни! — с досадой говорил Райский, ходя из угла в угол,— у меня, видите, есть имение, есть родство, свет... Надо бы было все это отдать нищим, взять крест и идти... как говорит один художник, мой приятель. Меня отняли от искусства, как дитя от груди...— Он вздохнул.— Но я ворочусь и дойду! — сказал он решительно.— Время не ушло, я еще не стар...

Марк опять засмеялся.

— Нет,— говорил он,— не сделаете: куда вам!

— Отчего нет? Почему вы знаете? — горячо приступил к нему Райский, — вы видите, у меня есть воля и терпение...

— Вижу, вижу: и лицо у вас пылает, и глаза горят — и всего от одной рюмки: то ли будет, как выпьете еще! Тогда тут же что-нибудь сочините или нарисуете. Выпейте, не хотите ли?

— Да почему вы знаете? Вы не верите в намерения?..

— Как не верить: ими, говорят, вымощен ад. Нет, вы ничего не сделаете, и не выйдет из вас ничего, кроме того, что вышло, то есть очень мало. Много этаких у нас было и есть: все пропали или спились с кругу. Я еще удивляюсь, что вы не пьете: наши художники обыкновенно кончают этим. Это всё неудачники!

Он с усмешкой подвинул ему рюмку и выпил сам.

«Он холодный, злой, без сердца!» — заключил Райский. Между прочим, его поразило последнее замечание. «Много у нас этаких!» — шептал он и задумался. «Ужели я из тех: с печатью таланта, но грубых, грязных, утопивших дар в вине... «одна нога в калоше, другая в туфле»,— мелькнуло у него бабушкино живописное сравнение.— Ужели я... неудачник? А это упорство, эта одна вечная цель, что это значит? Врет он!»

— Вы увидите, что не все такие...— возразил он горячо,— увидите, я непременно...

И остановился, вспомнив бабушкину мудрость о заносчивом «непременно».

— Сами же видите, что я не топлю дар в вине...— прибавил он.

— Да, не пьете: это правда: это улучшение, прогресс! Свет, перчатки, танцы и духи спасли вас от этого. Впрочем, чад бывает различный: у кого пары бросаются в голову, у другого... Не влюбчивы ли вы?

Райский слегка покраснел.

— Что, кажется, попал?

— Почему вы знаете?

— Да потому, что это тоже входит в натуру художника: она не чуждается ничего человеческого: nihil humanum...[1] и так далее! Кто вино, кто женщин, кто карты, а художники взяли себе все.

— Вино, женщины, карты! — повторил Райский озлобленно,— когда перестанут считать женщину каким-то наркотическим снадобьем и ставить рядом с вином и картами! — Почему вы думаете, что я влюбчив? — спросил он, помолчав.

— Вы давеча сами сказали, что любите красоту, поклоняетесь ей...

— Ну, так что же: поклоняюсь — видите...

— Верно, влюблены в Марфеньку: недаром портрет пишете! Художники, как лекаря и попы, даром не любят ничего делать. Пожалуй, непрочь и того... увлечь девочку, сыграть какой-нибудь романчик, даже драму...

Он глядел бесцеремонно на Райского и засмеялся злым смехом.

— Милостивый государь! — сказал Райский запальчиво,— кто вам дал право думать и говорить так...

И вдруг остановился, вспомнив сцену с Марфенькой в саду, и сильно почесал свои густые волосы.

— Тише, бабушка услышит! — небрежно сказал Марк.

— Послушайте!..— сдвинув брови, начал опять Райский...

— ...если я вас до сих пор не выбросил за окошко,— договорил за него Марк,— то вы обязаны этим тому, что вы у меня под кровом! Так, что ли, следует дальше? Ха, ха, ха!

Райский прошелся по комнате.

— Нет, вы обязаны тому, что вы пьяны! — сказал он покойно, сел в кресло и задумался.

Ему вдруг скучно стало с своим гостем, как трезвому бывает с пьяным.

— О чем вы думаете? — спросил Марк.

— Угадайте, вы мастер угадывать.

— Вы раскаиваетесь, что зазвали меня к себе.

---

[1] Ничто человеческое... *(лат.)*

— Почти...— отвечал Райский нерешительно. Остаток вежливости мешал ему быть вполне откровенным.

— Говорите смелее — как я: скажите все, что думаете обо мне. Вы давеча интересовались мною, а теперь...

— Теперь, признаюсь, мало.

— Я вам надоел?

— Не то что надоели, а перестали занимать меня, быть новостью. Я вас вижу и знаю.

— Скажите же, что я такое?

— Что вы такое? — повторил Райский, остановясь перед ним и глядя на него так же бесцеремонно, почти дерзко, как и Марк на него.— Вы не загадка: «свихнулись в ранней молодости» — говорит Тит Никоныч: а я думаю, вы просто не получили никакого воспитания, иначе бы не свихнулись: оттого ничего и не делаете... Я не извиняюсь в своей откровенности: вы этого не любите; притом следую вашему примеру...

— Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте, без оговорок! — оживляясь, сказал Марк,— вы растете в моем мнении: я думал, что вы так себе, дряблый, приторный, вежливый господин, как все там... А в вас есть спирт... хорошо! продолжайте!

Райский небрежно молчал.

— Что такое воспитание? — заговорил Марк.— Возьмите всю вашу родню и знакомых: воспитанных, умытых, причесанных, не пьющих, опрятных, с belles manières...[1] Согласитесь, что они не больше моего делают? А вы сами тоже с воспитанием — вот не пьете: а за исключением портрета Марфеньки да романа в программе...

Райский сделал движение нетерпения, а Марк кончил свою фразу смехом. Смех этот раздражал нервы Райского. Ему хотелось вполне заплатить Марку за откровенность откровенностью.

— Да, вы правы: ни их, ни меня к делу не готовили: мы были обеспечены...— сказал он.

— Как не готовили? Учили верхом ездить для военной службы, дали хороший почерк для гражданской. А в университете: и права, и греческую, и латынскую мудрость, и государственные науки, чего не было? А все прахом пошло. Ну-с, продолжайте, что же я такое?

— Вы заметили,— сказал Райский,— что наши художники перестали пить, и справедливо видите в этом прогресс, то есть воспитание. Артисты вашего сорта — еще не улучшились... всё те же, как я вижу...

— Какие же это артисты — скажите, только, пожалуйста, напрямик?

— Артисты — sans façons[2], которые напиваются при пер-

---

[1] С хорошими манерами... *(франц.)*
[2] Без церемоний *(франц.)*.

вом знакомстве, бьют стекла по ночам, осаждают трактиры, травят собаками дам, стреляют в людей, занимают везде деньги.

— И не отдают! — прибавил Марк. — Браво! Славный очерк: вы его поместите в роман...

— Может быть, помещу.

— A propos[1] о деньгах: для полноты и верности вашего очерка дайте мне рублей сто взаймы: я вам... никогда не отдам, разве что будете в моем положении, а я в вашем...

— Что это, шутка?

— Какая шутка! Огородник, у которого нанимаю квартиру, пристает: он же и кормит меня. У него ничего нет. Мы оба в затруднении...

Райский пожал плечами, потом порылся в платьях, наконец отыскал бумажник и, вынув оттуда несколько ассигнаций, положил их на стол.

— Тут только восемьдесят: вы меня обсчитываете,— сказал Марк, сосчитав.

— Больше нет: деньги спрятаны у бабушки, завтра пришлю.

— Не забудьте. Пока довольно с меня. Ну-с, что же дальше: «занимают деньги и не отдают?» — говорил Марк, пряча ассигнации в карман.

— Праздные повесы, которым противен труд и всякий порядок,— продолжал Райский,— бродячая жизнь, житье нараспашку, на чужой счет — вот все, что им остается, как скоро они однажды выскочат из колеи. Они часто грубы, грязны; есть между ними фаты, которые еще гордятся своим цинизмом и лохмотьями...

Марк засмеялся.

— Не в бровь, а прямо в глаз: хорошо, хорошо! — говорил он.

— Да, если много таких художников, как я, — сказал Райский,— то таких артистов, как вы, еще больше: имя им легион!

— Еще немножко, и вы заплатите мне вполне,— заметил Марк,— но прибавьте: легион, пущенный в стадо...

Он опять засмеялся. За ним усмехнулся и Райский.

— Что ж, это не правда? — добавил Райский,— скажите по совести! Я согласен с вами, что я принадлежу к числу тех художников, которых вы назвали... как?

— Неудачниками.

— Ну, очень хорошо, и слово хорошее, меткое.

— Здешнего изделия: чем богаты, тем и рады! — сказал, кланяясь, Марк. — Вам угодно, чтоб я согласился с верностью вашего очерка: если б я даже был стыдлив, обидчив, как вы, если б и не хотел согласиться, то принужден бы был сделать

---

[1] Кстати *(франц.)*.

это. Поэтому поздравляю вас: наружно очерк верен — почти совершенно...

— Вы соглашаетесь и...

— И остаюсь все тем же? — досказал Марк,— вас это удивляет? Вы ведь тоже видите себя хорошо в зеркале: согласились даже благосклонно принять прозвище неудачника,— а все-таки ничего не делаете?

— Но я хочу... делать — и буду! — с азартом сказал Райский.

— И я смертельно хочу делать, но — я думаю — не буду.

Райский пожал плечами.

— Отчего же?

— Поприща, «арены» для меня нет... как вы говорите.

— Есть же у вас какие-нибудь цели?

— Вы скажите мне прежде, отчего я такой? — спросил Марк,— вы так хорошо сделали очерк: замок перед вами, приберите и ключ. Что вы видите еще под этим очерком? Тогда, может быть, и я скажу вам, отчего я не буду ничего делать.

Райский начал ходить по комнате, вдумываясь в этот новый вопрос.

— Отчего вы такой? — повторил он в раздумье, останавливаясь перед Марком,— я думаю, вот отчего: от природы вы были пылкий, живой мальчик. Дома мать, няньки избаловали вас.

Марк усмехнулся.

— Все это баловство повело к деспотизму: а когда дядьки и няньки кончились, чужие люди стали ограничивать дикую волю, вам не поправилось; вы сделали эксцентрический подвиг, вас прогнали из одного места. Тогда уж стали мстить обществу: благоразумие, тишина, чужое благосостояние показались грехом и пороком, порядок противен, люди нелепы... И давай тревожить покой смирных людей!..

Марк покачал головой.

— Одни из этих артистов просто утопают в картах, в вине,— продолжал Райский,— другие ищут роли. Есть и дон-кихоты между ними: они хватаются за какую-нибудь невозможную идею, преследуют ее иногда искренно; вообразят себя пророками и апостольствуют в кружках слабых голов, по трактирам. Это легче, чем работать. Проврутся что-нибудь дерзко про власть, их переводят, пересылают с места на место. Они всем в тягость, везде надоели. Кончают они различно, смотря по характеру: кто угодит, вот как вы, на смирение...

— Да я еще не кончил: я начинаю только, что вы! — перебил Марк.

— Других запирают в сумасшедший дом за их идеи...

— Это еще не доказательство сумасшествия. Помните, что и того, у кого у первого родилась идея о силе пара, тоже посадили за нее в сумасшедший дом,— заметил Марк.

— А! так вот вы что! У вас претензия есть выражать собой и преследовать великую идею!

— Да-с, вот что! — с комической важностью подтвердил Марк.

— Какую же?

— Какие вы нескромные! Угадайте! — сказал, зевая, Марк и, положив голову на подушку, закрыл глаза.— Спать хочется! — прибавил он.

— Ложитесь здесь, на мою постель: а я лягу на диван,— приглашал Райский,— вы гость...

— Хуже татарина...— сквозь сон бормотал Марк,— вы ложитесь на постель, а я... мне все равно...

«Что он такое? — думал Райский, тоже зевая,— витает, как птица или бездомная, бесприютная собака без хозяина, то есть без цели! Праздный ли это, затерявшийся повеса, заблудшая овца, или...»

— Прощайте, неудачник! — сказал Марк.

— Прощайте, русский... Карл Мор![1] — насмешливо отвечал Райский и задумался.

А когда очнулся от задумчивости, Марк спал уже всею сладостью сна, какой дается крепко озябшему, уставшему, наевшемуся и выпившему человеку.

Райский подошел к окну, откинул занавеску, смотрел на темную звездную ночь.

Кое-где стучали в доску, лениво раздавалось откуда-то протяжное: «Слушай!» Только от собачьего лая стоял глухой гул над городом. Но все превозмогала тишина, темнота и невозмутимый покой.

В комнате, в недопитой Марком чашке с ромом, ползал чуть мерцающий синий огонек и, изредка вспыхивая, озарял на секунду комнату и опять горел тускло, готовый ежеминутно потухнуть.

Кто-то легонько постучал в дверь.

— Кто там? — тихо спросил Райский.

— Это я, Борюшка, отвори скорее! Что у тебя делается?— послышался испуганный голос Татьяны Марковны.

Райский отпер. Дверь отворилась, и бабушка, как привидение, вся в белом, явилась на пороге.

— Батюшки мои! что это за свет? — с тревогой произнесла она, глядя на мерцающий огонь.

Райский отвечал смехом.

— Что такое у тебя? Я в окно увидала свет, испугалась, думала, ты спишь... Что это горит в чашке?

— Ром.

---

[1] Карл Мор — герой драмы Шиллера (1759—1805) «Разбойники», сильный и благородный бунтарь, ставший разбойником, мстителем за униженных и угнетенных.

— Ты по ночам пьешь пунш! — шепотом, в ужасе сказала она и с изумлением глядела то на него, то на чашку.

— Грешен, бабушка, иногда люблю выпить...

— А это кто спит? — с новым изумлением спросила она, вдруг увидев спящего Марка.

— Тише, бабушка, не разбудите: это Марк.

— Марк! Не послать ли за полицией? Где ты взял его? Как ты с ним связался? — шептала она в изумлении.— По ночам с Марком пьет пунш! Да что с тобой сделалось, Борис Павлович?

— Я у Леонтия встретился с ним,— говорил он, наслаждаясь ее ужасом.— Нам обоим захотелось есть: он звал было в трактир...

— В трактир! Этого еще недоставало!

— А я привел его к себе — и мы поужинали...

— Отчего же ты не разбудил меня! Кто вам подавал? Что подавали?

— Стерляди, индейку: Марина все нашла!

— Все холодное! Как же не разбудить меня! Дома есть мясо, цыплята... Ах, Борюшка, срамишь ты меня!

— Мы сыты и так.

— А пирожное? — спохватилась она,— ведь его не осталось! Что же вы ели?

— Ничего: вон Марк пунш сделал. Мы сыты.

— Сыты! ужинали без горячего, без пирожного! Я сейчас пришлю варенья...

— Нет, нет, не надо! Если хотите, я разбужу Марка, спрошу...

— Что ты, бог с тобой: я в кофте! — с испугом отговаривалась Татьяна Марковна, прячась в коридоре.— Бог с ним: пусть его спит! Да как он спит-то: свернулся, точно собачонка! — косясь на Марка, говорила она.— Стыд, Борис Павлович, стыд: разве перин нет в доме? Ах ты, боже мой! Да потуши ты этот проклятый огонь! Без пирожного!

Райский задул синий огонь и обнял бабушку. Она перекрестила его и, покосясь еще на Марка, на цыпочках пошла к себе.

Он уже ложился спать, как опять постучали в дверь.

— Кто еще там? — спросил Райский и отпер дверь.

Марина поставила прежде на стол банку варенья, потом втащила пуховик и две подушки.

— Барыня прислала: не покушаете ли варенья? — сказала она.— А вот и перина: если Марк Иваныч проснутся, так вот легли бы на перине?

Райский еще раз рассмеялся искренно от души и в то же время почти до слез был тронут добротой бабушки, нежностью этого женского сердца, верностью своим правилам гостеприимства и простым, указываемым сердцем, добродетелям.

XVI

Рано утром легкий стук в окно разбудил Райского. Это Марк выпрыгнул в окошко.

«Не любит прямой дороги!..» — думал Райский, глядя, как Марк прокрадывался через цветник, через сад и скрылся в чаще деревьев, у самого обрыва.

Борису не спалось, и он, в легком утреннем пальто, вышел в сад, хотел было догнать Марка, но увидел его уже далеко идущего низом по волжскому прибрежью.

Райский постоял над обрывом: было еще рано; солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев, вдали сияли поля, облитые росой, утренний ветерок веял мягкой прохладой. Воздух быстро нагревался и обещал теплый день.

Райский походил по саду. Там уже началась жизнь; птицы пели дружно, суетились во все стороны, отыскивая завтрак; пчелы, шмели жужжали около цветов.

Издали, с поля, доносилось мычанье коров, по полю валило облако пыли, поднимаемое стадом овец; в деревне скрипели ворота, слышался стук телег; во ржи щелкали перепела.

На дворе тоже начиналась забота дня. Прохор поил и чистил лошадей в сарае, Кузьма или Степан рубил дрова, Матрена прошла с корытцем муки в кухню. Марина раза четыре пронеслась по двору, бережно неся и держа далеко от себя выглаженные юбки барышни.

Егорка делал туалет, умываясь у колодца, в углу двора; он полоскался, сморкался, плевал и уже скалил зубы над Мариной. Яков с крыльца молился на крест собора, поднимавшийся из-за домов слободки.

По двору, под ногами людей и около людских, у корыта с какой-то кашей, толпились куры и утки, да нахально везде бегали собаки, лаявшие натощак бестолку на всякого прохожего, даже иногда на своих, наконец друг на друга.

— Все то же, что вчера, что будет завтра! — прошептал Райский.

Он постоял посредине двора, лениво оглянулся во все стороны, почесался, зевнул и вдруг почувствовал симптомы болезни, мучившей его в Петербурге.

Ему стало скучно. Перед ним, в перспективе, стоял длинный день, с вчерашними, третьегодишними впечатлениями, ощущениями. Кругом все та же наивно улыбающаяся природа, тот же лес, та же задумчивая Волга, обвевал его тот же воздух.

Те же все представления, лишь он проснется, как неподвижная кулиса, вставали перед ним; двигались те же лица, разные твари.

Его и влекла, и отталкивала от них центробежная сила: его тянуло к Леонтью, которого он ценил и любил, но лишь только он приходил к нему, его уже толкало вон.

Леонтий, как изваяние, вылился весь окончательно в назначенный ему образ, угадал свою задачу и окаменел навсегда. Райский искал чего-нибудь другого, где бы он мог не каменеть, не слыша и не чувствуя себя.

Он шел к бабушке и у ней в комнате, на кожаном канапе, за решетчатым окном, находил еще какое-то колыханье жизни, там еще была ему какая-нибудь работа, ломать старый век.

Жизнь между ею и им становилась не иначе, как спорным пунктом, и разрешалась иногда, после нелегкой работы ума, кипения крови, диалектикой, в которой Райский добывал какое-нибудь оригинальное наблюдение над нравами этого быта или практическую, верную заметку жизни или следил, как отправлялась жизнь под напором наивной веры и под ферулой грубого суеверия.

Его все-таки что-нибудь да волновало: досада, смех, иногда пробивалось умиление. Но как скоро спор кончался, интерес падал, Райскому являлись только простые формы одной и той же, неведомо куда и зачем текущей жизни.

Марфенька со вчерашнего вечера окончательно стала для него сестрой: другим ничем она быть не могла, и притом сестрой, к которой он не чувствовал братской нежности.

Он уже не счел нужным переделывать ее: другое воспитание, другое воззрение, даже дальнейшее развитие нарушило бы строгую определенность этой натуры, хотя, может быть, оно вынуло бы наивность, унесло бы детство, все эти ребяческие понятия, бабочкино порханье, но что дало бы взамен?

Страстей, широких движений, какой-нибудь дальней и трудной цели—не могло дать: не по натуре ей! А дало бы хаос, повело бы к недоумениям — и много-много, если б разрешилось претензией съездить в Москву, побывать на бале в дворянском собрании, привезти платье с Кузнецкого моста и потом хвастаться этим до глубокой старости перед мелкими губернскими чиновницами.

Тит Никоныч и прочие немногие лица примелькались ему, как примелькались старинные кожаные канапе, шкафы, саксонские чашки и богемские хрустали.

Оставался Марк, да еще Вера, как туманные пятна.

Марка он видел, и как ни прятался тот в диогеновскую бочку, а Райский успел уловить главные черты физиономии.

Идти дальше, стараться объяснить его окончательно, значит напиваться с ним пьяным, давать ему денег взаймы и потом выслушивать незанимательные повести о том, как он в полку нагрубил командиру или побил жида, не заплатил в трактире денег, поднял знамя бунта против уездной или земской полиции, и как за то выключен из полка или послан в такой-то город под надзор.

Райский повесил голову и шел по двору, не замечая покло-

нов дворни, не отвечая на приветливое виляние собак; набрел на утят и чуть не раздавил их.

«Что за существование,— размышлял он, — остановить взгляд на явлении, принять образ в себя, вспыхнуть на минуту и потом холодеть, скучать и насильственно или искусственно подновлять в себе периодическую охоту к жизни, как ежедневный аппетит! Тайна уменья жить — только тайна длить эти периоды, или, лучше сказать, не тайна, а дар, невольный, бессознательный. Надо жить как-то закрывши глаза и уши — и живется долго и прочно. И те и правы, у кого нет жала в мозгу, кто близорук, у кого туго обоняние, кто идет, как в тумане, не теряя иллюзий! А как удержать краски на предметах, никогда не взглянуть на них простыми глазами и не увидеть, что зелень не зелена, небо не сине, что Марк не заманчивый герой, а мелкий либерал, Марфенька сахарная куколка, а Вера...»

«Что такое Вера?» — сделал он себе вопрос и зевнул.

Он пожимал плечами, как будто озноб пробегал у него по спине, морщился и, заложив руки в карманы, ходил по огороду, по саду, не замечая красок утра, горячего воздуха, так нежно ласкавшего его нервы, не смотрел на Волгу, и только тупая скука грызла его. Он с ужасом видел впереди ряд длинных, бесцельных дней.

Ему пришла в голову прежняя мысль «писать скуку»: «Ведь жизнь многостороння и многообразна, и если,— думал он,— и эта широкая и голая, как степь, скука лежит в самой жизни, как лежат в природе безбрежные пески, нагота и скудость пустынь, то и скука может и должна быть предметом мысли, анализа, пера или кисти, как одна из сторон жизни: что ж, пойду, и среди моего романа вставлю широкую и туманную страницу скуки: этот холод, отвращение и злоба, которые вторглись в меня, будут красками и колоритом... картина будет верна...»

Райский хотел было пойти сесть за свои тетради «записывать скуку», как увидел, что дверь в старый дом не заперта. Он заглянул в него только мельком, по приезде, с Марфенькой, осматривая комнату Веры. Теперь вздумалось ему осмотреть его поподробнее, он вступил в сени и поднялся на лестницу.

Он уже не по-прежнему, с стесненным сердцем, а вяло прошел сумрачную залу с колоннадой, гостиные с статуями, бронзовыми часами, шкафиками рококо и, ни на что не глядя, добрался до верхних комнат; припомнил, где была детская и его спальня, где стояла его кровать, где сиживала его мать.

У него лениво стали тесниться бледные воспоминания о ее ласках, шепоте, о том, как она клала детские его пальцы на клавиши и старалась наигрывать песенку, как потом подолгу играла сама, забыв о нем, а он слушал, присмирев у ней на коленях, потом вела его в угловую комнату, смотреть на Волгу и Заволжье.

Заглянув в свою бывшую спальню, в две, три другие комнаты, он вошел в угловую комнату, чтоб взглянуть на Волгу. Погрузясь в себя, тихо и задумчиво отворил он ногой дверь, взглянул и... остолбенел.

В комнате было живое существо.

Глядя с напряженным любопытством вдаль, на берег Волги, боком к нему, стояла девушка лет двадцати двух, может быть трех, опершись рукой на окно. Белое, даже бледное лицо, темные волосы, бархатный черный взгляд и длинные ресницы — вот все, что бросилось ему в глаза и ослепило его.

Девушка неподвижно и напряженно смотрела вдаль, как будто провожая кого-то глазами. Потом лицо ее приняло равнодушное выражение; она бегло окинула взглядом окрестность, потом двор, обернулась — и сильно вздрогнула, увидев его.

На лице мелькнуло изумление и уступило место недоумению, потом, как тень, прошло даже, кажется, неудовольствие, и все разрешилось в строгое ожидание.

— Сестра Вера! — произнес Райский.

У ней лицо прояснилось, и взгляд остановился на нем с выражением сдержанного любопытства и скромности.

Он подошел, взял ее за руку и поцеловал. Она немного подалась назад и чуть-чуть повернула лицо в сторону, так, что губы его встретили щеку, а не рот.

Они оба сели у окна друг против друга.

— Как я ждал вас: вы загостились за Волгой! — сказал он и с нетерпением ждал ответа, чтоб слышать ее голос.

«Голоса, голоса!» — прежде всего просило воображение, вдобавок к этому ослепительному образу.

— Я вчера только от Марины узнала, что вы здесь,— отвечала она.

Голос у ней не был звонок, как у Марфеньки: он был свеж, молод, но тих, с примесью грудного шепота, хотя она говорила вслух.

— Бабушка хотела посылать за вами, но я просил не давать знать о моем приезде. Когда же вы возвратились? Мне никто ничего не сказал.

— Я вчера после ужина приехала: бабушка и сестра еще не знают. Только одна Марина видела меня.

Она сидела, откинувшись на стул спиной, положив один локоть на окно, и смотрела на Райского не прямо, а как будто случайно, когда доходила очередь взглянуть, между прочим, и на него.

А он глядел всею силою любопытства, долго сдерживаемого. От его жадного взгляда не ускользало ни одно ее движение.

На него по обыкновению уже делала впечатление эта новая красота, или, лучше сказать, новый род красоты, не похожий на красоту ни Беловодовой, ни Марфеньки.

Нет в ней строгости линий, белизны лба, блеска красок и печати чистосердечия в чертах, и вместе холодного сияния, как у Софьи. Нет и детского, херувимского дыхания свежести, как у Марфеньки: но есть какая-то тайна, мелькает невысказывающаяся сразу прелесть, в луче взгляда, в внезапном повороте головы, в сдержанной грации движений, что-то неудержимо прокрадывающееся в душу во всей фигуре.

Глаза темные, точно бархатные, взгляд бездонный. Белизна лица матовая, с мягкими около глаз и на шее тенями. Волосы темные, с каштановым отливом, густой массой лежали на лбу и на висках ослепительной белизны, с тонкими синими венами.

Она не стыдливо, а больше с досадой взяла и выбросила в другую комнату кучу белых юбок, принесенных Мариной, потом проворно прибрала со стульев узелок, брошенный, вероятно, накануне вечером, и подвинула к окну маленький столик. Все это в две, три минуты, и опять села перед ним на стуле свободно и небрежно, как будто его не было.

— Я велела кофе сварить, хотите пить со мной?— спросила она. — Дома еще долго не дадут: Марфенька поздно встает.

— Да, да, с удовольствием,— говорил Райский, продолжая изучать ее физиономию, движения, каждый взгляд, улыбку.

Взгляд ее то манил, втягивал в себя, как в глубину, то смотрел зорко и проницательно. Он заметил еще появляющуюся по временам в одну и ту же минуту двойную мину на лице, дрожащий от улыбки подбородок, потом не слишком тонкий, но стройный, при походке волнующийся стан, наконец мягкий, неслышимый, будто кошачий шаг.

«Что это за нежное, неуловимое создание! — думал Райский,— какая противоположность с сестрой: та луч, тепло и свет; эта вся — мерцание и тайна, как ночь — полная мглы и искр, прелести и чудес!..»

Он с любовью артиста отдавался новому и неожиданному впечатлению. И Софья, и Марфенька, будто по волшебству, удалились на далекий план, и скуки как не бывало: опять повеяло на него теплом, опять природа стала нарядна, все ожило.

Он торопливо уже зажигал диогеновский фонарь и освещал им эту новую, неожиданно возникшую перед ним фигуру.

— Вы, я думаю, забыли меня, Вера? — спросил он.

Он сам слышал, что голос его, без намерения, был нежен, взгляд не отрывался от нее.

— Нет,— говорила она, наливая кофе,— я все помню.

— Все, но не меня?

— И вас.

— Что же вы помните обо мне?

— Да все.

— Я, признаюсь вам, слабо помню вас обеих: помню только, что Марфенька все плакала, а вы нет; вы были лукавы, испод-

тишка шалили, тихонько ели смородину, убегали одни в сад и сюда, в дом.

Она улыбнулась в ответ.

— Вы сладко любите? — спросила она, готовясь класть сахар в чашку.

«Как она холодна и... свободна, не дичится совсем!» — подумал он.

— Да. Скажите, Вера, вспоминали вы иногда обо мне? — спросил он.

— Очень часто: бабушка нам уши прожужжала про вас.

— Бабушка! А вы сами?

— А вы о нас? — спросила она, следя пристально, как кофе льется в чашку, и мельком взглянув на него.

Он молчал, она подала ему чашку и подвинула хлеб. А сама начала ложечкой пить кофе, кладя иногда на ложку маленькие кусочки мякиша.

Ему хотелось бы закидать ее вопросами, которые кипели в голове, но так беспорядочно, что он не знал, с которого начать.

— Я уж был у вас в комнате... Извините за нескромность...— сказал он.

— Здесь ничего нет,— заметила она, оглядываясь внимательно, как будто спрашивая глазами, не оставила ли она что-нибудь.

— Да, ничего... Что это за книга? — спросил он и хотел взять книгу у ней из-под руки.

Она отодвинула ее и переложила сзади себя, на этажерку. Он засмеялся.

— Спрятали, как, бывало, смородину в рот! Покажите!

Она сделала отрицательный знак головой.

— Вот как; читаете такие книги, что и показать нельзя! — шутил он.

Она спрятала книгу в шкаф и села против него, сложив руки на груди и рассеянно глядя по сторонам, иногда взглядывая в окно, и, казалось, забывала, что он тут. Только когда он будил ее внимание вопросом, она обращала на него простой взгляд.

— Хотите еще кофе? — спросила она.

— Да, пожалуйста. Послушайте, Вера, мне хотелось бы так много сказать вам...

Он встал и прошелся по комнате, затрудняясь завязать с нею непрерывный и продолжительный разговор.

Он вспомнил, что и с Марфенькой сначала не вязался разговор. Но там это было от ее ребяческой застенчивости, а здесь не то. Вера не застенчива: это видно сразу, а как будто холодна, как будто вовсе не интересовалась им.

«Что это значит: не научилась, что ли, она еще бояться и стыдиться, по природному неведению, или хитрит, притворяется? — думал он, стараясь угадать ее,— ведь я все-таки новость для

нее. Уж не бродит ли у ней в голове: «Не хорошо, глупо не совладеть с впечатлением, отдаться ему, разинуть рот и уставить глаза!» Нет, быть не может, это было бы слишком тонко, изысканно для нее: не по-деревенски! Но во всяком случае, что бы она ни была, она — не Марфенька. А как хороша, боже мой! Вот куда запряталась такая красота!»

Ему хотелось скорей вывести ее на свежую воду, затронуть какую-нибудь живую струну, вызвать на объяснение. Но чем он больше торопился, чем больше раздражался, тем она становилась холоднее. А он бросался от вопроса к вопросу.

— У вас была моя библиотека в руках? — спросил он.

— Да, потом ее взял Леонтий Иванович. Я была рада, что избавилась от заботы.

— Надеюсь, он не все книги взял? Верно, вы оставили какие-нибудь для себя?

— Нет, все... кажется: Марфенька какие-то взяла.

— А вы?.. разве вам не нужно было?

— Нет. Я прочла, что мне нравилось, и отдала.

— А что вам нравилось?

Она молчала.

— Вера?

— Очень многое; теперь я забыла, что именно,— сказала она, поглядывая в окно.

— Там есть несколько исторических увражей. Поэзия... читали вы их?

— Иные, да.

— Какие же?

— Право, не помню! — нехотя прибавила она, как будто утомляясь этими расспросами.

— Вы любите музыку? — спросил он.

Она вопросительно поглядела на него при этом новом вопросе.

— Как «люблю ли»? то есть играю ли сама, или слушать люблю?

— И то и другое.

— Нет, я не играю, а слушать... Где же здесь музыка?

— Что вы любите вообще?

Она опять вопросительно поглядела на него.

— Любите хозяйство или рукоделья, вышиваете?

— Нет, не умею. Вон Марфенька любит и умеет.

Райский поглядел на нее, прошелся по комнате и остановился перед ней.

— Послушайте, Вера, вы... боитесь меня? — спросил он.

Она не поняла его вопроса и глядела на него во все глаза, почти до простодушия, не свойственного ее умному и проницательному взгляду.

— Отчего вы не высказываетесь, скрываетесь? — начал он, — вы думаете, может быть, что я способен... подшутить или

небрежно обойтись... Словом, вам, может быть, дико: вы конфузитесь, робеете...

Она смотрела на него с язвительным удивлением, так, что он в одно мгновение понял, что она не конфузится, не дичится и не робеет.

Вопрос был глуп. Ему стало еще досаднее.

— Вот Марфенька боится,— сказал он, желая поправиться,— и сама не знает почему...

— А я не знаю, чего надо бояться, и потому, может быть, не боюсь,— отвечала она с улыбкой.

— Но что же вы любите? — вдруг кинулся он опять к вопросу.— Книга вас не занимает; вы говорите, что вы не работаете... Есть же что-нибудь: цветы, может быть, любите...

— Цветы? да, люблю их вон там, в саду, а не в комнате, где надо за ними ходить.

— И природу вообще?

— Да, этот уголок, Волгу, обрыв — вон этот лес и сад — я очень люблю! — произнесла она, и взгляды ее покоились с очевидным удовольствием на всей лежавшей перед окнами местности.

— Что же вас так привязывает к этому уголку?

Она молчала, продолжая с наслаждением останавливать ласковый взгляд на каждом дереве, на бугре и, наконец, на Волге.

— Все,— сказала она равнодушно.

— Да, это прекрасно, но, однако, этого мало: один вид, один берег, горы, лес — все это прискучило бы, если б это не было населено чем-нибудь живым, что вызывало и делило бы эту симпатию.

— Да, это правда: прискучило бы! — подтвердила и она.

— Стало быть, у вас есть кто-нибудь здесь, с кем вы делитесь сочувствием, меняетесь мыслями?

Она молчала и будто не слушала его.

— Вера?

— А? Я не одна живу, вы знаете! — сказала она, вслушавшись в его вопрос.— Бабушка, Марфенька...

— Будто вы с ними делитесь сочувствием, меняетесь мыслями?

Она взглянула на него, и в глазах ее стоял вопрос: почему же нет?

— Нет,— начал он,— есть ли кто-нибудь, с кем бы вы могли стать вон там, на краю утеса, или сесть в чаще этих кустов — там и скамья есть — и просидеть утро или вечер, или всю ночь, и не заметить времени, проговорить без умолку, или промолчать полдня, только чувствуя счастье — понимать друг друга, и понимать не только слова, но знать, о чем молчит другой, и чтоб он умел читать в этом вашем бездонном взгляде вашу душу, шепот сердца... вот что!

Она с опущенными ресницами будто заснула в задумчивости.

— Есть ли такой ваш двойник,— продолжал он, глядя на нее пытливо,— который бы невидимо ходил тут около вас, хотя бы сам был далеко, чтобы вы чувствовали, что он близко, что в нем носится частица вашего существования, и что вы сами носите в себе будто часть чужого сердца, чужих мыслей, чужую долю на плечах, и что не одними только своими глазами смотрите на эти горы и лес, не одними своими ушами слушаете этот шум и пьете жадно воздух теплой и темной ночи, а вместе...

Она взглянула на него, сделала какое-то движение, и в одно время с этим быстрым взглядом блеснул какой-то, будто внезапный свет от ее лица, от этой улыбки, от этого живого движения. Райский остановился на минуту, но блеск пропал, и она неподвижно слушала.

— Тогда только,— продолжал он, стараясь объяснить себе смысл ее лица,— в этом во всем и есть значение, тогда это и роскошь, и счастье. Боже мой, какое счастье! Есть ли у вас здесь такой двойник,— это другое сердце, другой ум, другая душа, и поделились ли вы с ним, взамен взятого у него, своей душой и своими мыслями?.. Есть ли?

— Есть! — с примесью грудного шепота произнесла она.

— Есть! Кто же это счастливое существо? — с завистью, почти с испугом, даже ревностью, спросил он.

Она помолчала немного.

— А... попадья, у которой я гостила: вам, верно, сказали о ней! — отвечала Вера и, встав со стула, стряхнула с передника крошки от сухарей.

— Попадья! — недоверчиво повторил Райский.

— Да, она — мой двойник: когда она гостит у меня, мы часто и долго любуемся с ней Волгой и не наговоримся, сидим вон там на скамье, как вы угадали... Вы не будете больше пить кофе? Я велю убрать...

— Попадья! — повторил он задумчиво, не слушая ее и не заметив, что она улыбнулась, что у ней от улыбки задрожал подбородок.

А у него на лице повисло облако недоумения, недоверчивости, какой-то беспричинной и бесцельной грусти. Он разбирал себя и, наконец, разобрал, что он допрашивался у Веры о том, населял ли кто-нибудь для нее этот угол живым присутствием, не из участия, а частию затем, чтоб испытать ее, частию, чтобы как будто отрекомендоваться ей, заявить свой взгляд, чувства...

Он должен был сознаться, что втайне надеялся найти в ней ту же свежую, молодую, непочатую жизнь, как в Марфеньке, и что, пока бессознательно, он сам просился начать ее, населить эти места для нее собою, быть ее двойником.

Словом, те же желания и стремления, как при встрече с Беловодовой, с Марфенькой, заговорили и теперь, но только

сильнее, непобедимее, потому что Вера была заманчива, таинственно-прекрасна, потому что в ней вся прелесть не являлась сразу, как в тех двух, и в многих других, а пряталась и раздражала воображение, и это еще при первом шаге!

Что же было еще дальше, впереди: кто она, что она? Лукавая кокетка, тонкая актриса или глубокая и тонкая женская натура, одна из тех, которые, по воле своей, играют жизнью человека, топчут ее, заставляя влачить жалкое существование, или дают уже такое счастье, лучше, жарче, живее какого не дается человеку.

— Хотите еще кофе? — повторила она.

— Нет, не хочу. А бабушка, Марфенька: вы любите их?— задумчиво перешел он к новому вопросу.

— Кого же мне любить, как не их?

— А меня? — вдруг сказал он, переходя в шутливый тон.

— Пожалуй, я и вас буду любить,— сказала она, глядя на него веселым взглядом,— если... заслужите.

— Вот как! ведь я вам брат: вы и так должны меня любить.

— Я никому ничего не должна.

— Хвастунья! «Я никому не обязана, никому не кланяюсь, никого не боюсь: я горда!..» так, что ли?

— Нет, не так!

«Еще не выросла, не выбилась из этих общих мест жизни. Провинция!» — думал Райский сердито, ходя по комнате.

— Как же заслужить это счастье? — спросил он с иронией,— позвольте спросить.

— Какое счастье?

— Счастье приобрести вашу любовь.

— Любовь, говорят, дается без всякой заслуги, так. Ведь она слепая!.. Я не знаю, впрочем...

— А иногда приходит и сознательно,— заметил Райский,— путем доверенности, уважения, дружбы. Я бы хотел начать с этого и окончить первым. Так что же надо сделать, чтоб заслужить ваше внимание, милая сестра?

— Не обращать на меня внимания,— сказала она, помолчав.

— Как, не замечать вас, не...

— Не делать таких больших глаз, вот как теперь! — подсказала она,— не ходить без меня в мою комнату, не допытываться, что я люблю, что нет...

— Гордость! А скажите, сестра, вы... извините, я откровенен: вы не рисуетесь этой гордостью?

Она молчала.

— Не хочется вам похвастаться независимостью характера? Вы, может быть, стремитесь к selfgovernment[1] и хотите

---

[1] Самостоятельности *(англ.)*.

щегольнуть эмансипацией от здешних авторитетов, бабушки, Нила Андреевича, да?

— Вы, кажется, начинаете «заслуживать мое доверие и дружбу»! — смеясь, заметила она, потом сделалась серьезна и казалась утомленной или скучной. — Я не совсем понимаю, что вы сказали,— прибавила она.

— Я потому это говорю, — оправдывался он, — что бабушка сказывала мне, что вы горды.

— Бабушка? какая, право! Везде ее спрашивают! Я совсем не горда. И по какому случаю она говорила вам это?

— Потому что я вам с Марфенькой подарил вот это все, оба дома, сады, огороды. Она говорила, что вы не примете. Правда ли?

— Мне все равно, ваше ли это, мое ли, лишь бы я была здесь.

— Да она не хотела оставаться здесь: она хотела уехать в Новоселово...

— Ну? — отрывисто, грудью спросила она, будто с тревогой.

— Ну, я все уладил: куда переезжать? Марфенька приняла подарок, но только с тем, чтобы и вы приняли. И бабушка поколебалась, но окончательно не решилась, ждет — кажется, что скажете вы. А вы что скажете? Примете, да? как сестра от брата?

— Да, я приму,— поспешно сказала она. — Нет, зачем принимать: я куплю. Продайте мне: у меня деньги есть. Я вам пятьдесят тысяч дам.

— Нет, так я не хочу.

Она остановилась, подумала, бросила взгляд на Волгу, на обрыв, на сад.

— Хорошо, как хотите — я на все согласна, только чтоб нам остаться здесь.

— Так я велю бумагу написать?

— Да... благодарю,— говорила она, подойдя к нему и протянув ему обе руки. Он взял их, пожал и поцеловал ее в щеку. Она отвечала ему крепким пожатием и поцелуем на воздух.

— Видно, вы в самом деле любите этот уголок и старый дом?

— Да, очень...

— Послушайте, Вера: дайте мне комнату здесь в доме — мы будем вместе читать, учиться... хотите учиться?

— Чему учиться? — с удивлением спросила она.

— Вот видите: мне хочется пройти с Марфенькой практически историю литературы и искусства. Не пугайтесь,— поспешил он прибавить, заметив, что у ней на лице показался какой-то туман,— курс весь будет состоять в чтении и разговорах... Мы будем читать все, старое и новое, свое и чужое,—

передавать друг другу впечатления, спорить... Это займет меня, может быть и вас. Вы любите искусство?

Она тихонько зевнула в руку: он заметил.

«Кажется, ее нельзя учить, да и нечему: она или уже все знает, или не хочет знать!» — решил он про себя.

— А вы... долго останетесь здесь? — спросила она, не отвечая на его вопрос.

— Не знаю: это зависит от обстоятельств и... от вас.

— От меня? — повторила она и задумалась глядя в сторону.

— Пойдемте туда, в тот дом. Я покажу вам свои альбомы, рисунки... мы поговорим...— предлагал он.

— Хорошо, подите вперед, а я приду: мне надо тут вынуть свои вещи, я еще не разобралась...

Он медлил. Она, держась за дверь, ждала, чтоб он ушел.

«Как она хороша, боже мой! И какая язвительная красота!»— думал он, идучи к себе и оглядываясь на ее окна.

— Вера Васильевна приехала! — с живостью сказал он Якову в передней.

— Бабушка, Вера приехала! — крикнул он, проходя мимо бабушкиного кабинета и постучав в дверь.

— Марфенька! — закричал он у лестницы, ведущей в Марфенькину комнату — Верочка приехала!

Крик, шум, восклицания, звон ключей, шипенье самовара, беготня — были ответом на принесенную им весть.

Он проворно раскопал свои папки, бумаги, вынес в залу, разложил на столе и с нетерпением ждал, когда Вера отделается от объятий, ласк и расспросов бабушки и Марфеньки и прибежит к нему продолжать начатый разговор, которому он не хотел предвидеть конца. И сам удивлялся своей прыти, стыдился этой торопливости, как будто в самом деле «хотел заслужить внимание, доверие и дружбу...»

«Постой же,— думал он,— я докажу, что ты больше ничего, как девочка передо мной!..»

Он с нетерпением ждал. Но Вера не приходила. Он располагал увлечь ее в бездонный разговор об искусстве, откуда шагнул бы к красоте, к чувствам и т. д.

«Не все же открыла ей попадья! — думал он, — не все стороны ума и чувства изведала она: не успела, некогда! Посмотрим, будешь ли ты владеть собою, когда...»

Но она все нейдет. Его взяло зло, он собрал рисунки и только хотел унести опять к себе наверх, как распахнулась дверь и пред ним предстала... Полина Карповна, закутанная, как в облака, в кисейную блузу, с голубыми бантами на шее, на груди, на желудке, на плечах, в прозрачной шляпке с колосьями и незабудками. Сзади шел тот же кадет, с веером и складным стулом.

— Боже мой! — болезненно произнес Райский:

— Bon*jur!* — сказала она, — не ждали? ви*жю*, ви*жю!* Du courage![1] Я все понимаю. А мы с Мишелем были в роще и зашли к вам. Michel! Saluez donc monsieur et mettez tout cela de côté![2]. Что это у вас? ах, альбомы, рисунки, произведения вашей музы! Я заранее без ума от них: покажите, покажите ради бога! Садитесь сюда, ближе, ближе...

Она осенила диван и несколько кресел своей юбкой.

Райскому страх как хотелось пустить в нее папками и тетрадями. Он стоял, не зная, уйти ли ему внезапно, оставив ее тут, или покориться своей участи и показать рисунки.

— Не конфузьтесь, будьте смелее,— говорила она. — Michel, allez vous promener un peu *au le jardin!*[3] Садитесь, сюда, ближе! — продолжала она, когда юноша ушел.

Райский внезапно разразился нервным хохотом и сел подле нее.

— Вот так! Я ви*жю*, что вы угадали меня...— прибавила она шепотом.

Райский окончательно развеселился:

«Эта, по крайней мере, играет наивно комедию, не скрывается и не окружает себя туманом, как та...» — думал он.

— Ах, как это мило! charmant, ce paysage! [4] — говорила между тем Крицкая, рассматривая рисунки.— Qu'est-ce que c'est que cette belle figure?[5] — спрашивала она, останавливаясь над портретом Беловодовой, сделанным акварелью. — Ah, que c'est beau![6] Это ваша пассия — да? признайтесь.

— Да.

— Я знала — oh, vous êtes terrible, allez![7] — прибавила она, ударив его легонько веером по плечу.

Он засмеялся.

— N'est-ce pas?[8] Много вздыхают по вас? признайтесь. А здесь еще что будет!

Она остановила на нем плутовский взгляд.

— Monstre![9] — произнесла она лукаво.

«Боже мой! Какая противная: ее прибить можно!» — со скрежетом думал он, опять впадая в ярость.

— У меня есть просьба к вам, m-r Boris... надеюсь, я уже могу называть вас так... Faites mon portrait[10].

Он молчал.

---

[1] Смелее! *(франц.)*
[2] Мишель! поздоровайтесь же и положите все это куда-нибудь! *(франц.)*
[3] Мишель, погуляйте немного в саду! (искаженное *франц.*: «dans le jardin»)
[4] Очаровательный пейзаж! *(франц.)*
[5] Кто эта красивая женщина? *(франц.)*
[6] Ах, какая красота! *(франц.)*
[7] О, вы страшный человек! *(франц.)*
[8] Не правда ли? *(франц.)*
[9] Чудовище! *(франц.)*
[10] Напишите мой портрет *(франц.)*.

— Ma figure y prête, j'espère?[1]

Он молчал.

— Вы молчите, следовательно это решено: когда я могу прийти? Как мне одеться? Скажите, я отдаюсь на вашу волю — я вся ваша покорная раба...—говорила она шепелявым шепотом, нежно глядя на него и готовясь как будто склонить голову к его плечу.

— Пустите меня, ради бога: я на свежий воздух хочу!..— сказал он в тоске, вставая и выпутывая ноги из ее юбок.

— Ах, вы в ажитации: это натурально — да, да, я этого хотела и добилась! — говорила она, торжествуя и обмахиваясь веером. — А когда портрет?

Он молча выпутывал ноги из юбок.

— Вы в плену, не выпутаетесь! — шаловливо дразнила она, не пуская его.

— Пустите меня: не то закричу!

В это время отворилась тихонько дверь, и на пороге показалась Вера. Она постояла несколько минут, прежде нежели они ее заметили. Наконец Крицкая первая увидела ее.

— Вера Васильевна: вы воротились, ах, какое счастье! Vous nous manquiez![2] Посмотрите, ваш cousin в плену, не правда ли, как лев в сетях! Здоровы ли вы, моя милая, как поправились, пополнели...

И Крицкая шла целоваться с Верой. Вера глядела на эту сцену молча, только подбородок дрожал у ней от улыбки.

— Я вас давно ждал! — заметил ей Райский сухо.

— Я хорошо сделала, что замешкалась,— с вежливой иронией сказала Вера, поздоровавшись с Крицкой.— Полина Карповна подоспела кстати...

— N'est-ce pas?[3] — подтвердила Крицкая.

— Она, верно, лучше меня поймет: я бестолкова очень, у меня вкуса нет,— продолжала Вера и, взяв два-три рисунка, небрежно поглядела с минуту на каждый, потом, положив их, подошла к зеркалу и внимательно смотрелась в него.

— Какая я бледная сегодня! У меня немного голова болит: я худо спала эту ночь. Пойду отдохну. До свидания, cousin! Извините, Полина Карповна! — прибавила она и скользнула в дверь.

Шагов ее не слышно было за дверью, только скрип ступеней давал знать, что она поднималась по лестнице в комнату Марфеньки.

— Теперь мы опять одни! — сказала Полина Карповна, осеняя диван и половину круглого стола юбкой, — давайте смотреть! Садитесь сюда, поближе!..

---

[1] Мое лицо так и просится на полотно, правда? *(франц.)*

[2] Нам вас так недоставало! *(франц.)*

[3] Не правда ли? *(франц.)*

Райский молча, одним движением руки, сгреб все рисунки и тетради в кучу, тиснул все в самую большую папку, сильно захлопнул ее и, не оглядываясь, сердитыми шагами вышел вон.

XVII

Райский решил платить Вере равнодушием, не обращать на нее никакого внимания, но вместо того дулся дня три. При встрече с ней скажет ей вскользь слова два, и в этих двух словах проглядывает досада.

Он запирался у себя, писал программу романа и внес уже на страницы ее заметку «о ядовитости скуки». Страдая этим уже не новейшим недугом, он подвергал его психологическому анализу, вынимая данные из себя.

Ему хотелось уехать куда-нибудь еще подальше и поглуше, хоть в бабушкино Новоселово, чтоб наедине и в тишине вдуматься в ткань своего романа, уловить эту сеть жизненных сплетений, дать одну точку всей картине, осмыслить ее и возвести в художественное создание.

Здесь все мешает ему. Вон издали доносится до него песенка Марфеньки: «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя!» — поет она звонко, чисто, и никакого звука любви не слышно в этом голосе, который вольно раздается среди тишины в огороде и саду; потом слышно, как она беспечно прервала пение и тем же тоном, каким пела, приказывает из окна Матрене собрать с гряд салату, потом через минуту уж звонко смеется в толпе соседних детей.

Вот несколько крестьянских подвод въехали на двор, с овсом, с мукой, скрип телег, говор дворни, хлопанье дверей — все мешает.

Дальше из окна видно, как золотится рожь, белеет гречиха, маковый цвет да кашка, красными и розовыми пятнами, пестрят поля и отвлекают глаза и мысль от тетрадей.

Райский долго боролся, чтоб не глядеть, наконец украдкой от самого себя взглянул на окно Веры: там тихо, не видать ее самой, только лиловая занавеска чуть-чуть колышется от ветра.

Вчера она досидела до конца вечера в кабинете Татьяны Марковны: все были там, и Марфенька, и Тит Никонович. Марфенька работала, разливала чай, потом играла на фортепиано. Вера молчала, и если ее спросят о чем-нибудь, то отвечала, но сама не заговаривала.

Она чаю не пила, за ужином раскопала два-три блюда вилкой, взяла что-то в рот, потом съела ложку варенья и тотчас после стола ушла спать.

Чем менее Райский замечал ее, тем она была с ним ласковее, хотя, несмотря на требование бабушки, не поцеловала его, звала не братом, а кузеном, и все еще не переходила на

«ты», а он уже перешел, и бабушка приказывала и ей перейти. А чуть лишь он открывал на нее большие глаза, пускался в расспросы, она становилась чутка, осторожна и уходила в себя.

Райскому досадно было на себя, что он дуется на нее. Если уж Вера едва заметила его появление, то ему и подавно хотелось бы закутаться в мантию совершенной недоступности, небрежности и равнодушия, забывать, что она тут, подле него,— не с целью порисоваться тем перед нею, а искренно стать в такое отношение к ней.

Чем он больше старался об этом, тем сильнее, к досаде его, проглядывало мелочное и настойчивое наблюдение за каждым ее шагом, движением и словом. Иногда он и выдержит себя минуты на две, но любопытство мало-помалу раздражит его, и он бросит быстрый полувзгляд исподлобья — все и пропало. Он уж и не отводит потом глаз от нее.

Она столько вносила перемены с собой, что с ее приходом как будто падал другой свет на предметы; простая комната превращалась в какой-то храм, и Вера, как бы ни запрятывалась в угол, всегда была на первом плане, точно поставленная на пьедестал и освещенная огнями или лунным светом.

Идет ли она по дорожке сада, а он сидит у себя за занавеской и пишет, ему бы сидеть, не поднимать головы и писать, а он, при своем желании до боли не показать, что замечает ее, тихонько, как шалун, украдкой, поднимет уголок занавески и следит, как она идет, какая мина у ней, на что она смотрит, угадывает ее мысль. А она уж, конечно, заметит, что уголок занавески приподнялся, и угадает, зачем приподнялся.

Если сам он идет по двору или по саду, то пройти бы ему до конца, не взглянув вверх; а он начнет маневрировать, посмотрит в противоположную от ее окон сторону, оборотится к ним будто невзначай и встретит ее взгляд, иногда с затаенной насмешкой над его маневром. Или спросит о ней Марину, где она, что делает, а если потеряет ее из вида, то бегает, отыскивая точно потерянную булавку, и, увидевши ее, начинает разыгрывать небрежного.

Иногда он дня по два не говорил, почти не встречался с Верой, но во всякую минуту знал, где она, что делает. Вообще способности его, устремленные на один, занимающий его предмет, изощрялись до невероятной тонкости, а теперь, в этом безмолвном наблюдении за Верой, они достигли степени ясновидения.

Он за стенами как будто слышал ее голос и бессознательно соображал и предвидел ее слова и поступки. Он в несколько дней изучил ее привычки, вкусы, некоторые склонности, но все это относилось пока к ее внешней и домашней жизни.

Он успел определить ее отношения к бабушке, к Марфеньке, положение ее в этом уголке и все, что относится к образу жизни и быта.

Но нравственная фигура самой Веры оставалась для него еще в тени.

В разговоре она не увлекалась вслед за его пылкой фантазией, на шутку отвечала легкой усмешкой, и если удавалось ему окончательно рассмешить ее, у ней от смеха дрожал подбородок.

От смеха она переходила к небрежному молчанию или просто задумывалась, забывая, что он тут, и потом просыпалась, почти содрогаясь, от этой задумчивости, когда он будил ее движением или вопросом.

Она не любила, чтобы к ней приходили в старый дом. Даже бабушка не тревожила ее там, а Марфеньку она без церемонии удаляла, да та и сама боялась ходить туда.

А когда Райский заставал ее там, она, очевидно, пережидала, не уйдет ли он, и если он располагался подле нее, она, посидевши из учтивости минут десять, уходила.

Привязанностей у ней, по-видимому, не было никаких, хотя это было и неестественно в девушке: но так казалось наружно, а проникать в душу к себе она не допускала. Она о бабушке и о Марфеньке говорила покойно, почти равнодушно.

Занятий у нее постоянных не было. Читала, как и шила она, мимоходом и о прочитанном мало говорила, на фортепиано не играла, а иногда брала неопределенные, бессвязные аккорды и к некоторым долго прислушивалась, или когда принесут Марфеньке кучу нот, она брала то те, то другие. «Сыграй вот это,— говорила она.— Теперь вот это, потом это»,— слушала, глядела пристально в окно и более к проигранной музыке не возвращалась.

Райский заметил, что бабушка, наделяя щедро Марфеньку замечаниями и предостережениями на каждом шагу, обходила Веру с какой-то осторожностью, не то щадила ее, не то не надеялась, что эти семена не пропадут даром.

Но бывали случаи, и Райский, по мелочности их, не мог еще наблюсти, какие именно, как вдруг Вера охватывалась какой-то лихорадочною деятельностью, и тогда она кипела изумительной быстротой и обнаруживала тьму мелких способностей, каких в ней нельзя было подозревать — в хозяйстве, в туалете, в разных мелочах.

Так она однажды из куска кисеи часа в полтора сделала два чепца, один бабушке, другой — Крицкой, с тончайшим вкусом, работая над ними со страстью, с адским проворством и одушевлением, потом через пять минут забыла об этом и сидела опять праздно.

Иногда она как будто прочтет упрек в глазах бабушки, и тогда особенно одолеет ею дикая, порывистая деятельность. Она примется помогать Марфеньке по хозяйству, и в пять, десять минут, все порывами, переделает бездну, возьмет что-нибудь в руки, быстро сделает, оставит, забудет, примется за

другое, опять сделает и выйдет из этого так же внезапно, как войдет.

Бабушка иногда жалуется, что не управится с гостями, ропщет на Веру за дикость, за то, что не хочет помочь.

Вера хмурится и, очевидно, страдает, что не может перемочь себя, и, наконец, неожиданно явится среди гостей — и с таким веселым лицом, глаза теплятся таким радушием, она принесет столько тонкого ума, грации, что бабушка теряется до испуга.

Ее ставало на целый вечер, иногда на целый день, а завтра, точно оборвется: опять уйдет в себя — и никто не знает, что у ней на уме или на сердце.

Вот все, что пока мог наблюсти Райский, то есть все, что видели и знали другие. Но чем меньше было у него положительных данных, тем дружнее работала его фантазия, в союзе с анализом, подбирая ключ к этой замкнутой двери.

С тех пор, как у Райского явилась новая задача — Вера, он реже и холоднее спорил с бабушкой и почти не занимался Марфенькой, особенно после вечера в саду, когда она не подала никаких надежд на превращение из наивного, подчас ограниченного, ребенка в женщину.

Между тем они трое почти были неразлучны, то есть Райский, бабушка и Марфенька. После чаю он с час сидел у Татьяны Марковны в кабинете, после обеда так же, а в дурную погоду — и по вечерам.

Вера являлась ненадолго, здоровалась с бабушкой, сестрой, потом уходила в старый дом, и не слыхать было, что она там делает. Иногда она вовсе не приходила, а присылала Марину принести ей кофе туда.

Бабушка немного хмурилась, шептала про себя: «Привередница, дикарка!» — но на своем не настаивала.

Равнодушный ко всему на свете, кроме красоты, Райский покорялся ей до рабства, был холоден ко всему, где не находил ее, и груб, даже жесток, ко всякому безобразию.

Не только от мира внешнего, от формы, он настоятельно требовал красоты, но и на мир нравственный смотрел он не как он есть, в его наружно-дикой, суровой разладице, не как на початую от рождения мира и неконченную работу, а как на гармоническое целое, как на готовый уже парадный строй созданных им самим идеалов, с доконченными в его уме чувствами и стремлениями, огнем, жизнью и красками.

У него не ставало терпения купаться в этой возне, суете, в черновой работе, терпеливо и мучительно укладывать силы в приготовление к тому праздничному моменту, когда человечество почувствует, что оно готово, что достигло своего апогея, когда настал бы и понесся в вечность, как река, один безошибочный, на вечные времена установившийся поток жизни.

Он только оскорблялся ежеминутным и повседневным разла-

дом действительности с красотой своих идеалов и страдал за себя и за весь мир.

Он верил в идеальный прогресс — в совершенствование как формы, так и духа, сильнее, нежели материалисты верят в утилитарный прогресс; но страдал за его черепаший шаг и впадал в глубокую хандру, не вынося даже мелких царапин близкого ему безобразия.

Тогда все люди казались ему евангельскими гробами, полными праха и костей. Бабушкина старческая красота, то есть красота ее характера, склада ума, старых цельных нравов, доброты и проч., начала бледнеть. Кое-где мелькнет в глаза неразумное упорство, кое-где эгоизм; феодальные замашки ее казались ему животным тиранством, и в минуты уныния он не хотел даже извинить ее ни веком, ни воспитанием.

Тит Никонович был старый, отживший барин, ни на что не нужный, Леонтий — школьный педант, жена его — развратная дура, вся дворня в Малиновке — жадная стая диких, не осмысленная никакой человеческой чертой.

Весь этот уголок, хозяйство с избами, мужиками, скотиной и живностью, терял колорит веселого и счастливого гнезда, а казался просто хлевом, и он бы давно уехал оттуда, если б... не Вера!

В один такой час хандры он лежал с сигарой на кушетке в комнате Татьяны Марковны. Бабушка, не сидевшая никогда без дела, с карандашом поверяла какие-то, принесенные ей Савельем, счеты.

Перед ней лежали на бумажках кучки овса, ржи. Марфенька царапала иглой клочок кружева, нашитого на бумажке, так пристально, что сжала губы и около носа и лба у ней набежали морщинки. Веры, по обыкновению, не было.

Райский случайно поглядел на Марфеньку и засмеялся. Она покраснела и поглядела на него вопросительно.

— Какую ты смешную рожицу сделала,— сказал он.

— Ну, слава богу, улыбнулось красное солнышко! — заметила Татьяна Марковна.— А то смотреть тошно.

Он вздохнул.

— Что вздыхаешь-то: на свете, что ли, тяжело жить?

— И так тяжело, бабушка. Ужели вам легко?

— Полно бога гневить! Видно, в самом деле рожна захотел.

— Хоть бы и рожна, да чтоб шевелилось что-нибудь в жизни, а то — настоящий гроб!

— Прости ему, господи: сам не знает, что говорит! Эй, Борюшка, не накликай беду! Не сладко покажется, как бревно ударит по голове. Да, да,— помолчавши, с тихим вздохом, прибавила она,— это так уж в судьбе человеческой написано — зазнаваться. Пришла и твоя очередь зазнаться: видно, наука нужна. Образумит тебя судьба, помянешь меня!

— Чем же, бабушка: рожном? Я не боюсь. У меня — никого и ничего: какого же мне рожна ждать.

— А вот узнаешь: всякому свой! Иному дает на всю жизнь — и несет его, тянет точно лямку. Вон Кирила Кирилыч...— бабушка сейчас бросилась к любимому своему способу, к примеру,— богат, здоровехонек, весь век хи-хи-хи, да ха-ха-ха, да жена вдруг ушла: с тех пор и повесил голову,— шестой год ходит, как тень... А у Егора Ильича...

— У меня нет жены, стало быть, и опасности нет...

— А ты женись!..

— Зачем: чтоб жена ушла?

— Не все жены уходят: хочешь, я тебе посватаю?

— Нет, благодарю; придумайте для меня другой рожон.

— Судьба придумает! Да сохрани тебя, господи, полно накликать на себя! А лучше вот что: поедем со мной в город с визитами. Мне проходу не дают, будто я не пускаю тебя. Вице-губернаторша, Нил Андреевич, княгиня: вот бы к ней! Да уж и к бесстыжей надо заехать, к Полине Карповне, чтоб не шипела! А потом к откупщику...

— Это зачем?

— После скажу.

— Зачем, Марфенька, бабушка везет меня к откупщику — не знаешь ли?

— У него дочь невеста — помните, бабушка говорила однажды? так, верно, хочет сватать вам ее...

— Вот она сейчас и догадалась! Спрашивают тебя: везде поспеешь! — сказала бабушка.— Язык-то стал у тебя востер: сама я не умею, что ли, сказать?

— Э, вот что! Хорошо...— зевая, сказал Райский,— я поеду с визитами, только с тем, чтоб и вы со мной заехали к Марку: надо же ему визит отдать.

Татьяна Марковна молчала.

— Что же вы, бабушка, молчите: заедем?

— Полно пустяки говорить: напрасно ты связался с ним,— добра не будет, с толку тебя собьет! О чем он с тобой разговаривал?

— Он почти не разговаривал: мы поужинали и легли.

— А денег еще не просил взаймы?

— Просил.

— Ну, так и есть: ты смотри не давай!

— Да уж я дал.

— Дал! — жалостно воскликнула она.

— Вы кстати напомнили о деньгах: он просил сто рублей, а у меня было восемьдесят. Где мои деньги? Дайте, пожалуйста, надо послать ему...

— Борис Павлович! Не я ли говорила тебе, что он только и делает, что деньги занимает! Боже мой! Когда же отдаст?

— Он сказал, что не отдаст.

Она заволновалась, зашевелилась, так что кресло заходило под ней.

— Что ж это такое, говори не говори, он все свое делает! — сказала она,— из рук вон!

— Дайте же денег.

— Ты оброк, что ли, ему платишь?

— Ему есть нечего!

— А ты кормить его взялся? Есть нечего! Цыгане и бродяги всегда чужое едят: всех не накормишь! Восемьдесят рублей!

Татьяна Марковна нахмурилась.

— Нету денег! — коротко сказала она.— Не дам: если не добром, так неволей послушаешься бабушки!

— Вот деспотизм-то! — заметил Райский.

— Что ж, велеть, что ли, закладывать коляску? — спросила, помолчавши, бабушка.

— Зачем?

— А с визитами ехать?

— Вы не делаете по-моему, и я не стану делать по-вашему.

— Сравнил себя со мной! Когда же курицу яйца учат! Грех, грех, сударь! Странный человек, необыкновенный: все свое!

— Не я, а вот вы так необыкновенная женщина!

— Чем это, батюшка, скажи на милость?

— Как чем? Не велите знакомиться, с кем я хочу, деньгами мешаете распоряжаться, как вздумаю, везете, куда мне не хочется, а куда хочется, сами не едете. Ну, к Марку не хотите, я и не приневоливаю вас, и вы меня не приневоливайте.

— Я тебя в хорошие люди везу.

— По мне, они не хорошие.

— Что ж, Маркушка хорош?

— Да, он мне нравится. Живой, свободный ум, самостоятельная воля, юмор...

— Да ну его! — с досадой прибавила она,— едешь, что ли, со мной к Мамыкину?

— Это еще что за Мамыкин?

— А откупщик, у которого дочь невеста,— вмешалась Марфенька.— Поезжайте, братец: на той неделе у них большой вечер, будут звать нас,— тише прибавила она,— бабушка не поедет, нам без нее нельзя, а с вами пустят...

— Сделай, бабушке удовольствие, поезжай! — прибавила Татьяна Марковна.

— А вы сделайте мне удовольствие, не зовите меня.

— Чудный, необыкновенный человек! Я ему сделай удовольствие, а он мне нет.

— Ведь под этим удовольствием кроется замысел женить меня — так ли?

— Ну, хоть бы и так: что же за беда: — я ведь счастья тебе хочу!

— Почему вы знаете, что для меня счастье — жениться на дочери какого-то Мамыкина?

— Она красавица, воспитана в самом дорогом пансионе в Москве. Одних брильянтов тысяч на восемьдесят... Тебе полезно жениться... Взял бы богатое приданое, зажил бы большим домом, у тебя бы весь город бывал, все бы раболепствовали перед тобой, поддержал бы свой род, связи... И в Петербурге не ударил бы себя в грязь...— мечтала почти про себя бабушка.

— А вот я и не хочу раболепства: — это гадость! Бабушка! я думал, вы любите меня — пожелаете чего-нибудь получше, поразумнее....

— Чего тебе: рожна, что ли, в самом деле? Я тебе добра желаю, а ты...

— Хорошо добро: ни с того ни с сего взять чужие деньги, бриллианты, да еще какую-нибудь Голендуху Парамоновну, в придачу!

— Нет, не Голендуху, а богатую и хорошенькую невесту! Вот что, необыкновенный человек!

— Толкать человека жениться, на ком не знаешь, на ком не хочешь: необыкновенная женщина!

— Ну, Борюшка: не думала я, что из тебя такое чудище выйдет!

— Да не я, бабушка, а вы чудище...

— Ах! — почти в ужасе закричала Марфенька,— как это вы смеете так называть бабушку!

— А она меня так назвала.

— Она постарше вас, она вам бабушка!

— А что, бабушка,— вдруг обратился он к ней,— если б я стал уговаривать вас выйти замуж?

— Марфенька! перекрести его: ты там поближе сидишь,— заметила бабушка сердито.

Марфенька засмеялась.

— Право...— шутил Райский.

— Ты буфонишь, а я дело тебе говорила, добра хотела.

— И я добра вам хочу. Вот находят на вас такие минуты, что вы скучаете, ропщете; иногда я подкарауливал и слезы. «Век свой одна, не с кем слова перемолвить,— жалуетесь вы,— внучки разбегутся, маюсь, маюсь весь свой век — хоть бы бог прибрал меня! Выйдут девочки замуж, останусь как перст» и т. д. А тут бы подле вас сидел почтенный человек, целовал бы у вас руки, вместо вас ходил бы по полям, под руку водил бы в сад, в пикет с вами играл бы... Право, бабушка, что бы вам...

— Полно, Борис Павлович, вздор молоть,— печально, со

вздохом сказала бабушка.— Ты моложе был поумнее, вздору не молол.

Она через очки посмотрела на него.

— А Тит Никоныч так и увивается около вас, чуть на вас не молится — всегда у ваших ног! Только подайте знак — и он будет счастливейший смертный!

Марфенька не унималась от смеху. Бабушка немного покраснела.

— Вот как: и жениха нашел! — сказала она небрежно.

— Что ж,— продолжал шутить Райский,— вы живете домком, у вас водятся деньжонки, а он бездомный... вот бы и кстати...

— Так это за то, что у меня деньжонки водятся да дом есть, и надо замуж выходить: богадельня, что ли, ему достался мой дом? И дом не мой, а твой. И он сам не беден...

— А это на что похоже, что вы хотите женить меня из-за денег?

— Ты можешь понравиться девушке, и она тебе тоже: она миленькая...

— Вы с Титом Никонычем тоже друг другу нравитесь, вы тоже миленькая...

— Отвяжись ты со своим Титом Никонычем! — вспыльчиво перебила Татьяна Марковна,— я тебе добра хотела.

— И я вам тоже!

— Пустомеля, право пустомеля: слушать тошно! Не хочешь угодить бабушке,— так как хочешь!

— А вы мне отчего не хотите угодить? Я еще не видал дочери Мамыкина и не знаю, какая она, а Тит Никоныч вам нравится, и вы сами на него смотрите как-то любовно...

— А вот еще,— перебила Марфенька,— я вам скажу, братец: когда Тит Никоныч захворает, бабушка сама...

— Ты, сударыня, что,— крикнула бабушка сердито,— молода шутить над бабушкой! Я тебя и за ухо, да в лапти: нужды нет, что большая! Он от рук отбился, вышел из повиновения: с Маркушкой связался — последнее дело! Я на него рукой махнула, а ты еще погоди, я тебя уйму! А ты, Борис Павлыч, женись, не женись — мне все равно, только отстань и вздору не мели. Я вот Тита Никоныча принимать не велю...

— Бедный Тит Никоныч! — комически, со вздохом, произнес Райский и лукаво взглянул на Марфеньку.

— Ну, вот, бабушка, наконец вы договорились до дела, до правды: «женись, не женись — как хочешь!» Давно бы так! Стало быть, и ваша и моя свадьба откладываются на неопределенное время.

— «Дело, правда!» — ворчала бабушка,— вот посмотрим, как ты проживешь!

— По-своему, бабушка.

— Хорошо ли это?

— А как же: ужели по-чужому?

— Как люди живут.

— Какие люди? Разве здесь есть люди?

В это время Василиса вошла и доложила, что гости пришли: «Колчинский барчонок...»

— Это Николай Андреевич Викентьев: проси! «Какие люди!» хоть бы вот человек: господи, не клином мир сошелся! — сказала Бережкова.

Марфенька немного покраснела и поправила платье, косынку и мельком бросила взгляд в зеркало. Райский тихонько погрозил ей пальцем; она покраснела еще сильнее.

— Что вы, братец... вы... опять...— начала она и не кончила.

Василиса пошла было и воротилась поспешно.

— Еще пришел этот... что ночевал здесь,— сказала она Райскому,— спрашивает вас!

— Уж не Маркушка ли опять? — с ужасом спросила бабушка.

— Он и есть! — подтвердила Василиса.

— Вот это люди, так люди! — сказал Райский и поспешил к себе.

— Как обрадовался, как бросился! Нашел человека! Деньги-то не забудь взять с него назад! Да не хочет ли он трескать? я бы прислала...— крикнула ему вслед бабушка.

XVIII

В комнату вошел, или, вернее, вскочил — среднего роста, свежий, цветущий, красиво и крепко сложенный молодой человек, лет двадцати трех, с темно-русыми, почти каштановыми волосами, с румяными щеками и с серо-голубыми вострыми глазами, с улыбкой, показывавшей ряд белых крепких зубов. В руках у него был пучок васильков и еще что-то бережно завернутое в носовой платок. Он все это вместе со шляпой положил на стул.

— Здравствуйте, Татьяна Марковна, здравствуйте, Марфа Васильевна! — заговорил он, целуя руку у старушки, потом у Марфеньки, хотя Марфенька отдернула свою, но вышло так, что он успел дать летучий поцелуй.— Опять нельзя — какие вы!..— сказал он.— Вот я принес вам...

— Что это вы пропали: вас совсем не видать? — с удивлением, даже строго, спросила Бережкова.— Шутка ли, почти три недели!

— Мне никак нельзя было, губернатор не выпускал никуда; велели дела канцелярии приводить в порядок...— говорил Викентьев так торопливо, что некоторые слова даже не договаривал.

— Пустяки, пустяки! не слушайте, бабушка: у него никаких дел нет... сам сказывал! — вмешалась Марфенька.

— Ей-богу, ах, какие вы: дела по горло было! У нас новый правитель канцелярии поступает — мы дела скрепляли, описи делали... Я пятьсот дел по листам скрепил. Даже по ночам сидели... ей-богу...

— Да не божитесь! что это у вас за привычка божиться по пустякам: грех какой! — строго остановила его Бережкова.

— Как по пустякам: вон Марфа Васильевна не верят! а я, ей-богу...

— Опять!

— Правда ли, Татьяна Марковна, правда ли, Марфа Васильевна, что у вас гость: Борис Павлович приехал? Не он ли это, я встретил сейчас, прошел по коридору? Я нарочно пришел...

— Вот видите, бабушка? — перебила Марфенька,— он пришел братца посмотреть, а без этого долго бы пропадал! Что?

— Ах, Марфа Васильевна, какие вы! Я лишь только вырвался, так и прибежал! Я просился, просился у губернатора — не пускает: говорит, не пущу до тех пор, пока не кончите дела! У маменьки не был: хотел к ней пообедать в Колчино съездить — и то пустил только вчера, ей-богу...

— Здорова ли маменька? Что, у ней лишаи прошли?

— Проходят, покорно благодарю. Маменька кланяется вам, просит вас не забыть день ее именин...

— Покорно благодарю! Уж не знаю, соберусь ли я, сама стара, да и через Волгу боюсь ехать. А девочки мои...

— Мы без вас, бабушка, не поедем,— сказала Марфенька,— я тоже боюсь переезжать Волгу.

— Не стыдно ли трусить? — говорил Викентьев.— Чего вы боитесь? Я за вами сам приеду на нашем катере... Гребцы у меня все песенники...

— С вами ни за что и не поеду, вы не посидите ни минуты покойно в лодке... Что это шевелится у вас в бумаге? — вдруг спросила она.— Посмотрите, бабушка... ах, не змея ли?

— Это я вам принес живого сазана, Татьяна Марковна: сейчас выудил сам. Ехал к вам, а там на речке, в осоке, вижу, сидит в лодке Иван Матвеич. Я попросился к нему, он подъехал, взял меня, я и четверти часа не сидел — вот какого выудил! А это вам, Марфа Васильевна, дорогой, вон тут во ржи нарвал васильков...

— Не надо, вы обещали без меня не рвать — а вот теперь слишком две недели не были, васильки все посохли: вон какая дрянь!

— Пойдемте сейчас нарвем свежих!..

— Дайте срок! — остановила Бережкова.— Что это вам не

сидится? Не успели носа показать, вон еще и лоб не простыл, а уж в ногах у вас так и зудит? Чего вы хотите позавтракать: кофе, что ли, или битого мяса? А ты, Марфенька, поди узнай, не хочет ли тот... Маркушка... чего-нибудь? Только сама не показывайся, а Егорку пошли узнать...

— Нет, нет, ничего не хочу,— заторопился Викентьев,— я съел целый пирог перед тем, как ехать сюда...

— Видите, какой он, бабушка! — сказала Марфенька,— пирог съел!

И сама пошла исполнить поручение бабушки, потом воротилась, сказав, что ничего не надо и что гость скоро собирается уйти.

— А здесь не накормили бы вас!— упрекнула Татьяна Марковна,— что выназавтракались да пришли?

Викентьев сунулся было к Марфеньке.— Заступитесь за меня! — сказал он.

— Не подходите, не подходите, не трогайте! — сердито говорила Марфенька.

Он не сидел, не стоял на месте, то совался к бабушке, то бежал к Марфеньке и силился переговорить обеих. Почти в одну и ту же минуту лицо его принимало серьезное выражение, и вдруг разливался по нем смех и показывались крупные белые зубы, на которых, от торопливости его говора, или от смеха, иногда вскакивал и пропадал пузырь.

— Я ведь съел пирог оттого, что под руку подвернулся. Кузьма отворил шкаф, а я шел мимо — вижу пирог, один только и был...

— Вам стало жаль сироту, вы и съели? — договорила бабушка. Все трое засмеялись.

— Нет ли варенья, Марфа Васильевна: я бы поел...

— Вели принести — как не быть? А битого мяса не станете? Вчерашнее жаркое есть, цыплята...

— Вот бы цыпленка хорошо...

— Не давайте ему, бабушка: что его баловать? не стоит...— Но сама пошла было из комнаты.

— Нет, нет, Марфа Васильевна, и точно не надо, вы только не уходите: я лучше обедать буду. Можно мне пообедать у вас, Татьяна Марковна?

— Нет, нельзя,— сказала Марфенька.

— А ты не шути этим,— остановила ее бабушка,— он, пожалуй, и убежит. И видно, что вы давно не были, — обратилась она к Викентьеву,— стали спрашивать позволения отобедать!

— Покорно благодарю-с!.. Марфа Васильевна! куда вы? Постойте, постойте, и я с вами!..

— Не надо, не надо, не хочу! — говорила она.— Я велю вам зажарить вашего сазана и больше ничего не дам к обеду.

Она двумя пальцами взяла за голову рыбу, а когда та ста-

ла хлестать хвостом взад и вперед, она с криком: «Ай, ай!» — выронила ее на пол и побежала по коридору.

Он бросился за ней, и через минуту оба уже где-то хохотали, а еще через минуту послышались вверху звуки резвого вальса на фортепиано, с топотом ног над головой Татьяны Марковны, а потом кто-то точно скатился с лестницы, а дальше промчались по двору и бросились в сад, сначала Марфенька, за ней Викентьев, и звонко из саду доносились их говор, пение и смех.

Бабушка поглядела в окно и покачала головой. На дворе куры, петухи, утки с криком бросились в стороны, собаки с лаем поскакали за бегущими, из людских выглянули головы лакеев, женщин и кучеров, в саду цветы и кусты зашевелились точно живые, и не на одной гряде или клумбе остался след вдавленного каблука или маленькой женской ноги, два-три горшка с цветами опрокинулись, вершины тоненьких дерев, за которые хваталась рука, закачались, и птицы все до одной от испуга улетели в рощу.

А через четверть часа уже оба смирно сидели, как ни в чем не бывало, около бабушки и весело смотрели кругом и друг на друга: он, отирая пот с лица, она, обмахивая себе платком лоб и щеки.

— Хороши оба: на что похожи! — упрекала бабушка.

— Это все он, — жаловалась Марфенька, — погнался за мной! Прикажите ему сидеть на месте.

— Нет, не я, Татьяна Марковна: они велели мне уйти в сад, а сами прежде меня побежали: я хотел догнать, а они...

— Он мужчина, а тебе стыдно, ты не маленькая! — журила бабушка.

— Вот видите, что я из-за вас терплю! — сказала Марфенька.

— Ничего, Марфа Васильевна, бабушки всегда немного ворчат — это их священная обязанность...

Бабушка услыхала.

— Что, что, сударь? — полусерьезно остановила его Татьяна Марковна, — подойдите-ка сюда, я, вместо маменьки, уши надеру, благо ее здесь нет, за этакие слова!

— Извольте, извольте, Татьяна Марковна, ах, надерите, пожалуйста! Вы только грозите, а никогда не выдерете...

Он подскочил к старушке и наклонил голову.

— Надерите, бабушка, побольнее, чтоб неделю красные были! — учила Марфенька.

— Ну, вы надерите! — сказал он ей, подставляя голову.

— Когда вы провинитесь передо мной, тогда надеру.

— Постойте еще, я Нилу Андреевичу пожалуюсь, перескажу, что вы сказали теперь... А еще любимец его! — говорила Татьяна Марковна.

Викентьев сделал важную мину, стал посреди комнаты, опустил бороду в галстук, сморщился, поднял палец вверх

и дряблым голосом произнес: «Молодой человек! твои слова потрясают авторитет старших!..»

Должно быть, очень было похоже на Нила Андреевича, потому что Марфенька закатилась смехом, а бабушка нахмурила было брови, но вдруг добродушно засмеялась и стала трепать его по плечу.

— В кого это ты, батюшка, уродился такой живчик, да на все гораздый? — ласково говорила она.— Батюшка твой, царство ему небесное, был такой серьезный, слова на ветер не скажет, и маменьку отучил смеяться.

— Ах, Марфа Васильевна,— заговорил Викентьев,— я достал вам новый романс и еще журнал, повесть отличная... забыл совсем...

— Где же они?

— В лодке у Ивана Матвеича оставил, все из-за того сазана! Он у меня трепетался в руках — я книгу и ноты забыл... Я побегу сейчас — может быть, он еще на речке сидит — и принесу...

Он побежал было и опять воротился.

— Я дамское седло достал, Марфа Васильевна: вам верхом ездить; графский берейтор берется в месяц вас выучить — хотите, я сейчас привезу...

— Ах, какой вы милый, какой вы добрый! — не вспомнясь от удовольствия, сказала Марфенька.— Как весело будет... ах, бабушка!

— Кто тебе позволит так проказничать? — строго заметила бабушка.— А вы что это, в своем ли уме: девушке на лошади ездить!

— А Марья Васильевна, а Анна Николаевна — как же ездят они?..

— Ну, им и отдайте ваше седло! Сюда не заносите этих затей: пока жива, не позволю. Этак, пожалуй, и до греха недолго: курить станет.

Марфенька надулась, а Викентьев постоял минуты две в недоумении, почесывая то затылок, то брови, потом вместо того, чтоб погладить волосы, как делают другие, поерошил их, расстегнул и застегнул пуговицу у жилета, вскинул легонько фуражку вверх и, поймав ее, выпрыгнул из комнаты, сказавши: «Я за нотами и за книгой — сейчас прибегу...» — и исчез.

Марфенька хотела тоже идти, но бабушка удержала ее.

— Послушай, душечка, поди сюда, что я тебе скажу,— заговорила она ласково и немного медлила, как будто не решалась говорить.

Марфенька подошла, и бабушка поправляла ей волосы, растрепавшиеся немного от беготни по саду, и глядела на нее, как мать, любуясь ею.

— Что вы, бабушка? — вдруг спросила Марфенька, с удив-

лением вскинувши на старушку глаза и ожидая, к чему ведет это предисловие.

— Ты у меня добрая девочка, уважаешь каждое слово бабушки... не то что Верочка...

— Верочка тоже уважает вас: напрасно вы на нее...

— Ну, ты ее заступница! Уважает, это правда, а думает свое, значит, не верит мне: бабушка-де стара, глупа, а мы молоды,— лучше понимаем, много учились, все знаем, все читаем. Как бы она не ошиблась... Не все в книгах написано!

Бережкова задумчиво вздохнула.

— Что же вы хотели сказать мне? — с любопытством спросила Марфенька.

— А вот что: ты взрослая девушка, давно невеста: так ты будь немножко пооглядчивее...

— Как это пооглядчивее, бабушка?

— Погоди, не перебивай меня. Ты вот резвишься, бегаешь, точно дитя, с ребятишками возишься...

— Разве я все бегаю? Ведь я работаю, шью, вышиваю, разливаю чай, хозяйством занимаюсь...

— Опять перебила! Знаю, что ты умница, ты — клад, дай бог тебе здоровья,— и бабушки слушаешься! — повторила свой любимый припев старушка.

— Так за что же вы браните меня?

— Погоди, дай сказать слово! Где же я браню? Я говорю только, чтоб ты была посерьезнее...

— Как, уж и бегать нельзя: это разве грех? А вон братец говорит...

— Что он говорит?

— Что я слишком уж... послушная, без бабушки ни на шаг...

— А ты не слушай его: он там насмотрелся на каких-нибудь англичанок да полячек! те еще в девках одни ходят по улицам, переписку ведут с мужчинами и верхом скачут на лошадях. Этого, что ли, братец хочет? Вот постой, я поговорю с ним...

— Нет, бабушка, не говорите,—он рассердится, что я пересказала вам...

— И хорошо сделала, и всегда так делай! Мало ли что он наговорит, братец твой! Видишь что: смущать вздумал девочку!

— Разве я девочка? — обидчиво заметила Марфенька.— Мне четырнадцать аршин на платье идет... Сами говорите, что я невеста!

— Правда, ты выросла, да сердце у тебя детское, и дай бог, чтоб долго таким осталось! А поумнеть немного не мешает.

— А зачем, бабушка: разве я дура? Братец говорит, что я проста, мила... что я хороша и умна как есть, что я...

Она остановилась.

— Ну, что еще?

— Что я «естественная»!..

Татьяна Марковна помолчала, по-видимому, толкуя себе значение этого слова. Но оно почему-то ей не понравилось.

— Братец твой пустяки говорит,— сказала она.

— Ведь он умный-преумный, бабушка.

— Ну, да — умнее всех в городе. И бабушка у него глупа: воспитывать меня хочет! Нет, ты старайся поумнеть мимо его, живи своим умом.

— Господи! ужели я дура такая?

— Нет, нет, ты, может быть, поумнее многих умниц...— бабушка взглянула по направлению к старому дому, где была Вера,— да ум-то у тебя в скорлупе, а пора смекать...

— Зачем же, бабушка?

— А хоть бы затем, внучка, чтоб суметь понять речи братца и ответить на них порядком. Он, конечно, худого тебе не пожелает; смолоду был честен и любил вас обеих: вон имение отдает, да много болтает пустого...

— Не все же он пустое болтает: иногда так умно и хорошо говорит...

— И Полина Карповна не дура: тоже хорошо говорит. Я не сравниваю Борюшку с этой козой, а хочу только сказать,— острота остротой, а ум умом! Вот ты и поумней настолько, чтоб знать, когда твой братец говорит с остротой, когда с умом. На остроту смейся, отвечай остротой, а умную речь принимай к сердцу. Острота фальшива, принарядится красным словцом, смехом, ползет, как змей, в уши, норовит подкрасться к уму и помрачить его, а когда ум помрачен, так и сердце не в порядке. Глаза смотрят, да не видят или видят не то...

— За что же вы, бабушка, браните меня? — с нетерпением спросила Марфенька.

У ней даже навернулись слезы.

— Вы говорите: не хорошо бегать, возиться с детьми, петь — ну, не стану...

— Боже тебя сохрани! Бегать, пользоваться воздухом — здорово. Ты весела, как птичка, и дай бог тебе остаться такой всегда, люби детей, пой, играй...

— Так за что же браните?

— Не браню, а говорю только: знай всему меру и пору. Вот ты давеча побежала с Николаем Андреевичем...

Марфенька вдруг покраснела, отошла и села в угол. Бабушка пристально поглядела на нее и начала опять, тоном ниже и медленнее.

— Это не беда: Николай Андреич прекрасный, добрый — и шалун, такой же резвый, как ты, а ты у меня скромница, лишнего ни себе, ни ему не позволишь. Куда бы вы ни забежали

вдвоем, что бы ни затеяли, я знаю, что он тебе не скажет непутного, а ты и слушать не станешь...

— Не прикажите ему приходить! — сердито заметила Марфенька.— Я с ним теперь слова не скажу...

— Это хуже: и он, и люди бог знает что подумают. А ты только будь пооглядчивее,— не бегай по двору да по саду, чтоб люди не стали осуждать: «Вон, скажут, девушка уж невеста, а повесничает, как мальчик, да еще с посторонним...»

Марфенька вспыхнула.

— Ты не красней: не от чего! Я тебе говорю, что ты дурного не сделаешь, а только для людей надо быть пооглядчивее! Ну, что надулась: поди сюда, я тебя поцелую!

Бережкова поцеловала Марфеньку, опять поправила ей волосы, все любуясь ею, и ласково взяла ее за ухо.

— Николай Андреич сейчас придет,— сказала Марфенька,— а я не знаю, как теперь мне быть с ним. Станет звать в сад, я не пойду, в поле — тоже не пойду и бегать не стану. Это я все могу. А если станет смешить меня — я уж не утерплю, бабушка,— засмеюсь, воля ваша! Или запоет, попросит сыграть: что я ему скажу?

Бабушка хотела отвечать, но в эту минуту ворвался в комнату Викентьев, весь в поту, в пыли, с книгой и нотами в руках. Он положил и то и другое на стол перед Марфенькой.

— Вот теперь уж...— торопился он сказать, отирая лоб и смахивая платком пыль с платья,— пожалуйте ручку! Как бежал — собаки по переулку за мной, чуть не съели...

Он хотел взять Марфеньку за руку, но она спрятала ее назад, потом встала со стула, сделала реверанс и серьезно, с большим достоинством произнесла:

— Je vous remercie, m-r Викентьев: vous êtes bien aimable[1].

Он вытаращил глаза на нее, потом на бабушку, потом опять на нее, поерошил волосы, взглянул мельком в окно, вдруг сел и в ту же минуту вскочил.

— Марфа Васильевна,— заговорил он,— пойдемте в залу, к террасе — смотреть: сейчас молодые проедут...

— Нет,— важно сказала она,— merci, я не пойду: девице неприлично высовываться на балкон и глазеть...

— Ну, пойдемте же разбирать новый романс...

— Нет, благодарю: я ужо́ попробую одна или при бабушке...

— Пойдемте к роще — сядем там: я почитаю вам новую повесть.

Он взял книгу.

— Как это можно! — строго сказала Марфенька и взглянула на бабушку,— дитя, что ли, я?..

— Что это такое, Татьяна Марковна? — говорил растерянный Викентьев,— житья нет от Марфы Васильевны!

---

[1] Благодарю вас, г-н Викентьев: вы очень любезны *(франц.)*.

Викентьев посмотрел на них обеих пристально, потом вдруг вышел на середину комнаты, сделал сладкую мину, корпус наклонил немного вперед, руки округлил, шляпу взял под мышку.

— Mille pardons, mademoiselle, de vous avoir dérangée [1],— говорил он, силясь надеть перчатки, но большие, влажные от жару руки не шли в них.— Sacrebleu! ça n'entre pas — oh, mille pardons, mademoiselle... [2]

— Полно вам, проказник, принеси ему варенья, Марфенька!

— Oh! Madame, je suis bien reconnaissant. Mademoiselle, je vous prie, restez de grâce! [3] — бросился он, почтительно устремляя руки вперед, чтоб загородить дорогу Марфеньке, которая пошла было к дверям.— Vraiment, je ne puis pas: j'ai des visites à faire... Ah, diable, ça n'entre pas... [4].

Марфенька крепилась, кусала губы, но смех прорвался.

— Вот он какой, бабушка,— жаловалась она,— теперь m-r Шарля представляет: как тут утерпеть!

— А что, похоже? — спросил Викентьев.

— Полно вам, божьи младенцы! — сказала Татьяна Марковна, у которой морщины превратились в лучи и улыбка озарила лицо.— Подите, бог с вами, делайте, что хотите!

XIX

На Марфеньку и на Викентьева точно живой водой брызнули. Она схватила ноты, книгу, а он шляпу, и только было бросились к дверям, как вдруг снаружи, со стороны проезжей дороги, раздался и разнесся по всему дому чей-то дребезжащий голос.

— Татьяна Марковна! высокая и сановитая владычица сих мест! Прости дерзновенному, ищущему предстать пред твои очи и облобызать прах твоих ног! Приими под гостеприимный кров твой странника, притекша издалеча вкусить от твоея трапезы и укрыться от зноя полдневного! Дома ли богом хранимая хозяйка сей обители?.. Да тут никого нет!

Голова показалась с улицы в окно столовой. Все трое, Татьяна Марковна, Марфенька и Викентьев, замерли, как были, каждый в своем положении.

— Боже мой, Опенкин! — воскликнула бабушка почти в ужасе.— Дома нет, дома нет! на целый день за Волгу уехала! — шепотом диктовала она Викентьеву.

---

[1] Тысяча извинений, сударыня, за беспокойство *(франц.)*.

[2] Проклятье! Не надеваются — о, простите, сударыня... *(франц.)*

[3] О! сударыня, я вам очень признателен. Прошу вас, мадемуазель, пожалуйста, останьтесь! *(франц.)*

[4] Но я, право, не могу: я должен сделать несколько визитов... А, черт, не надеваются! *(франц.)*

— Дома нет, на целый день за Волгу уехала! — громко повторил Викентьев, подходя к окну столовой.

— А! нашему Николаю Андреевичу, любвеобильному и надеждами чреватому, села Колчина и многих иных обладателю! — говорил голос.— Да прильпнет язык твой к гортани, зане ложь изрыгает! И возница, и колесница дома, а стало быть, и хозяйка в сем месте или окрест обретается. Посмотрим и поищем, либо пождем, дондеже из весей и пастбищ, и из вертограда в храмину паки вступит.

— Что делать, Татьяна Марковна? — торопливо и шепотом спрашивал Викентьев.— Опенкин пошел на крыльцо, сюда идет.

— Нечего делать,— с тоской сказала бабушка,— надо пустить. Чай, голоднехонек, бедный! Куда он теперь в этакую жару потащится? Зато уж на целый месяц отделаюсь! Теперь его до вечера не выживешь!

— Ничего, Татьяна Марковна, он напьется живо и потом уйдет на сеновал спать. А после прикажите Кузьме отвезти его в телеге домой...

— Матушка, матушка! — нежным, но сиплым голосом говорил, уже входя в кабинет, Опенкин.— Зачем сей быстроногий поверг меня в печаль и страх! Дай ручку, другую! Марфа Васильевна! Рахиль прекрасная, ручку, ручку...

— Полно, Аким Акимыч, не тронь ее! Садись, садись — ну, будет тебе! Что, устал — не хочешь ли кофе?

— Давно не видал тебя, наше красное солнышко: в тоску впал! — говорил Опенкин, вытирая клетчатым бумажным платком лоб.— Шел, шел — и зной палит, и от жажды и голода изнемог, а тут вдруг: «За Волгу уехала!» Испужался, матушка, ей-богу испужался: экой какой,— набросился он на Викентьева,— невесту тебе за это рябую! Красавица вы, птичка садовая, бабочка цветная! — обратился он опять к Марфеньке,— изгоните вы его с ясных глаз долой, злодея безжалостного — ох, ох, господи, господи! Что, матушка, за кофе: не к роже мне! А вот если б ангел сей небесный из сахарной ручки удостоил поднести...

— Водки? — живо перебил Викентьев.

— Водки! — передразнил Опенкин,— с месяц ее не видал, забыл, чем пахнет. Ей-богу, матушка! — обратился он к бабушке,— вчера у Горошкина насильно заставляли: бросил все, без шапки ушел!

— Чего же хочешь, Аким Акимыч?

— Вот если б из ангельских ручек мадерцы рюмочку-другую...

— Вели, Марфенька, подать: там вчера только что почали бутылку от итальянца...

— Нет, нет, постой, ангел, не улетай! — остановил он Марфеньку, когда та направилась было к двери,— не надо от италь-

янца, не в коня корм! не проймет, не почувствую: что мадера от итальянца, что вода — все одно! Она десять рублей стоит: не к роже! Удостой, матушка, от Ватрухина, от Ватрухина — в два с полтиной медью!

— Какая же это мадера: он сам ее делает,— заметил Викентьев.

— То и ладно, то и ладно: значит, приспособился к потребностям государства, вкус угадал, город успокоивает. Теперь война, например, с врагами: все двери в отечестве на запор. Ни человек не пройдет, ни птица не пролетит, ни амбре никакого не получишь, ни кургузого одеяния, ни марго, ни бургонь — заговейся! А в сем богоспасаемом граде источник мадеры не иссякнет у Ватрухина! Да здравствует Ватрухин! Пожалуйте, сударыня, Татьяна Марковна, ручку!

Он схватил старушку за руку, из которой выскочил и покатился по полу серебряный рубль, приготовленный бабушкой, чтоб послать к Ватрухину за мадерой.

— Да ну, бог с тобой, какой ты беспокойный: сидел бы смирно! — с досадой сказала бабушка.— Марфенька, вели сходить к Ватрухину, да постой, на вот еще денег, вели взять две бутылки: одной, я думаю, мало будет...

— Мудрость, мудрость глаголет твоими устами: ручку...— говорил Опенкин.

— Где побывал это время, Аким Акимыч, что поделывал, горемычный?

— Где! — со вздохом повторил Опенкин,— везде и нигде, витаю, как птица небесная! Три дня у Горошкиных, перед тем у Пестовых, а перед тем и не помню!

Он вздохнул опять и махнул рукой.

— Что дома не сидишь?

— Эх, матушка, рад бы душой, да ведь ты знаешь сама: ангельского терпения не станет.

— Знаю, знаю, да не сам ли ты виноват тоже: не все же жена?

— Ну, иной раз и сам: правда, святая правда! Где бы помолчать, пожалуй, и пронесло бы, а тут зло возьмет, не вытерпишь, и пошло! Сама посуди: сядешь в угол, молчишь: «Зачем сидишь, как чурбан, без дела?» Возьмешь дело в руки: «Не трогай, не суйся, где не спрашивают!» Ляжешь: «Что все валяешься?» Возьмешь кусок в рот: «Только жрешь!» Заговоришь: «Молчи лучше!» Книжку возьмешь: вырвут из рук да швырнут на пол! Вот мое житье — как перед господом богом! Только и света, что в палате да по добрым людям.

Принесли вино. Марфенька налила рюмку и подала Опенкину.

Он, с жадностью, одной дрожащей рукой, осторожно и плотно прижал ее к нижней губе, а другую руку держал в виде подноса под рюмкой, чтоб не пролить ни капли, и залпом опроки-

нул рюмку в рот, потом отер губы и потянулся к ручке Марфеньки, но она ушла и села в свой угол.

Опенкин в нескольких словах сам рассказал историю своей жизни. Никто никогда не давал себе труда, да и не нужно никому было разбирать, кто прав, кто виноват был в домашнем разладе, он или жена.

Он ли пьянством сначала вывел ее из терпения, она ли характером довела его до пьянства? Но дело в том, что он дома был как чужой человек, приходивший туда только ночевать, а иногда пропадавший по нескольку дней.

Он предоставил жене получать за него жалованье в палате и содержать себя и двоих детей, как она знает, а сам из палаты прямо шел куда-нибудь обедать и оставался там до ночи или на ночь, и на другой день, как ни в чем не бывало, шел в палату и скрипел пером, трезвый, до трех часов. И так проживал свою жизнь по людям.

К нему все привыкли в городе, и почти везде, кроме чопорных домов, принимали его, ради его безобидного нрава, домашних его несогласий и ради провинциального гостеприимства. Бабушка не принимала его только, когда ждала «хороших гостей», то есть людей поважнее в городе.

Она никогда бы не пустила его к себе ради пьянства, которого терпеть не могла, но он был несчастлив, и притом, когда он становился неудобен в комнате, его без церемонии уводили на сеновал или отводили домой.

Запереть ему совсем двери было не в нравах провинции вообще и не в характере Татьяны Марковны в особенности, как ни тяготило ее присутствие пьяного в комнате, его жалобы и вздохи.

Райский помнил, когда Опенкин хаживал, бывало, в дом его отца с бумагами из палаты.

Тогда у него не было ни лысины, ни лилового носа. Это был скромный и тихий человек из семинаристов, отвлеченный от духовного звания женитьбой по любви на дочери какого-то асессора, не желавшей быть ни дьяконицей, ни даже попадьей.

Но Райский не счел нужным припоминать старого знакомства, потому что не любил, как и бабушка, пьяных, однако он со стороны наблюдал за ним и тут же карандашом начертил его карикатуру.

Опенкин за обедом, пока еще не опьянел, продолжал чествовать бабушку похвалами, называл Верочку с Марфенькой небесными горлицами, потом, опьяневши, вздыхал, сопел, а после обеда ушел на сеновал спать.

Чай он пил с ромом, за ужином опять пил мадеру, и когда все гости ушли домой, а Вера с Марфенькой по своим комнатам, Опенкин все еще томил Бережкову рассказами о прежнем житье-бытье в городе, о многих стариках, которых все забыли,

кроме его, о разных событиях доброго старого времени, наконец о своих домашних несчастиях, и все прихлебывал холодный чай с ромом или просил рюмочку мадеры.

Снисходительная старушка не решалась напомнить ему о позднем часе, ожидая, что он догадается. Но он не догадывался.

Она несколько раз уходила и, наконец, совсем ушла и подсылала то Марину, то Якова потушить свечи, кроме одной, закрыть ставни: все не действовало.

Он заговаривал и с Яковом, и с Мариной.

— А ну что, Маринушка: скоро ли позовешь в кумовья? Я все жду, вот бы выпил на радостях...

— Будет с вас: и так глаза-то налили! Барыня почивать хочет, говорит, пора вам домой...— ворчала Марина, убирая посуду.

— Хулу глаголешь, нечестивая. Татьяна Марковна не изгоняет гостей: гость — священная особа... Татьяна Марковна! — заорал он во все горло,— ручку пожалуйте недостойному...

— Что это за срам, как орете: разбудите барышень! — сказала ему Василиса, посланная барыней унять его.

— Голубочки небесные! — сладеньким голосом начал Опенкин,— почивают, спрятав головки под крылышко! Маринушка! поди, дай, обниму тебя...

— Ну вас, подите, говорят вам: вот даст вам знать жена, как придете домой...

— Избиет, избиет, яко младенца, Маринушка!

Он начал хныкать и всхлипывать.

— Дай мадерцы: выпил бы из твоих золотых ручек! — плача говорил он.

— Нету: видите, бутылка пустая! выкатили всю на лоб себе!

— Ну, ромцу, сударушка: ты мне ни разу не поднесла...

— Вот еще! пойду в буфет рому доставать! Ключи у барыни...

— Давай, шельма! — закричал опять во все горло Опенкин.

Вскоре из спальни вышла Татьяна Марковна, в ночном чепце и салопе.

— Что это, в уме ли ты, Аким Акимыч? — строго сказала она.

— Матушка, матушка! — завопил Опенкин, опускаясь на колени и хватая ее за ноги,— дай ножку, благодетельница, прости...

— Пора домой: здесь не кабак — что это за срам! Вперед не велю принимать...

— Матушка! кабак! кабак! Кто говорит кабак? Это храм мудрости и добродетели. Я честный человек, матушка: да или нет? Ты только изреки — честный я или нет? Обманул я, уяз-

вил, налгал, наклеветал, насплетничал на ближнего? изрыгал хулу, злобу? Николи! — гордо произнес он, стараясь выпрямиться.— Нарушил ли присягу в верности царю и отечеству? производил поборы, извращал смысл закона, посягал на интерес казны? Николи! Мухи не обидел, матушка: безвреден, яко червь пресмыкающийся...

— Ну, вставай, вставай и ступай домой! Я устала, спать хочу...

— Да почиет благословение божие над тобою, праведница!

— Яков, вели Кузьме проводить домой Акима Акимыча! — приказывала бабушка.— И проводи его сам, чтоб он не ушибся! Ну, прощай, бог с тобой: не кричи, ступай, девочек разбудишь!

— Матушка, ручку, ручку! горлицы, горлицы небесные...

Бережкова ушла, нисколько не смущаясь этим явлением, которое повторялось ежемесячно и сопровождалось все одними и теми же сценами. Яков стал звать Опенкина, стараясь, с помощью Марины, приподнять его с пола.

— А! богобоязненный Иаков! — продолжал Опенкин,— приими на лоно свое недостойного Иоакима и поднеси из благочестивых рук своих рюмочку ямайского...

— Пойдемте, не шумите: барыню опять разбудите, пора домой!

— Ну, ну... ну...— твердил Опенкин, кое-как барахтаясь и поднимаясь с пола,— пойдем, пойдем. Зачем домой, дабы змея лютая язвила меня до утрия? Нет, пойдем к тебе, человече: я поведаю ти, како Иаков боролся с богом...

Яков любил поговорить о «божественном», и выпить тоже любил, и потому поколебался.

— Ну, ладно, пойдемте ко мне, а здесь не пригоже оставаться,— сказал он.

Опенкин часа два сидел у Якова в прихожей. Яков тупо и углубленно слушал эпизоды из священной истории; даже достал в людской и принес бутылку пива, чтобы заохотить собеседника к рассказу. Наконец Опенкин, кончив пиво, стал поминутно терять нить истории и перепутал до того, что Самсон у него проглотил кита и носил его три дня во чреве.

— Как... позвольте,— задумчиво остановил его Яков,— кто кого проглотил?

— Человек, тебе говорят: Самсон, то бишь— Иона!

— Да ведь кит большущая рыба: сказывают, в Волге не уляжется...

— А чудо-то на что?

— Не другую ли какую рыбу проглотил человек? — изъявил Яков сомнение.

Но Опенкин успел захрапеть.

— Проглотил, ей-богу, право, проглотил! —бормотал он несвязно впросонье.

— Да кто кого: фу, ты, боже мой,— скажете ли вы? — допытывался Яков.

— Поднеси из благочестивых рук...— чуть внятно говорил Опенкин, засыпая.

— Ну, теперь ничего не добьешься! Пойдемте.

Он старался растолкать гостя, но тот храпел. Яков сходил за Кузьмой и вдвоем часа четыре употребили на то, чтоб довести Опенкина домой, на противоположный конец города. Там, сдав его на руки кухарке, они сами на другой день к обеду только вернулись домой.

Яков с Кузьмой провели утро в слободе, под гостеприимным кровом кабака. Когда они выходили из кабака, то Кузьма принимал чрезвычайно деловое выражение лица, и чем ближе подходил к дому, тем строже и внимательнее смотрел вокруг, нет ли беспорядка какого-нибудь, не валяется ли что-нибудь лишнее, зря, около дома, трогал замок у ворот, цел ли он. А Яков все искал по сторонам глазами, не покажется ли церковный крест вдалеке, чтоб помолиться на него.

XX

Терпение Райского разбилось о равнодушие Веры, и он впал в уныние, стал опять терзаться тупой и бесплодной скукой. От скуки он пробовал чертить разные деревенские сцены карандашом, набросал в альбом почти все пейзажи Волги, какие видел из дома и с обрыва, писал заметки в свои тетради, записал даже Опенкина и, положив перо, спросил себя: «Зачем он записал его? Ведь в роман он не годится: нет ему роли там. Опенкин — старый, выродившийся провинциальный тип, гость, которого не знают, как выжить: что ж тут интересного? И какой это роман! И как пишут эти романисты? Как у них выходит все слито, связано между собой, так что ничего тронуть и пошевелить нельзя? А я как будто в зеркале вижу только себя! Как это глупо! Не умею! Неудачник я!»

Он стал припоминать свои уроки в академии, студии, где рисуют с бюстов. Наконец упрямо привязался к воспоминанию о Беловодовой, вынул ее акварельный портрет, стараясь привести на память последний разговор с нею, и кончил тем, что написал к Аянову целый ряд писем — литературных произведений в своем роде, требуя от него подробнейших сведений обо всем, что касалось Софьи: где, что она, на даче или в деревне? Посещает ли он ее дом? Вспоминает ли она о нем? Бывает ли там граф Милари — и прочее и прочее,— все, все.

Всем этим он надеялся отделаться от навязчивой мысли о Вере.

Отослав пять-шесть писем, он опять погрузился в свой недуг — скуку. Это не была скука, какую испытывает человек за нелюбимым делом, которое навязала на него обязанность и которой он предвидит конец.

Это тоже не случайная скука, постигающая кого-нибудь в случайном положении: в болезни, в утомительной дороге, в карантине; там впереди опять виден конец.

Мог бы он заняться делом: за делом скуки не бывает.

«Но дела у нас, русских, нет,— решил Райский,— а есть мираж дела. А если и бывает, то в сфере рабочего человека, в приспособлении к делу грубой силы или грубого уменья, следовательно дело рук, плечей, спины: и то дело вяжется плохо, плетется кое-как; поэтому рабочий люд, как рабочий скот, делает все из-под палки и норовит только отбыть свою работу, чтобы скорее дорваться до животного покоя. Никто не чувствует себя человеком за этим делом, и никто не вкладывает в свой труд человеческого, сознательного уменья, а все везет свой воз, как лошадь, отмахиваясь хвостом от какого-нибудь кнута. И если кнут перестал свистать,— перестала и сила двигаться и ложится там, где остановился кнут. Весь дом около него, да и весь город, и все города в пространном царстве движутся этим отрицательным движением. А не в рабочей сфере — повыше, где у нас дело, которое бы каждый делал, так сказать, облизываясь от удовольствия, как будто бы ел любимое блюдо? А ведь только за таким делом и не бывает скуки! От этого все у нас ищут одних удовольствий, и все вне дела».

— А дела нет, один мираж! — злобно твердил он, одолеваемый хандрой, доводившей его иногда до свирепости, несвойственной его мягкой натуре.

Его самого готовили — к чему — никто не знал. Вся женская родня прочила его в военную службу, мужская — в гражданскую, а рождение само по себе представляло еще третье призвание — сельское хозяйство. У нас легко погнаться за всеми тремя зайцами и поспеть к трем — миражам.

И только один он выдался урод в семье и не поспел ни к одному, а выдумал свой мираж — искусство!

Сколько насмешек, пожимания плеч, холодных и строгих взглядов перенес он на пути к своему идеалу! И если б он вышел победителем, вынес на плечах свою задачу и доказал «серьезным людям», что они стремятся к миражу, а он к делу — он бы и был прав.

А он тоже не делает дела, и его дело перед их делом — есть самый пустой из всех миражей. Прав Марк, этот цинический мудрец, так храбро презревший все миражи и отыскивающий... миража поновее!

«Нет и у меня дела, не умею я его делать, как делают художники, погружаясь в задачу, умирая для нее! — в отчаянии решил он.— А какие сокровища перед глазами: то картин-

ки жанра, Теньер, Остад — для кисти, то быт и нравы — для пера: все эти Опенкины и... вон, вон...»

Он смотрел на двор, где все копошилось ежедневною заботой, видел, как Улита убирала погреба и подвалы. Он стал наблюдать Улиту.

Улита была каким-то гномом: она гнездилась вечно в подземельном царстве, в погребах и подвалах, так что сама вся пропиталась подвальной сыростью.

Платье ее было влажно, нос и щеки постоянно озябшие, волосы всклокочены и покрыты беспорядочно смятым бумажным платком. Около пояса грязный фартук, рукава засучены.

Ее всегда увидишь, что она или возникает, как из могилы, из погреба, с кринкой, горшком, корытцем или с полдюжиной бутылок между пальцами в обеих руках, или опускается вниз, в подвалы и погреба, прятать провизию, вино, фрукты и зелень.

На солнышке ее почти не видать, и все она таится во тьме своих холодильников: видно в глубине подвала только ее лицо с синевато-красным румянцем, все прочее сливается с мраком домашних пещер.

Она и не подозревала, что Райский более, нежели кто-нибудь в доме, занимался ею, больше даже родных ее, живших в селе, которые по месяцам не видались с ней.

Он срисовал ее, показал Марфеньке и Вере: первая руками всплеснула от удовольствия, а Вера одобрительно кивнула головой.

Героем дворни все-таки оставался Егорка: это был живой пульс ее. Он своего дела, которого, собственно, и не было, не делал, «как все у нас»,— упрямо мысленно добавлял Райский,— но зато совался поминутно в чужие дела. Смотришь, дугу натягивает, и сила есть: он коренастый, мускулистый, длиннорукий, как орангутанг, но хорошо сложенный малый. То сено примется помогать складывать на сеновал: бросит охапки три и кинет вилы, начнет болтать и мешать другим.

Но главное его призвание и страсть — дразнить дворовых девок, трепать их, делать всякие шутки. Он смеется над ними, свищет им вслед, схватит из-за угла длинной рукой за плечо или за шею так, что бедная девка не вспомнится, гребенка выскочит у ней, и коса упадет на спину.

— Черт, озорник! — кричит девка, и с ее криком послышится ворчанье какой-нибудь старой бабы.

Но ему неймется: он подмигивает на проходящую девку глазами кучеру или Якову, или кто тут случится близко, и опять засвищет, захихикает или начнет выделывать такую мимику, что девка бросится бежать, а он вслед оскалит зубы или свистнет.

Какую бы, кажется, ненависть должен был возбудить к

себе во всей женской половине дворни такой озорник, как этот Егорка? А именно этого и не было.

Он вызывал только временные вспышки в этих девицах, а потом они же лезли к нему, лишь только он назовет которую-нибудь Марьей Петровной или Пелагеей Сергеевной и дружелюбно заговорит с ней.

Они гурьбой толпились около него, когда он в воскресенье с гитарой сидел у ворот и ласково, но всегда с насмешкой, балагурил с ними. И только тогда бросались от него врозь, когда он запевал чересчур нецензурную песню или вдруг принимался за неудобную для их стыдливости мимику.

Но наедине и порознь, смотришь, то та, то другая стоят, дружески обнявшись с ним, где-нибудь в уголке, и вечерком, особенно по зимам, кому была охота, мог видеть, как бегали женские тени через двор и как затворялась и отворялась дверь его маленького чуланчика, рядом с комнатами кучеров.

Не подозревал и Егорка, и красные девицы, что Райскому, лучше нежели кому-нибудь в дворне, видны были все шашни их и вся эта игра домашних страстей.

Обращаясь от двора к дому, Райский в сотый раз усмотрел там, в маленькой горенке, рядом с бабушкиным кабинетом, неизменную картину: молчаливая, вечно шепчущая про себя Василиса, со впалыми глазами, сидела у окна, век свой на одном месте, на одном стуле, с высокой спинкой и кожаным, глубоко продавленным сиденьем, глядя на дрова да на копавшихся в куче сора кур.

Она не уставала от этого вечного сиденья, от этой одной и той же картины из окна. Она даже неохотно расставалась со своим стулом и, подав барыне кофе, убравши ее платья в шкаф, спешила на стул, за свой чулок, глядеть задумчиво в окно на дрова, на кур и шептать.

Из дома выходить для нее было наказанием; только в церковь ходила она, и то стараясь робко, как-то стыдливо, пройти через улицу, как будто боялась людских глаз. Когда ее спрашивали, отчего она не выходит, она говорила, что любит «домовничать».

Она казалась полною, потому что разбухла от сиденья и затворничества, и иногда жаловалась на одышку. Она и Яков были большие постники, и оба набожные.

Когда кто приходил посторонний в дом и когда в прихожей не было ни Якова, ни Егорки, что почти постоянно случалось, и Василиса отворяла двери, она никогда не могла потом сказать, кто приходил. Ни имени, ни фамилии приходившего она передать никогда не могла, хотя состарилась в городе и знала в лицо последнего мальчишку.

Если лекарь приходил, священник, она скажет, что был лекарь или священник, но имени не помнит.

— Был вот этот...— начнет она.

— Кто такой? — спросит Татьяна Марковна.

— Да вот тот, что чуть Марфу Васильевну не убил,— а этому уж пятнадцать лет прошло, как гость уронил маленькую ее с рук.

— Да кто?

— Вот что после обеда не кофе, а чаю просит,— или:— тот что диван в гостиной трубкой прожег,— или:— что на страстной скоромное жрет и т. п.

Она, как тень, неслышно «домовничает» в своем уголку, перебирая спицы чулка. Перед ней, через сосновый крашеный стол, на высоком деревянном табурете сидела девочка от восьми до десяти лет и тоже вязала чулок, держа его высоко, так что спицы поминутно высовывались выше головы.

Такие девочки не переводились у Бережковой. Если девочка вырастала, ее употребляли на другую, серьезную работу, а на ее место брали из деревни другую, на побегушки, для мелких приказаний.

Обязанность ее, когда Татьяна Марковна сидела в своей комнате, стоять плотно прижавшись в уголке у двери и вязать чулок, держа клубок под мышкой, но стоять смирно, не шевелясь, чуть дыша и по возможности не спуская с барыни глаз, чтоб тотчас броситься, если барыня укажет ей пальцем, подать платок, затворить или отворить дверь, или велит позвать когонибудь.

— Утри нос! — слышалось иногда, и девочка утирала нос передником или пальцем и продолжала вязать.

А когда Бережкова уходила или уезжала из дома, девочка шла к Василисе, влезала на высокий табурет и молча, не спуская глаз с Василисы, продолжала вязать чулок, насилу одолевая пальцами длинные стальные спицы. Часто клубок вываливался из-под мышки и катился по комнате.

— Что зеваешь, подними! — слышался шепот.

Иногда на окно приходил к ним погреться на солнце, между двумя бутылями наливки, кот Серко; и если Василиса отлучалась из комнаты, девчонка не могла отказать себе в удовольствии поиграть с ним, поднималась возня, смех девчонки, игра кота с клубком: тут часто клубок и сам кот летели на пол, иногда опрокидывался и табурет с девчонкой.

Девочку, которую застал Райский, звали Пашуткой.

Ей стригут волосы коротко и одевают в платье, сделанное из старой юбки, но так, что не разберешь, задом или наперед сидело оно на ней; ноги обуты в большие не по летам башмаки.

У ней из маленького, плутовского, несколько приподнятого кверху носа часто светится капля. Пробовали ей давать носовые платки, но она из них все свивала подобие кукол, и даже углем помечала, где быть глазам, где носу. Их отобрали

у нее, и она оставалась с каплей, которая издали светилась, как искра.

Райский заглянул к ним. Пашутка, быстро взглянув на него из-за чулка, усмехнулась было, потому что он то ласково погладит ее, то даст ложку варенья или яблоко, и еще быстрее потупила глаза под суровым взглядом Василисы. А Василиса, увидев его, перестала шептать и углубилась в чулок.

Он заглянул к бабушке: ее не было, и он, взяв фуражку, вышел из дома, пошел по слободе и добрел незаметно до города, продолжая с любопытством вглядываться в каждого прохожего, изучал дома, улицы.

Там кое-где двигался народ. Купец, то есть шляпа, борода, крутое брюхо и сапоги, смотрели, как рабочие, кряхтя, складывали мешки хлеба в амбар; там толпились какие-то неопределенные личности у кабака, а там проехала длинная и глубокая телега, с насаженным туда невероятным числом рослого, здорового мужичья, в порыжевших шапках без полей, в рубашках с синими заплатами, и в бурых армяках, и в лаптях, и в громадных сапожищах, с рыжими, седыми и разношерстными бородами, то клином, то лопатой, то раздвоенными, то козлинообразными.

Телега ехала с грохотом, прискакивая; прискакивали и мужики; иной сидел прямо, держась обеими руками за края, другой лежал, положив голову на третьего, а третий, оперщись рукой на локоть, лежал в глубине, а ноги висели через край телеги.

Правил большой мужик, стоя, в буром длинном до полу армяке, в нахлобученной на уши шляпе без полей, и медленно крутил вожжой около головы.

Лицо у него от загара и пыли было совсем черное, глаза ушли под шапку, только усы и борода, точно из овечьей белозолотистой, жесткой шерсти, резко отделялись от темного кафтана.

Лошадь рослая, здоровая, вся в кисточках из ремней по бокам, выбивалась из сил и неслась скачками.

Все это прискакало к кабаку, соскочило, отряхиваясь, и убралось в двери, а лошадь уже одна доехала до изгороди, в которую всажен был клок сена, и, отфыркавшись, принялась есть.

Встречались Райскому дальше в городе лица, очевидно бродившие без дела или с «миражем дела». Купцы, томящиеся бездельем у своих лавок; проедет советник на дрожках; пройдет, важно выступая, духовное лицо, с длинной тростью.

А там в пустой улице, посредине, взрывая нетрезвыми ногами облака пыли, шел разгульный малый, в красной рубашке, в шапке набок, и, размахивая руками, в одиночку орал песню и время от времени показывал редкому прохожему грозный кулак.

Райский пробрался до Козлова и, узнав, что он в школе, спросил про жену. Баба, отворившая ему калитку, стороной посмотрела на него, потом высморкалась в фартук, отерла пальцем нос и ушла в дом. Она не возвращалась.

Райский постучал опять, собаки залаяли, вышла девочка, поглядела на него, разиня рот, и тоже ушла. Райский обошел с переулка и услыхал за забором голоса в садике Козлова: один говорил по-французски, с парижским акцентом, другой голос был женский. Слышен был смех, и даже будто раздался поцелуй...

— Бедный Леонтий! — прошептал Райский,— или, пожалуй, тупой, недогадливый Леонтий!

Он стоял в нерешимости — войти или нет.

«А ведь я друг Леонтья — старый товарищ — и терплю, глядя, как эта честная, любящая душа награждена за свою симпатию! Ужели я останусь равнодушным?.. Но что делать: открыть ему глаза, будить его от этого, когда он так верит, поклоняется чистоте этого... «римского профиля», так сладко спит в лоне домашнего счастья — плохая услуга! Что же делать? Вот дилемма! — раздумывал он, ходя взад и вперед по переулку.— Вот что разве: броситься, забить тревогу и смутить это преступное tête-a-tête?..»

Он пошел было в двери, но тотчас же одумался и воротился.

«Это история, скандал,— думал он,— огласить позор товарища, нет, нет! — не так! Ах! счастливая мысль,— решил он вдруг,— дать Ульяне Андреевне урок наедине: бросить ей громы на голову, плеснуть на нее волной чистых, неведомых ей понятий и правов! Она обманывает доброго, любящего мужа и прячется от страха: сделаю, что она будет прятаться от стыда. Да, пробудить стыд в огрубелом сердце — это долг и заслуга — и в отношении к ней, а более к Леонтью!»

Это заметно оживило его.

«Это уже не мираж, а истинно честное, даже святое дело!»— думалось ему.

Затем его поглотил процесс его исполнения. Он глубоко и серьезно вникал в предстоящий ему долг: как, без огласки, без всякого шума и сцен, кротко и разумно уговорить эту женщину поберечь мужа, обратиться на другой, честный путь и начать заглаживать прошлое...

Он с полчаса ходил по переулку, выжидая, когда уйдет m-r Шарль, чтобы упасть на горячий след и «бросить громы», или влиянием старого знакомства... «Это решит минута»,— заключил он.

Подумавши, он отложил исполнение до удобного случая и, отдавшись этой новой, сильно охватившей его задаче, прибавил шагу и пошел отыскивать Марка, чтобы заплатить ему визит, хотя это было не только не нужно, в отношении последнего, но даже не совсем осторожно со стороны Райского.

Райский и не намеревался выдать свое посещение за визит: он просто искал какого-нибудь развлечения, чтоб не чувствовать тупой скуки и вместе также, чтоб не сосредоточиваться на мысли о Вере.

Он правильно заключил, что тесная сфера, куда его занесла судьба, поневоле держала его подолгу на каком-нибудь одном впечатлении, а так как Вера, «по дикой неразвитости», по непривычке к людям или, наконец, он не знает еще почему, не только не спешила с ним сблизиться, но все отдалялась, то он и решил не давать в себе развиться ни любопытству, ни воображению и показать ей, что она бледная, ничтожная деревенская девочка и больше ничего. От этого он хватался за всякий случай дать своей впечатлительности другую пищу.

Он прошел мимо многих, покривившихся избок, домишек, вышел из города и пошел между двумя плетнями, за которыми с обеих сторон расстилались огороды, посматривая на шалаши огородников, на распяленный кое-где старый, дырявый кафтан или на вздетую на палку шапку — пугать воробьев.

— Где тут огородник Ефрем живет? — спросил он одну бабу через плетень, копавшуюся между двух гряд.

Она, не отрываясь от работы, молча указала локтем вдаль на одиноко стоявшую избушку в поле. Потом, когда Райский ушел от нее шагов на сорок, она, прикрыв рукой глаза от солнца, звонко спросила его вслед:

— Не огурцы ли покупаешь? Вот у нас какие ядреные да зеленые!

— Нет,— отвечал Райский,— я ничего не покупаю.

— Пошто ж тебе Ефрема?

— Да у него живет мой знакомый, Марк, не знаешь ли?

— Нештó: у Ефрема стоит какой-то попович либо приказный из города, кто его знает!

Райский пошел к избушке, и только перелез через плетень, как навстречу ему помчались две шавки с яростным лаем. В дверях избушки показалась, с ребенком на руках, здоровая, молодая, с загорелыми голыми руками и босиком баба.

— Цыц, цыц, цы, проклятые, чтоб вас! — унимала она собак.— Кого вам? — спросила она Райского, который оглядывался во все стороны, недоумевая, где тут мог гнездиться кто-нибудь другой, кроме мужика с семьей.

Около избушки не было ни дворика, ни загородки. Два окна выходили к огородам, а два в поле. Избушка почти вся была заставлена и покрыта лопатами, кирками, граблями, грудами корзин, в углу навалены были драницы, ведра и всякий хлам.

Под навесом стояли две лошади, тут же хрюкала свинья с поросенком и бродила наседка с цыплятами. Поодаль стояло несколько тачек и большая телега.

— Где тут живет Марк Волохов? — спросил Райский.

Баба молча указала на телегу. Райский поглядел туда: там, кроме большой рогожи, ничего не видать.

— Разве он в телеге живет? — спросил он.

— Воп его горница,— сказала баба, показывая на одно из окон, выходивших в поле.— А тут он спит.

— Об эту пору спит?

— Да он на заре пришел, должно быть хмельной, вот и спит!

Райский подошел к телеге.

— Пошто вам его? — спросила баба.

— Так: повидаться хотел!

— А вы не замайте его!

— А что?

— Да он благой такой: пущай лучше спит! Мужа-то вот дома нет, так мне и жутко с ним одной. Пущай спит!

— Разве он обижает тебя?

— Нет, грех сказать: почто обижать? Только чудной такой: я нешто его боюсь!

Баба стала качать ребенка, а Райский с любопытством заглянул под рогожу.

— Экая дура! не умеет гостей принять! — вдруг послышалось из-под рогожи, которая потом приподнялась, и из-под нее показалась всклокоченная голова Марка.

Баба тотчас скрылась.

— Здравствуйте,— сказал Марк,— как это вас занесло сюда?

Он вылез из телеги и стал потягиваться.

— С визитом, должно быть?

— Нет, я так: пошел от скуки погулять...

— От скуки? Что так: две красавицы в доме, а вы бежите от скуки; а еще художник! Или амуры нейдут на лад?

Он насмешливо мигнул Райскому.

— А ведь красавицы: Вера-то, Вера какова!

— Вы почем ее знаете и что вам до них за дело? — сухо заметил Райский.

— Это правда,— отвечал Марк.— Ну, не сердитесь: пойдемте в мой салон.

— Вы лучше скажите, отчего в телеге спите: или Диогена разыгрываете?

— Да, поневоле,— сказал Марк.

Они прошли через сени, через жилую избу хозяев, и вошли в заднюю комнатку, в которой стояла кровать Марка. На ней лежал тоненький старый тюфяк, тощее ваточное одеяло, маленькая подушка. На полке и на столе лежало десятка два книг, на стене висели два ружья, а на единственном стуле в беспорядке валялось несколько белья и платья.

— Вот мой салон: садитесь на постель, а я на стул,— при-

глашал Марк.— Скинемте сюртуки: здесь адская духота. Не церемоньтесь, тут нет дам: скидайте, вот так. Да не хотите ли чего-нибудь? У меня, впрочем, ничего нет. А если не хотите вы, так дайте мне сигару. Одно молоко есть, яйца...

— Нет, благодарю, я завтракал, а теперь скоро и обедать.

— И то правда, ведь вы у бабушки живете. Ну, что она: не выгнала вас за то, что вы дали мне ночлег?

— Нет, упрекала, зачем без пирожного спать уложил и пуховика не потребовал.

— И в то же время бранила меня?

— По обыкновению, но...

— Знаю, не говорите — не от сердца, а по привычке. Она старуха хоть куда: лучше их всех тут, бойкая, с характером, и был когда-то здравый смысл в голове. Теперь уж, я думаю, мозги-то размягчились!

— Вот как: нашелся же кто-нибудь, кому и вы симпатизируете! — сказал Райский.

— Да, особенно в одном: она терпеть не может губернатора, и я тоже.

— За что?

— Бабушка ваша— не знаю за что, а я за то, что он — губернатор. И полицию тоже мы с ней не любим, притесняет нас. Ее заставляет чинить мосты, а обо мне уж очень печется: осведомляется, где я живу, далеко ли от города отлучаюсь, у кого бываю.

Оба молчали.

— Вот и говорить нам больше не о чем!— сказал Марк.— Зачем вы пришли?

— Да скучно.

— А вы влюбитесь.

Райский молчал.

— В Веру,— продолжал Марк,— славная девочка. Вы же брат ей на восьмой воде, вам вполовину легче начать с ней роман...

Райский сделал движение досады, Марк холодно засмеялся.

— Что же она? Или не поддается столичному дендизму? Да как она смеет, ничтожная провинциалка! Ну, что ж, старинную науку в ход: наружный холод и внутренний огонь, небрежность приемов, гордое пожимание плеч и презрительные улыбки — это действует! Порисуйтесь перед ней, это ваше дело...

— Почему мое?

— Я вижу.

— Не ваше ли, полно, рисоваться эксцентричностью и распущенностью?

— А может быть,— равнодушно заметил Марк,— что ж, если б это подействовало, я бы постарался...

— Да, я думаю, вы не задумались бы! — сказал Райский.

— Это правда,— заметил Марк.— Я пошел бы прямо к делу, да тем и кончил бы! А вот вы сделаете то же, да будете уверять себя и ее, что влезли на высоту и ее туда же затащили — идеалист вы этакий! Порисуйтесь, порисуйтесь! Может быть, и удастся. А то что томить себя вздохами, не спать, караулить, когда беленькая ручка откинет лиловую занавеску... ждать по неделям от нее ласкового взгляда...

Райский вдруг зорко на него взглянул.

— Что, видно, правда!

Марк попадал не в бровь, а в глаз. А Райскому нельзя было даже обнаружить досаду: это значило бы — признаться, что это правда.

— Рад бы был влюбиться, да не могу, не по летам,— сказал Райский, притворно зевая,— да и не вылечусь от скуки.

— Попробуйте,— дразнил Марк.— Хотите пари, что через неделю вы влюбитесь, как котенок, а через две, много через месяц, наделаете глупостей и не будете знать, как убраться отсюда?

— А если я приму пари и выиграю, чем вы заплатите?— почти с презрением отвечал Райский.

— Вон панталоны или ружье отдам. У меня только двое панталон: были третьи, да портной назад взял за долг... Постойте, я примерю ваш сюртук. Ба! как раз впору! — сказал он, надевши легкое пальто Райского и садясь в нем на кровать.— А попробуйте мое!

— Зачем?

— Так, хочется посмотреть, впору ли вам. Пожалуйста, наденьте: ну, чего вам стоит?

Райский снисходительно надел поношенное и небезупречное от пятен пальто Марка.

— Ну, что впору?

— Да, ничего сидит!

— Ну, так останьтесь так. Вы ведь недолго проносите свое пальто, а мне оно года на два станет. Впрочем — рады вы, нет ли, а я его теперь с плеч не сниму,— разве украдете у меня.

Райский пожал плечами.

— Ну, что ж, идет пари? — спросил Марк.

— Что вы так привязались к этой... извините... глупой идее?

— Ничего, ничего, не извиняйтесь — идет?

— Пари не равно: у вас ничего нет.

— Об этом не беспокойтесь: мне не придется платить.

— Какая уверенность!

— Ей-богу, не придется. Ну, так, если мое пророчество сбудется, вы мне заплатите триста рублей... А мне как бы кстати их выиграть!

— Какие глупости! — почти про себя сказал Райский, взяв фуражку и тросточку.

— Да, от нынешнего дня через две недели вы будете влюблены, через месяц будете стонать, бродить, как тень, играть драму, пожалуй, если не побоитесь губернатора и Нила Андреевича, то и трагедию, и кончите пошлостью...

— Почем вы знаете?

— Кончите пошлостью, как все подобные вам. Я знаю, вижу вас.

— Ну, а если не я, а она бы влюбилась и стонала?

— Вера! в вас?

— Да, Вера, в меня!

— Тогда... я достану заклад вдвое и принесу вам.

— Вы сумасшедший! — сказал Райский, уходя вон и не удостоив Марка взглядом.

— Через месяц у меня триста рублей в кармане! — кричал ему вслед Марк.

XXI

Райский сердито шел домой.

«Где она, эта красавица, теперь? — думал он злобно,— вероятно, на любимой скамье зевает по сторонам — пойти посмотреть!»

Изучив ее привычки, он почти наверное знал, где она могла быть в тот или другой час.

Поднявшись с обрыва в сад, он увидел ее действительно сидящую на своей скамье с книгой.

Она не читала, а глядела то на Волгу, то на кусты. Увидя Райского, она переменила позу, взяла книгу, потом тихо встала и пошла по дорожке к старому дому.

Он сделал ей знак подождать его, но она или не заметила, или притворилась, что не видит, и даже будто ускорила шаг, проходя по двору, и скрылась в дверь старого дома. Его взяло зло.

«А тот болван думает, что я влюблюсь в нее: она даже не знает простых приличий, выросла в девичьей, среди этого народа, неразвитая, подгородная красота! Ее роман ждет тут где нибудь в палате...»

Он злобно ел за обедом, посматривая исподлобья на всех, и не взглянул ни разу на Веру, даже не отвечал на ее замечание, что «сегодня жарко».

Ему казалось, что он уже ее ненавидел или пренебрегал ею: он этого еще сам не решил, но только сознавал, что в нем бродит какое-то враждебное чувство к ней.

Это особенно усилилось дня за два перед тем, когда он пришел к ней в старый дом с Гёте, Байроном, Гейне да с каким-то

английским романом под мышкой и расположился у ее окна рядом с ней.

Она с удивлением глядела, как он раскладывал книги на столе, как привольно располагался сам.

— Что это вы хотите делать? — спросила она с любопытством.

— А вот,— отвечал он, указывая на книги,— «улетим куда-нибудь на крыльях поэзии», будем читать, мечтать, унесемся вслед за поэтами...

Она весело засмеялась.

— Сейчас девушка придет: будем кофты кроить,— сказала она.— Тут на столе и по стульям разложим полотно и «унесемся» с ней в расчеты аршин и вершков...

— Фи, Вера: оставь это, в девичьей без тебя сделают...

— Нет, нет: бабушка и так недовольна моею ленью. Когда она ворчит, так я кое-как еще переношу, а когда она молчит, косо поглядывает на меня и жалко вздыхает,— это выше сил... Да вот и Наташа. До свидания, cousin. Давай сюда, Наташа, клади на стол: все ли тут?

Она проворно переложила книги на стул, подвинула стол на середину комнаты, достала аршин из комода и вся углубилась в отмериванье полотна, рассчитывала полотнища, с свойственным ей нервным проворством, когда одолевала ее охота или необходимость работы, и на Райского ни взгляда не бросила, ни слова ему не сказала, как будто его тут не было.

Он почти со скрежетом зубов ушел от нее, оставив у ней книги. Но, обойдя дом и воротясь к себе в комнату, он нашел уже книги на своем столе.

— Проворно! Значит, и вперед прошу не жаловать! — прошептал он злобно.— Что ж это, однако: что она такое? Это даже любопытно становится. Играет, шутит со мной?

Марк, предложением пари, еще больше растревожил в нем желчь, и он почти не глядел на Веру, сидя против нее за обедом, только когда случайно поднял глаза, его как будто молнией ослепило «язвительной» красотой.

Она взглянула было на него раза два просто, ласково, почти дружески. Но, заметя его свирепые взгляды, она увидела, что он раздражен и что предметом этого раздражения была она.

Она наклонилась над пустой тарелкою и задумчиво углубила в нее взгляд. Потом подняла голову и взглянула на него: взгляд этот был сух и печален.

— Я с Марфенькой хочу поехать на сенокос сегодня,— сказала бабушка Райскому,— твоя милость, хозяин, не удостоишь ли взглянуть на свои луга?

Он, глядя в окно, отрицательно покачал головой.

— Купцы снимают: дают семьсот рублей ассигнациями, а я тысячу прошу.

Никто на это ничего не сказал.

— Что же ты, сударь, молчишь? Яков,— обратилась она к стоявшему за ее стулом Якову,— купцы завтра хотели побывать: как приедут, проводи их вот к Борису Павловичу...

— Слушаю-с.

— Выгони их вон! — равнодушно отозвался Райский.

— Слушаю-с! — повторил Яков.

— Вот как: кто ж ему позволит выгнать! Что, если бы все помещики походили на тебя!

Он молчал, глядя в окно.

— Да что ты молчишь, Борис Павлович: ты хоть пальцем тычь! Хоть бы ел по крайней мере! Подай ему жаркое, Яков, и грибы: смотри, какие грибы!

— Не хочу! — с нетерпением сказал Райский, махнув Якову рукой.

Снова все замолчали.

— Савелий опять прибил Марину,— сказала бабушка.

Райский едва заметно пожал плечами.

— Ты бы унял его, Борис Павлович!

— Что я за полицмейстер? — сказал он нехотя.— Пусть хоть зарежут друг друга!

— Господи избави и сохрани! Это все драму, что ли, хочется тебе сочинить?

— До того мне! — проворчал он небрежно,— своих драм не оберешься...

— Что: или тяжело жить на свете? — насмешливо продолжала бабушка,— шутка ли, сколько раз в сутки с боку на бок придется перевалиться!

Он взглянул на Веру: она налила себе красного вина в воду и, выпив, встала, поцеловала у бабушки руку и ушла. Он встал из-за стола и ушел к себе в комнату.

Вскоре бабушка с Марфенькой и подоспевшим Викентьевым уехали смотреть луга, и весь дом утонул в послеобеденном сне. Кто ушел на сеновал, кто растянулся в сенях, в сарае; другие, пользуясь отсутствием хозяйки, ушли в слободу, и в доме воцарилась мертвая тишина. Двери и окна отворены настежь, в саду не шелохнется лист.

У Райского с ума не шла Вера.

«Где она теперь, что делает одна? Отчего она не поехала с бабушкой и отчего бабушка даже не позвала ее?» — задавал он себе вопросы.

Несмотря на данное себе слово не заниматься ею, не обращать на нее внимания, а поступать с ней, как с «ничтожной девочкой», он не мог отвязаться от мысли о ней.

Он нарочно станет думать о своих петербургских связях, о приятелях, о художниках, об академии, о Беловодовой — переберет два-три случая в памяти, два-три лица, а четвертое ли-

цо выйдет — Вера. Возьмет бумагу, карандаш, сделает два-три штриха — выходит ее лоб, нос, губы. Хочет выглянуть из окна в сад, в поле, а глядит на ее окно: «Поднимает ли белая ручка лиловую занавеску», как говорит справедливо Марк. И почем он знает? Как будто кто-нибудь подглядел да сказал ему!

Закипит ярость в сердце Райского, хочет он мысленно обратить проклятие к этому неотступному образу Веры, а губы не повинуются, язык шепчет страстно ее имя, колена гнутся, и он закрывает глаза и шепчет:

— Вера, Вера,— никакая красота никогда не жгла меня язвительнее, я жалкий раб твой...

— Вздор, нелепость, сентиментальность! — скажет, очнувшись, потом.

— Пойду к ней, надо объясниться. Где она? Ведь это любопытство — больше ничего: не любовь же в самом деле!..— решил он.

Он взял фуражку и побежал по всему дому, хлопая дверями, заглядывая во все углы. Веры не было, ни в ее комнате, ни в старом доме, ни в поле не видать ее, ни в огородах. Он даже поглядел на задний двор, но там только Улита мыла какую-то кадку, да в сарае Прохор лежал на спине плашмя и спал под тулупом, с наивным лицом и открытым ртом.

Он прошел окраины сада, полагая, что Веру нечего искать там, где обыкновенно бывают другие, а надо забираться в глушь, к обрыву, по скату берега, где она любила гулять. Но нигде ее не было, и он пошел уже домой, чтоб спросить кого-нибудь о ней, как вдруг увидел ее сидящую в саду, в десяти саженях от дома.

— Ах!—сказал он,—ты тут, а я ищу тебя по всем углам...

— А я вас жду здесь...— отвечала она.

На него вдруг будто среди зимы пахнуло южным ветром.

— Ты ждешь меня! — произнес он не своим голосом, глядя на нее с изумлением и страстными до воспаления глазами.— Может ли это быть?

— Отчего же нет? ведь вы искали меня...

— Да, я хотел объясниться с тобой.

— И я с вами.

— Что же ты хотела сказать мне?

— А вы мне что?

— Сначала скажи ты, а потом я...

— Нет, вы скажите, а потом я...

— Хорошо,— сказал он, подумавши, и сел около нее,— я хотел спросить тебя, зачем ты бегаешь от меня?

— А я хотела спросить, зачем вы меня преследуете?

Райский упал с облаков.

— И только? — сказал он.

— Пока только: посмотрю, что вы скажете?

— Но я не преследую тебя: скорее удаляюсь, даже мало говорю...

— Есть разные способы преследовать, cousin: вы избрали самый неудобный для меня...

— Помилуй, я почти не говорю с тобой...

— Правда, вы редко говорите со мной, не глядите прямо, а бросаете на меня исподлобья злые взгляды — это тоже своего рода преследование. Но если б только это и было...

— А что же еще?

— А еще — вы следите за мной исподтишка: вы раньше всех встаете и ждете моего пробуждения, когда я отдерну у себя занавеску, открою окно. Потом, только лишь я перехожу к бабушке, вы избираете другой пункт наблюдения и следите, куда я пойду, какую дорожку выберу в саду, где сяду, какую книгу читаю, знаете каждое слово, какое кому скажу... Потом встречаетесь со мною...

— Очень редко,— сказал он.

— Правда, в неделю раза два-три: это не часто и не могло бы надоесть: напротив,— если б делалось без намерения, а так само собой. Но это все делается с умыслом: в каждом вашем взгляде и шаге я вижу одно — неотступное желание не давать мне покоя, посягать на каждый мой взгляд, слово, даже на мои мысли... По какому праву, позвольте вас спросить?

Он изумился смелости, независимости мысли, желания и этой свободе речи. Перед ним была не девочка, прячущаяся от него от робости, как казалось ему, от страха за свое самолюбие при неравной встрече умов, понятий, образований. Это новое лицо, новая Вера!

— А если тебе так кажется...— нерешительно заметил он, еще не придя в себя от удивления.

— Не лгите! — перебила она.— Если вам удается замечать каждый мой шаг и движение, то и мне позвольте чувствовать неловкость такого наблюдения: скажу вам откровенно — это тяготит меня. Это какая-то неволя, тюрьма. Я, слава богу, не в плену у турецкого паши...

— Чего же ты хочешь: что надо мне сделать?..

— Вот об этом я и хотела поговорить с вами теперь. Скажите прежде, чего вы хотите от меня?

— Нет, ты скажи,— настаивал он, все еще озадаченный и совершенно покоренный этими новыми и неожиданными сторонами ума и характера, бросившими страшный блеск на всю ее и без того спяющую красоту.

Он чувствовал уже, что наслаждение этой красотой переходит у него в страдание.

— Чего я хочу? — повторила она,— свободы!

С новым изумлением взглянул он на нее.

— Свободы! — повторил он,— я первый партизан и рыцарь ее — и потому...

— И потому не даете свободно дышать бедной девушке...

— Ах, Вера, зачем так дурно заключать обо мне? Между нами недоразумение: мы не поняли друг друга — объяснимся — и, может быть, мы будем друзьями.

Она вдруг взглянула на него испытующим взглядом.

— Может ли это быть? — сказала она,— я бы рада была ошибиться.

— Вот моя рука, что это так: буду другом, братом — чем хочешь, требуй жертв.

— Жертв не надо,— сказала она,— вы не отвечали на мой вопрос: чего вы хотите от меня?

— Как «чего хочу»: я не понимаю, что ты хочешь сказать.

— Зачем преследуете меня, смотрите такими странными глазами? Что вам нужно?

— Мне ничего не нужно: но ты сама должна знать, какими другими глазами, как не жадными, влюбленными, может мужчина смотреть на твою поразительную красоту...

Она не дала ему договорить, вспыхнула и быстро встала с места.

— Как вы смеете говорить это? — сказала она, глядя на него с ног до головы. И он глядел на нее с изумлением, большими глазами.

— Что ты, бог с тобой, Вера: что я сказал?

— Вы, гордый, развитой ум, «рыцарь свободы», не стыдитесь признаться...

— Что красота вызывает поклонение и что я поклоняюсь тебе: какое преступление!

— Вы даже не понимаете, я вижу, как это оскорбительно! Осмелились бы вы глядеть на меня этими «жадными» глазами, если б около меня был зоркий муж, заботливый отец, строгий брат? Нет, вы не гонялись бы за мной, не дулись бы на меня по целым дням без причины, не подсматривали бы, как шпион, и не посягали бы на мой покой и свободу! Скажите, чем я подала вам повод смотреть на меня иначе, нежели как бы смотрели вы на всякую другую, хорошо защищенную женщину?

— Красота возбуждает удивление: это ее право...

— Красота,— перебила она,— имеет также право на уважение и свободу...

— Опять свобода!

— Да, и опять, и опять! «Красота, красота!» Далась вам моя красота! Ну, хорошо, красота: так что же? Разве это яблоки, которые висят через забор и которые может рвать каждый прохожий?

— Каково! — с изумлением, совсем растерянный говорил Райский.— Чего же ты хочешь от меня?

— Ничего: я жила здесь без вас, уедете — и я буду опять так же жить...

— Ты велишь мне уехать: изволь — я готов...

— Вы у себя дома: я умею уважать «ваши права» и не могу требовать этого...

— Ну, чего ты хочешь — я все сделаю, скажи, не сердись! — просил он, взяв ее за обе руки.— Я виноват перед тобой: я артист, у меня впечатлительная натура, и я, может быть, слишком живо поддался впечатлению, выразил свое участие — конечно, потому, что я не совсем тебе чужой. Будь я посторонний тебе, разумеется, я бы воздержался. Я бросился немного слепо, обжегся — ну, и не беда! Ты мне дала хороший урок. Помиримся же: скажи мне свои желания, я исполню их свято... и будем друзьями! Право, я не заслуживаю этих упреков, всей этой грозы... Может быть, ты и не совсем поняла меня...

Она подала ему руку.

— И я вышла из себя по-пустому. Я вижу, что вы очень умны, во-первых,— сказала она,— во-вторых, кажется, добры и справедливы: это доказывает теперешнее ваше сознание... Посмотрим — будете ли вы великодушны со мной...

— Буду, буду, твори свою волю надо мной и увидишь...— опять с увлечением заговорил он.

Она тихо отняла руку, которую было положила на его руку.

— Нет,— сказала она полусерьезно,— по этому восторженному языку я вижу, что мы от дружбы далеко.

— Ах, эти женщины с своей дружбой! — с досадой отозвался Райский,— точно кулич в именины подносят!

— Вот и эта досада не обещает хорошего!

Она было встала.

— Нет, нет, не уходи: мне так хорошо с тобой! — говорил он, удерживая ее,— мы еще не объяснились. Скажи, что тебе не нравится, что нравится — я все сделаю, чтоб заслужить твою дружбу...

— Я вам в самом начале сказала, как заслужить ее: помните? Не наблюдать за мной, оставить в покое, даже не замечать меня — и я тогда сама приду в вашу комнату, назначим часы проводить вместе, читать, гулять... Однако вы ничего не сделали...

— Ты требуешь, Вера, чтоб я был к тебе совершенно равнодушен?

— Да.

— Не замечал твоей красоты, смотрел бы на тебя, как на бабушку...

— Да.

— А ты по какому праву требуешь этого?

— По праву свободы!

— Но если б я поклонялся молча, издали, ты бы не заме-

чала и не знала этого... ты запретить этого не можешь. Что тебе за дело?

— Стыдитесь, cousin! Времена Вертеров и Шарлотт[1] прошли. Разве это возможно? Притом я замечу страстные взгляды, любовное шпионство — мне опять надоест, будет противно...

— Ты вовсе не кокетка: хоть бы ты подала надежду, сказала бы, что упорная страсть может растопить лед, и со временем взаимность прокрадется в сердце...

Он произносил эти слова медленно, ожидая, не вырвется ли у ней какой-нибудь знак отдаленной надежды, хоть неизвестности, чего-нибудь...

— Это правда,— сказала она,— я ненавижу кокетство и не понимаю, как не скучно привлекать эти поклонения, когда не намерена и не можешь отвечать на вызванное чувство?..

— А ты... не можешь?

— Не могу.

— Почему ты знаешь: может быть, придет время...

— Не ждите, cousin, не придет.

«Что это они — как будто сговорились с Беловодовой: наладили одно и то же!» — подумал он.

— Ты не свободна, любишь? — с испугом спросил он.

Она нахмурилась и стала упорно смотреть на Волгу.

— Ну, если б и любила: что же, грех, нельзя, стыдно... вы не позволите, братец? — с насмешкой сказала она.

— Я!

— «Рыцарь свободы!» — еще насмешливее повторила она.

— Не смейся, Вера: да, я ее достойный рыцарь! Не позволить любить! Я тебе именно и несу проповедь этой свободы! Люби открыто, всенародно, не прячься: не бойся ни бабушки, никого! Старый мир разлагается, зазеленели новые всходы жизни — жизнь зовет к себе, открывает всем свои объятия. Видишь: ты молода, отсюда никуда носа не показывала, а тебя уже обвеял дух свободы, у тебя уж явилось сознание своих прав, здравые идеи. Если заря свободы восходит для всех: ужели одна женщина останется рабой? Ты любишь? Говори смело... Страсть — это счастье. Дай хоть позавидовать тебе!

— Зачем я буду рассказывать, люблю я или нет? До этого никому нет дела. Я знаю, что я свободна и никто не вправе требовать отчета от меня...

— А бабушка? Ты ее не боишься? Вон Марфенька...

— Я никого не боюсь,— сказала она тихо,— и бабушка знает это и уважает мою свободу. Последуйте и вы ее примеру... Вот мое желание! Только это я и хотела сказать.

Она встала со скамьи.

— Да, Вера, теперь я несколько вижу и понимаю тебя и

---

[1] Вертер и Шарлотта — герои сентиментального романа Гете «Страдания молодого Вертера».

обещаю: вот моя рука,— сказал он,— что отныне ты не услышишь и не заметишь меня в доме: буду «умник»,— прибавил он, — буду «справедлив», буду «уважать твою свободу», и как рыцарь буду «великодушен», буду просто — велик! Я — grand coeur![1]

Оба засмеялись.

— Ну, слава богу,— сказала она, подавая ему руку, которую он жадно прижал к губам.

Она взяла руку назад.

— Посмотрим,— прибавила она.— А впрочем, если нет... Ну, да ничего, посмотрим...

— Нет, доскажи уж, что начала, не то я стану ломать голову!

— Если я не буду чувствовать себя свободной здесь, то как я ни люблю этот уголок (она с любовью бросила взгляд вокруг себя), но тогда... уеду отсюда! — решительно заключила она.

— Куда? — спросил он, испугавшись.

— Божий мир велик. До свидания, cousin.

Она пошла. Он глядел ей вслед; она неслышными шагами неслась по траве, почти не касаясь ее, только линия плеч и стана, с каждым шагом ее, делала волнующееся движение; локти плотно прижаты к талии, голова мелькала между цветов, кустов, наконец явление мелькнуло еще за решеткою сада и исчезло в дверях старого дома.

«Прошу покорно! — с изумлением говорил про себя Райский, провожая ее глазами,— а я собирался развивать ее, тревожить ее ум и сердце новыми идеями о независимости, о любви, о другой, неведомой ей жизни... А она уж эмансипирована! Да кто же это?..»

— Каково отделала! А вот я бабушке скажу! — закричал он, грозя ей вслед, потом сам засмеялся и пошел к себе.

XXII

На другой день Райский чувствовал себя веселым и свободным от всякой злобы, от всяких претензий на взаимность Веры, даже не нашел в себе никаких следов зародыша любви.

«Так, впечатление: как всегда у меня! Вот теперь и прошло!» — думал он.

Он смеялся над своим увлечением, грозившим ему, по-видимому, серьезной страстью, упрекал себя в настойчивом преследовании Веры и стыдился, что даже посторонний свидетель, Марк, заметил облака на его лице, нервную раздражительность в словах и движениях, до того очевидную, что мог предсказать ему страсть.

---

[1] Великодушен! *(франц.)*

«Ошибется же он, когда увидит меня теперь,— думал он,— вот будет хорошо, если он заранее рассчитает на триста рублей этого глупейшего пари и сделает издержку!»

Ему страх как захотелось увидеть Веру опять наедине, единственно затем, чтоб только «великодушно» сознаться, как он был глуп, неверен своим принципам, чтоб изгладить первое, невыгодное впечатление и занять по праву место друга — покорить ее гордый умишко, выиграть доверие.

Но при этом все ему хотелось вдруг принести ей множество каких-нибудь неудобоисполнимых жертв, сделаться ей необходимым, стать исповедником ее мыслей, желаний, совести, показать ей всю свою силу, душу, ум.

Он забыл только, что вся ее просьба к нему была — ничего этого не делать, не показывать и что ей ничего от него не нужно. А ему все казалось, что если б она узнала его, то сама избрала бы его в руководители, не только ума и совести, но даже сердца.

На другой, на третий день его — хотя и не раздражительно, как недавно еще, но все-таки занимала новая, неожиданная, поразительная Вера, его дальняя сестра и будущий друг.

На него пахнуло и новое, свежее , почти никогда не испытанное им, как казалось ему, чувство — дружбы к женщине: он вкусил этого, по его выражению, «именинного кулича», помимо ее красоты, помимо всяких чувственных движений грубой натуры и всякого любовного сентиментализма.

Это бодрое, трезвое и умное чувство: в таком взаимном сближении — ни он, ни она ничего не теряют и оба выигрывают, изучая, дополняя друг друга, любя тонкою, умною, полною взаимного уважения и доверия привязанностию.

«Вот и прекрасно,— думал он,— умница она, что пересадила мое впечатление на прочную почву. Только за этим, чтоб сказать это ей все, успокоить ее — и хотел бы я ее видеть теперь!»

Но он не смел сделать ни шагу, даже добросовестно отворачивался от ее окна, прятался в простенок, когда она проходила мимо его окон; молча, с дружеской улыбкой пожал ей, одинаково, как и Марфеньке, руку, когда они обе пришли к чаю, не пошевельнулся и не повернул головы, когда Вера взяла зонтик и скрылась тотчас после чаю в сад, и целый день не знал, где она и что делает.

Но все еще он не завоевал себе того спокойствия, какое налагала на него Вера: ему бы надо уйти на целый день, поехать с визитами, уехать гостить на неделю за Волгу, на охоту, и забыть о ней. А ему не хочется никуда: он целый день сидит у себя, чтоб не встретить ее, но ему приятно знать, что она тут же в доме. А надо добиться, чтоб ему это было все равно.

Но и то хорошо, и то уже победа, что он чувствовал себя

покойнее. Он уже на пути к новому чувству, хотя новая Вера не выходила у него из головы, но это новое чувство тихо и нежно волновало и покоило его, не терзая, как страсть, дурными мыслями и чувствами.

Когда она обращала к нему простой вопрос, он, едва взглянув на нее, дружески отвечал ей и затем продолжал свой разговор с Марфенькой, с бабушкой или молчал, рисовал, писал заметки в роман.

«Да ведь это лучше всякой страсти! — приходило ему в голову,— это доверие, эти тихие отношения, это заглядыванье не в глаза красавицы, а в глубину умной, нравственной девической души!»

Он ждал только одного от нее: когда она сбросит свою сдержанность, откроется перед ним доверчиво вся, как она есть, и также забудет, что он тут, что он мешал ей еще недавно жить, был бельмом на глазу.

Райский дня три нянчился с этим «новым чувством», и бабушка не нарадовалась, глядя на него.

— Ну, просветлело ясное солнышко! — сказала она,— можно и с визитами съездить в город.

— Бог с вами, бабушка: мне не до того! — ласково говорил он.

— Ну, поедем посмотреть, как яровое выходит.

— Нет, нет,— твердил он и даже поцеловал у ней руку.

— Ты что-то ластишься ко мне: не к деньгам ли подбираешься, чтоб Маркушке дать? Не дам!

Он засмеялся и ушел от нее — думать о Вере, с которой он все еще не нашел случая объясниться «о новом чувстве» и о том, сколько оно счастья и радости приносит ему.

Случай представлялся ему много раз, когда она была одна: но он боялся шевельнуться, почти не дышал, когда завидит ее, чтоб не испугать ее рождающегося доверия к искренности его перемены и не испортить себе этот новый рай.

Наконец, на четвертый или пятый день после разговора с ней, он встал часов в пять утра. Солнце еще было на дальнем горизонте, из сада несло здоровою свежестью, цветы разливали сильный запах, роса блистала на траве.

Он наскоро оделся и пошел в сад, прошел две-три аллеи и — вдруг наткнулся на Веру. Он задрожал от нечаянности и испуга.

— Не нарочно, ей-богу, не нарочно! — закричал он в страхе, и оба засмеялись.

Она сорвала цветок и бросила в него, потом ласково подала ему руку и поцеловала его в голову, в ответ на его поцелуй руки.

— Не нарочно, Вера,— твердил он,— ты видишь, да?

— Вижу,— отвечала она и опять засмеялась, вспомнив его испуг.— Вы милый, добрый...

— Великодушный...— подсказал он.

— До великодушия еще не дошло, посмотрим,— сказала она, взяв его под руку.— Пойдемте гулять: какое утро! Сегодня будет очень жарко.

Он был на седьмом небе.

— Да, да, славное утро! — подтвердил он, думая, что сказать еще, но так, чтоб как-нибудь нечаянно не заговорить о ней, о ее красоте — и не находил ничего, а его так и подмывало опять заиграть на любимой струне.

— Я вчера письмо получил из Петербурга...— сказал он, не зная, что сказть.

— От кого? — спросила она машинально.

— От художников; а вот от Аянова все нет: не отвечает. Не знаю, что кузина Беловодова: где проводит лето, как...

— Она... очень хороша? — спросила Вера.

— Да... правильные черты лица, свежесть, много блеску... — говорил он монотонно и, взглянув сбоку на Веру, страстно вздрогнул. Красота Беловодовой погасла в его памяти.

— Еще не получили ли чего-нибудь: кажется, Савелий посылку с почты привез? — спросила она.

— Да, новые книги получил из Петербурга... Маколея, том «Mémoires» [1] Гизо...

Она молча слушала.

— Не хочешь ли почитать?

— После пришлите Маколея.

«Пришлите»,— подумал он,— отчего — не «принесите»?

Они шли молча.

— А Гизо? — спросил он.

— Гизо не надо, скучно.

— Ты почем знаешь?

— Я читала его «Историю цивилизации»...

— И тебе показалось скучно! Где ты брала?

Они шли дальше.

— Чье это на вас пальто: это не ваше? — вдруг спросила она с удивлением, вглядываясь в пальто.

— Ах, это Марка...

— Зачем оно у вас: разве он здесь? — спрашивала она в тревоге.

— Нет, нет,— смеясь, отвечал он, чего ты испугалась? Весь дом боится его, как огня.

Он рассказал ей, как досталось ему пальто. Она слегка выслушала. Потом они молча обошли главные дорожки сада: она — глядя в землю, он — по сторонам. Но у него, против воли, обнаруживалось нетерпение. Ему все хотелось высказаться.

---

[1] «Мемуары» *(франц.)*.

— Мне кажется, у вас есть что-то на уме,— сказала она,— да вы не хотите сказать...

— Хотеть-то я хочу, да боюсь опять грозы.

— А разве опять о «красоте» что-нибудь?

— Нет, нет, напротив —я хотел сказать, как меня мучает эта глупая претензия на поклонение — стыд: у меня седые волосы!

— Как я рада, если б это была правда!

— А ты еще сомневаешься! Это вспышка, мгновенное впечатление: ты меня образумила. Какая, однако, ты... Но об этом после. Я хочу сказать, что именно я чувствую к тебе, и, кажется, на этот раз не ошибаюсь. Ты мне отворила какую-то особую дверь в свое сердце — и я вижу бездну счастья в твоей дружбе. Она может окрасить всю мою бесцветную жизнь в такие кроткие и нежные тоны... Я даже, кажется, уверую в то, чего не бывает и во что все перестали верить — в дружбу между мужчиной и женщиной. Ты веришь, что такая дружба возможна, Вера?

— Почему — нет, если бы такие два друга решились быть взаимно справедливы?..

— То есть — как?

— То есть уважать свободу друг друга, не стеснять взаимно один другого: только это редко, я думаю, можно исполнить. С чьей-нибудь стороны замешается корысть... кто-нибудь да покажет когти... А вы сами способны ли на такую дружбу?

— А вот увидишь: ты повелевай и посмотри, какого раба приобретешь в своем друге...

— Вот и нет справедливости: ни раба, ни повелителя не нужно. Дружба любит равенство.

— Браво, Вера! Откуда у тебя эта мудрость?

— Какое смешное слово!

— Ну, такт?

— Дух божий веет не на одних финских болотах: повеял и на наш уголок.

— Ну, так мне теперь предстоит задача — не замечать твоей красоты, а напирать больше на дружбу? — смеясь сказал он,— так и быть, постараюсь...

— Да, какое бы это было счастье,— заговорила она вкрадчиво,— жить, не стесняя воли другого, не следя за другим, не допытываясь, что у него на сердце, отчего он весел, отчего печален, задумчив? быть с ним всегда одинаково, дорожить его покоем, даже уважать его тайны...

«Она диктует мне программу, как вести себя с ней!» — подумал он.

— То есть не видать друг друга, не знать, не слыхать о существовании...— сказал он,— это какая-то новая, неслыханная дружба: такой нет, Вера,— это ты выдумала!

Он взглянул на нее, она отвечала ему странным взглядом,

«русалочным», по его выражению: глаза будто стеклянные, ничего не выражающие. В них блеснул какой-то торопливый свет и исчез.

«Странно, как мне знаком этот прозрачный взгляд! — думал он,— таков бывает у всех женщин, когда они обманывают! Она меня усыпляет... Что бы это значило? Уж в самом деле не любит ли она? У ней только и речи, чтоб «не стеснять воли». Да нет... кого здесь?..»

— О чем вы задумались? — спросила она.

— Ничего, ничего, продолжай!

— Я кончила.

— Хорошо, Вера, буду работать над собой, и если мне не удастся достигнуть того, чтоб не замечать тебя, забыть, что ты живешь в доме, так я буду притворяться...

— Зачем притворяться: вы только откажитесь искренно, не на словах со мной, а в душе перед самим собой, от меня.

— Безжалостная!

— Убедите себя, что мой покой, мои досуги, моя комната, моя... «красота» и любовь... если она есть или будет...— это все мое, и что посягнуть на то или другое — значит...

Она остановилась.

— Что?

— Посягнуть на чужую собственность или личность...

— О, о, о — вот как: то есть украсть или прибить. Ай да Вера! Да откуда у тебя такие ультра-юридические понятия? Ну, а на дружбу такого строгого клейма ты не положишь? Я могу посягнуть на нее, да, это мое? Постараюсь! дай мне недели две срока, это будет опыт: если я одолею его, я приду к тебе, как брат, друг, и будем жить по твоей программе. Если же... ну, если это любовь — я тогда уеду!

Что-то опять блеснуло в ее глазах. Он взглянул, но поздно: она опустила взгляд, и когда подняла, в нем ничего не было.

— Экая сверкающая ночь! — шепнул он.

— Аминь! — сказала она, подавая ему руку.— Пойдемте к бабушке, пить чай. Вот она открыла окно, сейчас позовет...

— Одно слово, Вера: скажи, отчего ты такая?

— Какая?

— Мудрая, сосредоточенная, решительная...

— Еще, еще прибавьте! — сказала она с дрожащим от улыбки подбородком.— Что значит мудрость?

— Мудрость... это совокупность истин, добытых умом, наблюдением и опытом и приложимых к жизни...— определил Райский,— это гармония идей с жизнью!

— Опыта у меня не было почти никакого,— сказала она задумчиво,— и добыть этих идей и истин мне неоткуда...

— Ну, так у тебя зоркий от природы глаз и мыслящий ум...

— Что ж, это позволительно иметь или, может быть, стыдно девице, неприлично?..

— Откуда эти здравые идеи, этот выработанный язык? — говорил, слушая ее, Райский.

— Вы дивитесь, что на вашу бедную сестру брызнула капля деревенской мудрости! Вам бы хотелось видеть дурочку на моем месте — да? Вам досадно?..

— Ах, нет — я упиваюсь тобой. Ты сердишься, запрещаешь заикаться о красоте, но хочешь знать, как я разумею и отчего так высоко ставлю ее? Красота — и цель, и двигатель искусства, а я художник: дай же высказать раз навсегда...

— Говорите,— сказала она.

— В женской высокой, чистой красоте,— начал он с жаром, обрадовавшись, что она развязала ему язык,— есть непременно ум, в твоей, например. Глупая красота — не красота. Вглядись в тупую красавицу, всмотрись глубоко в каждую черту лица, в улыбку ее, взгляд — красота ее мало-помалу превратится в поразительное безобразие. Воображение может на минуту увлечься, но ум и чувство не удовлетворятся такой красотой: ее место в гареме. Красота, исполненная ума, — необычайная сила, она движет миром, она делает историю, строит судьбы; она, явно или тайно, присутствует в каждом событии. Красота и грация — это своего рода воплощение ума. От этого дура никогда не может быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина часто блестит красотой. Красота, про которую я говорю, не материя: она не палит только зноем страстных желаний: она прежде всего будит в человеке человека, шевелит мысль, поднимает дух, оплодотворяет творческую силу гения, если сама стоит на высоте своего достоинства, не тратит лучи свои на мелочь, не грязнит чистоту...

Он остановился задумчиво.

— Все это не ново: но истина должна повторяться. Да, красота — это всеобщее счастье! — тихо, как в бреду, говорил он,— это тоже мудрость, но созданная не людьми. Люди только ловят ее признаки, силятся творить в искусстве ее образы, и все стремятся, одни сознательно, другие слепо и грубо, к красоте, к красоте... к красоте! Она и здесь — и там! — прибавил он, глядя на небо,— и как мужчина может унизить, исказить ум, упасть до грубости, до лжи, до растления, так и женщина может извратить красоту и обратить ее, как модную тряпку, на наряд, и затаскать ее... Или, употребив мудро — быть солнцем той сферы, где поставлена, влить массу добра... Это женская мудрость! Ты поймешь, Вера, что я хочу сказать, ты женщина!.. И... ужели твоя женская рука поднимется казнить за это поклонение и человека, и артиста!..

— Ваш гимн красоте очень красноречив, cousin,— сказала Вера, выслушав с улыбкой,— запишите его и отошлите Беловодовой. Вы говорите, что она «выше мира». Может быть, в

ее красоте есть мудрость. В моей нет. Если мудрость состоит, по вашим словам, в том, чтоб с этими правилами и истинами проходить жизнь, то я...

— Что?

— Не мудрая дева! Нет — у меня нет этого елея! — произнесла она.

Что-то похожее на грусть блеснуло в глазах, которые в одно мгновенье поднялись к небу и быстро потупились. Она вздрогнула и ушла торопливо домой.

— Если не мудрая, так мудреная! На нее откуда-то повеяло другим, не здешним духом!.. Да откуда же: узнаю ли я? Непроницаема, как ночь! Ужели ее молодая жизнь успела уже омрачиться?.. — в страхе говорил Райский, провожая ее глазами.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРЫВ

Часть первая 7
Часть вторая 130

Иван Александрович Гончаров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 5

Редактор М. Блинчевская

Художественный редактор И. Жихарев

Технический редактор В. Овсеенко

Корректор Ю. Стружестрах

*

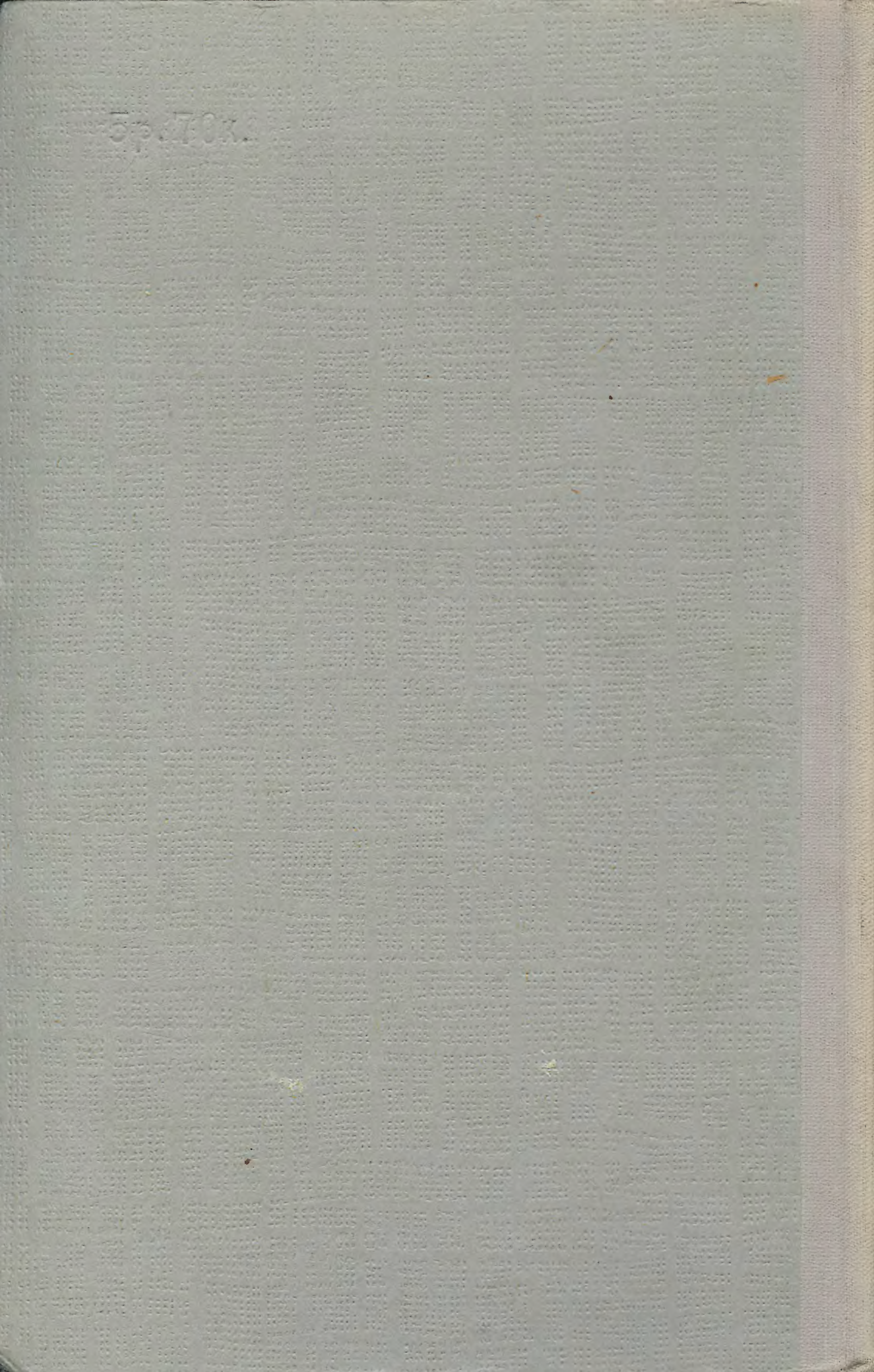
Сдано в набор 29/VI 1959 г.
Подписано в печать 1/X 1959 г.
Бумага 60 × 92 1/16 — 19 печ. л.
19,8 уч.-изд. л. Тираж 250 000 экз.
Заказ № 3286. Цена 5 р. 70 к.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19



Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28


5р. 70к.